



ЮНОСТЬ

10
1973



А. ЛИВАНОВ.

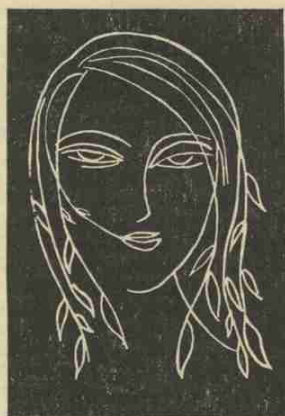
На шоссе. Цветная автолитография из серии «Мечта о полете».

На стендах
«ЮНОСТИ»

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР



ЮНОСТЬ



10 (221)
ОКТЯБРЬ
1973

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Геннадий МАШКИН. Егор, сын охотника. Повесть 2

Аркадий АДАМОВ. Квадрат сложности. Повесть 24

Альберт ЛИХАНОВ. Обман. Повесть. Окончание 44

ПОЭЗИЯ

Юлия ДРУНИНА. Памяти Клары Давидюк. 21

Геворг ЭМИН. «Пой мне, пожалуйста...». В лесу. «Что мне думать о смерти...». Пир. «Масис, ты весел...». «Прости, нет, не я нарушаю обет...». Перевел с армянского Ю. Левитанский 21

Борис ОЛЕИНИК. «Мне возле старого причала...». Николаю Кибальчичу. Перевел с украинского Л. Вышеславский 23

Евгений ХРАМОВ. Диккенс. «Любимая, пишу тебе, пишу...». «Началом всех начал был переулочек...» 41

Владимир РЕЦЕПТЕР. «Что производят в ранг события...». «Летать, испытывать судьбу...». «Собака лает, ветер носит...». Три стихотворения о пейзаже 42

Валентин СИДОРОВ. «И опять нахлынуло, вернулось...». «А мир совсем не замкнут и не строг...». «Спасибо, снег, что ты идешь...». «Пусть бой сейчас беззвучен и незрим...» . 43

Юнна МОРИЦ. Озаренье. Соловью. К другу. Июль. Колыбельная. «Живого чувства роденький птенец...». «Полночный холод кислорода...». Ведро земляники 60

ПУБЛИЦИСТИКА

Дж. Д. БЕРНАЛ. Рассказы для мистера Полевого. Перевел с английского О. Со рока. Предисловие Б. Полевого 62

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ, В. СЛАВКИН. Берлинский полиэкран 74

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ. Проводы 92

Юрий ПЕРЕПЛЕТКИН. Лучший каменщик 97

КРИТИКА

Борис СЛУЦКИЙ. Об одном молодом поэте 81

Ираклий АНДРОНИКОВ. Римская опера 82

Алексей ПЬЯНОВ. Человек-добро. К 100-летию со дня рождения В. Я. Шишкова 87

Иван КУПЦОВ. Родной простор («На стенах «Юности») 91

ПИСЬМО ОКТЯБРЯ

Юля Ф. «Не хочу тянуть лямку...» 100

Владимир ЛИСОВСКИЙ. В поисках себя 100

НАУКА И ТЕХНИКА

Виктор ЯРОШЕНКО. Будни и праздники ученого 104

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Л. ИЗМАИЛОВ. Аисты и капуста 110

М. КАТЮШЕНКО. Интервью у передовика 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

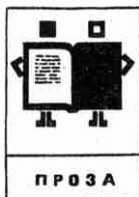
Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4-й стр. обложки
рисунок А. ПЛАКСИНА

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 6/VIII—1973 г.
А 12729.
Подп. к печ. 14/IX—1973 г.
Формат 84×108/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 100 000 экз.
Изд. № 2164, Заказ № 966.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
гипография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



ГЕННАДИЙ
МАШКИН



ЕГОР, СЫН ОХОТНИКА

ПОВЕСТЬ

Рисунки
Марка ЛИСОГОРСКОГО.

1

Начало этой истории — на охотничьей стоянке семьи Романовых в пади Сатыллах. В тот день над мамаканскими гольцами светило осеннее, выхоженное солнце. Мирно журчала вода в Сатыллахе. Похаживали олени в кустах кедрового стланика, лакомясь ягелем. Только собаки неистово скулили возле брезентового чума — палатки, поглядывая на завьюченного однорогого оленя Чомку да вертящегося под ногами у него старого черно-белого Снайпера. Собакам хотелось кинуться за уходящим Егором. Но молодой охотник позвал одного Снайпера. А если побежишь без зова, нахватаешься пинков от старого хозяина. Сегодня у людей произошла ссора. А людские неурядицы вымещаются на собаках.

— Без нас ты не сведешь концы с концами! — закричал хозяин чума Георгий Романов, дядя Егора. — Одумайся лучше, пока не поздно, Егор!

— Пусть идет! — вскрикнула кедровкой Полина, жена Георгия. — Холод прижмет, назад прибежит!

— Прощайте! — оторвался Егор и дернул Чомку за узду. — Отделился я от вас — не ждите назад!

Зачувя направление, Снайпер побежал вперед. Вслед за ним Егор пересек поляну, потрепал березняком и вышел на главную тропу распада. По лицу Егора заскользили кривые тени веток, но ни одной живинки не появилось на окаменевших скулах и щеках парня. Трудно растормошить Егора, когда он ожесточится. Может шагать и шагать по тропе, пока солнце не зайдет и ноги не начнут заплетаться.

Только вот Снайпер слишком утомительно скачет впереди. Рад, что начался охотничий сезон. Морда седая, а скачет за бурундуками, как годовалый щенок. Вот кукша застрекотала на ветке, и Снайпер весь вытянулся в ее сторону. Кукша ринулась над мордой собаки в пихтач, и Снайпер свалился на спину, пытаясь перехватить на лету шибутную птицу. Тут же он конфузливо поднялся и затрусил по тропе. А Егор не удержал улыбки:

— Что за праздник у тебя, Снайпер?

И сразу же охотник понял, что не время и ему самому печалиться. Тайга вокруг золотится, алые рос-

сыпи брусники заманивают к себе всякую живность, вот-вот шкурка залоснится у соболя да белки — охота начнется. А на охоте Егор не последний в мамаканской тайге. И дела свои устроит с доброй добычей. Невзгоды разойдутся, и заживет он не хуже других. Уважения добьется как самостоятельный человек, хороший охотник и шустрый парень, Егор, сын Ефима Романова. И взаимность от Марийки должна прийти!

— Я пошел к Марийке, — проговорил Егор, — пусть у нее сердце екнуло сейчас!

А у самого сердца так и рванулось вперед. Егор затаил песню на мотив ветра в трубе зимовья.

Тени от голых деревьев
Лежат на нашей тропе.
Мертвые листья деревьев
Шуршат на нашей тропе.
А мы идем к Мамакану,
К большой реке Мамакану,
На устье стоит там поселок,
В поселке дворец набережный,
В дворце том Марийка — жар-птица!

С бесконечной своей песней Егор поднялся в гора, прошел гребнем и спустился в новый распадок. Здесь к его голосу привязался звон ручья. Егор остановился над запрудкой, где в прозрачной воде золотились листья и хвоинки. Егор припал к воде.

Собака и олень тоже зачмокали холодной водой, пахнувшей смородиной, древесной корой и мхом.

Эта вода и подскажет тебе, как течет твоя жизнь. Посмотри только на свое лицо, Егор! Морщинки, будто на куске сосновой коры. И оказался ты один в тайге с однорогим оленем, старым псом, износившей винтовкой да запасом продуктов на две недели! И удачи ли тебе то, что ты смело задумал, Егор?

Внезапно Егор вспомнил, что может смять открытку во внутреннем кармане своей куртки из шинельного сукна, и оторвался от воды. Он полез в карман и достал половинки почтовой открытки. Сложил половинки — полюбовался картинкой. Хотя на ней ничего необычного не было. Просто современный город. Многоэтажные дома, автомобили, пешеходы в светлых платьях и костюмах.

Увидев, что хозяин разглядывает бумажки, Снайпер подскочил к Егору и нюхнул половинки открытки.

— Пошел! — Егор погрозил собаке. — И так разорван мой документ, а ты его цапнуть собираешься! Единственный наш документ!..

Снайпер отскочил, виляя хвостом с белым кончиком, а вместе с собакой и окружающее отошло вдаль. Припомнился день далекого детства, когда Егору досталась открытка.

В тот день в поселочек Усть-Мамакан пришла весть, что на устье Мамакана будет строиться электростанция, а с нею город. Эту весть привез сельповец Иван Петрович Савельев, Рыжая Борода. Бойко бегала сельповская моторка от Бодайбо до устья Мамакана: пушнину отвозил Рыжая Борода, товары доставлял. Его ждали и охотники: «тозовочных» патронов не было в сельпо, а настала пора белковать. Как только завидели мужики моторку, выскочили на берег. А Рыжая Борода огорошил мужиков другим:

— Товарищи, новость большую везу!

Голос у сельповца, как у изюбра, — перекикивает свой громкий мотор Рыжая Борода. И Егорка видит: охотникам уже не до спирта. Смотрят на сельповца, будто он сам весь спирт выпил. А Рыжая Борода загоняет лодку в заводь, выпрыгивает к охотникам и рассказывает о том, что слышал в Бодайбо: будто решено на устье Мамакана строить город и ГЭС.

— А что это, ГЭС? — спрашивает Ефим Романов, отец Егора.

— Это вроде большого заезда, — объясняет Рыжая Борода.

— Речку перегораживать будут? — интересуется Ефим. — Наш Мамакан?!

— Будут. — Рыжая Борода вытягивает руку поперек течения. — Забросают большими камнями наш створ строители, а потом вертушку такую поставят, чтоб кружилась она и свет электрический по проводам от нее шел в дома!

— И-и-ех, — перебивает Георгий Романов, — куда охотникам деваться?

— Кто захочет, на стройке останется, — объясняет Рыжая Борода, — а кто с охотой не может расстаться, в тайгу откочует...

— Город-то большой задуман? — оттирает брата Ефим. — Больше Бодайбо?

— Может, догор¹, и не больше, — отвечает Рыжая Борода и достает какую-то картинку. — Только дома каменные будут, как в этом вот картинном городе...

И передает Рыжая Борода открытку охотникам. В ушах Егора шум голосов, смех. Недоверчивые таежные люди ухмыляются: не верят, что здесь, под крутыми гольцами, встанет город, а поперек бурливого Мамакана уляжется плотина — заездок. Много тракторов надо тут, а их доставлять по Лене, потом по Витиму, затем в Мамакан.

— Далеко, однако-то, руки строитель тянет, не обмерзли бы...

— Может, перепутано что, Савельев?

— Мало ли речек с одним названием?

Но сельповец зря не скажет, в райком партии ходит отчитываться за себя самого и партийного охотника Ефима Романова. И отец Егора верит Савельеву, как родному брату.

— Свет нам очень хорошо, — говорит Ефим, разглядывая картинку возле самого носа. — При электрическом свете много можно вечером дел сделать.

— И зверя с лампочкой будем искать? — скалит зубы Георгий.

— Кому зверя надо, а кому пора в каменном доме жить, по книгам учиться, из тайги да речек большое добро добывать! — возражает брату Ефим. — Не одной охотой люди живут на земле.

— Я таежный якут! — бьет себя в грудь кулаком Георгий. — Мое дело — охота!

— А старик станешь, как охотиться будешь? — спрашивает Ефим.

— Добывать в тайге надо по-доброму, чтоб на старость лет запас был, как у медведя на зиму! — отвечает Георгий и голову набычивает, как самец во время гона перед соперником.

И все соседи-охотники закивали тогда: учугей, говорит Георгий, хорошо. Не пустые слова: первый охотник в Усть-Мамакане — больше всех соболей сдает за сезон, у него на старость хватит денег. А Ефим тут что ответит? Куда меньше сдает он шкурки в сельпо. Неровня в этом деле он брату Георгию. А нерасторопному охотнику второе слово, и правда его нанизу.

И охотники отводят глаза от Ефима.

Охотникам самое время вспомнить бы, почему Ефим Романов и на них самих смотрит с усилием, и на тайгу, и на избы-хатоны. Все же знают: попал осколок бойцу Романову в голову на фронте. Снайпером был Ефим вместе с Чапчагиром Балаганах. Подстреливали они фашистов, как рябчиков, и на счету у каждого уже было по три десятка — об этом все ребята знают в Усть-Мамакане. И все слышали рассказ Егоркиного отца, как навели однажды немцы на двух снайперов минометы и не пожалели мин. Отец рассказывал Антонине Балаганах, жене Чапча-

¹ Догор (якутск.) — друг.

гиря, как вокруг их снайперских скрадков будто тайга поднялась из огня, камней и щепок. Чапчагир пополз из скрадка в другое укрытие — его нагнала мина. А отец Егора перележал — только три осколка в голову впились. Осколки вытащили да домой отправили снайпера: зрение стало не то, что было.

И все помнят, что дома Егоркина мать стала долечивать отца, как умела. Рыбу есть отцу прописали доктора — витамин в рыбе для зрения полезный. Мать и рыбачила сама на Мамакане. Да однажды весной ушла подо льдину вместе с сетью — весь поселок видел. И весь поселок знает, как маялся отец после гибели жены, чуть совсем не ослеп, да подоспел из тайги брат Георгий с медвежьим жиром — вылечил глаза Ефиму. Правда, Егоркин отец не оставил книжки да газеты и снова начал болеть. Но охотники должны вспомнить, как отец пересказывал им, что вычитал в газетах и книжках. Всем интересно было, что отец прочитал. А теперь отвернулись, будто сами могли пострадать от разговора с полуслепым охотником.

И Егор сжимает кулаки: «Кто против отца, подходи!» Да отец и сам еще за себя отвечает как надо.

— Человек не жиром запасается, — говорит отец и смотрит на соседей, как будто прицеливается. — Человек ум копит, а потом на дело его пускает, вроде электричества для нас... И нам свой ум в копилку сдавать надо! Ноги одни да руки имеем, что ли?!

— Мне и охотничьего ума хватает! — смеется Георгий, выпячивая грудь.

У отца морщины возле глаз сливаются.

— А почему твой ум не говорит тебе, отчего детей у вас нет с Полиной?

Сразу увядает Георгий, точно брат увесистым словом по-снайперски попал ему в сердце, и вроде росточком становится меньше, а ноги скривляются сильнее. Через силу губы гнет Георгий вверх-вниз, языком расталкивает, чтоб ответить по-взрослому:

— А нам одного твоего Егорки хватит... Добрым охотником делать будем его вдвоем-то, добытчиком станем на нашу старость...

— Учугей, Георгий...

— Правильно, сосед...

— Сказал, как надо...

Но Ефим обрывает соседей громким окриком.

— Нет, товарищ брат, — машет картинкой Ефим перед плоским носом Георгия, — сам я охотиться буду и со своими глазами, а сына на новые тропы пушу! На тропы научные Егор пойдет, электричеством будет заниматься! Чтоб всем светлей было!

— Вот это разговор! — крикает Рыжая Борода, забирает картинку и протягивает ее Егору, не замечая своего Никитку. — Бери, Егорка, да помни, надо отцовское слово теперь поддерживать! Чтоб в таком городе быть наравне со всеми, четырех классов мало! В пятый поступать придется вместе с моим Никиткой, с Марийкой...

— Пойдет он у меня в интернат! — сообщает Ефим с торжественной улыбкой. — Чтоб потом на мамаканском заезде работать.

И Егор видит, что все соседи смотрят на него, как на соболя невиданной окраски. Мало кто из мамаканских охотников отдавал своих детей в интернат. Четыре класса прошел на Усть-Мамакане, и хватит. И ребятишкам больше нравилось не за книжками глаза портить, а за белкой гоняться по тайге. И Егор сам думал с отцом осенью уйти белковать. Да, видно, заездок уже начинал менять жизнь. Отец хоть полуслепый, а в таком деле видит далеко.

— Не убежишь, Егор, из интерната, как другие?

— Нет, дядя Иван, не убегу!

— Учугей, сынок!

Из-под руки отца видит Егор, как прикрываются глаза Георгия веками — чешуйками кедровой шишки. Что там, под чешуями, — полный орех или пустой, не поймешь.

— Теперь только я и понял тогдашний взгляд дяди, — вздохнул Егор над своим отражением. — Жить много надо или ученым быть, чтобы снайпером стать в таком деле...

Из него ученый человек не получился. Егор горбил над ручейком, и в струе замелькали тени, река вдруг стала показывать ему жизнь, кино и кино.

По улице деревянного города Бодайбо, поднимая пыль, идет обоз из двух десятков оленей. Несколько первых оленей навьючены охотничьим добром: жестяная печка с трубами, оленьи шкуры, торока с чашками и котлом. На вожжах восседает Егорка с «тозовкой» в руках: по дороге в город бельчонку облаяли собаки, Егор сбегал убил. Отец оставался с обозом. Но сейчас Ефим первый подходит к зданию с вывеской «Бодайбинская средняя школа-интернат». Ефим привязывает вожжа к столбу. Снимает Егорку с оленя. Ведет сына в школу. В приотворенную дверь класса видно, как пожилая русская учительница в очках пишет на доске слово «электричество».

— Из быстрой воды речек можно добывать электричество, — рассказывает ученикам учительница. — Если в реку опустить колесо, оно станет крутиться... Когда у вас нет спичек, как вы добываете огонь, а? — И зайчики от ее очков скачут по головам ребятишек.

— Огнем, что ли? — глядя на отца снизу вверх, шепчет Егорка.

— Палочками, — погромче отвечает Ефим и показывает, уперев свою трубку в дверь, как надо крутить палочку, чтобы добыть огонь.

— Правильно, — говорит учительница и, объясняя, идет к двери. — Если ось вертящегося колеса упереть в дощечку, то дерево нагреется от трения и загорится. Кручение переходит в огонь. То же самое — кручение колеса можно перевести в электричество... Она раскрывает дверь, и Ефим с сыном предстают перед классом.

В классе ребятишки — якуты и русские. Есть знакомые: Марийка Балаганах и Никитка Савельев. Пока Егорка разглядывает класс, в лоб ему попадает бумажный катыш. Никитка плюнул катыш через трубку, хихикнул и спрятался за Марийку, только рыжий клочок на макушке торчит.

— А я тебя, Никита, своей пулей, однако, достану! — Егор срывает с плеча винтовку.

Класс ахает. Никитка падает под парту, а Марийка вскакивает под дуло винтовки.

— Егор! — одергивает сзади Ефим. — Дай сюда «тозовку»! Винтовка сама раз в год стреляет. Забыл?!

Егор прижимает к себе винтовку и подмигивает Марийке. Марийка смелая, оказывается. Раньше Егор ее не очень замечал: девчонка! А сейчас увидел, что она похрабрее Никитки.

— А тебя учили приветствовать других, Егор? — раздается в это время голос учительницы.

— Дорогобо, — бурчит Егорка, — страстуйте...

Он волчком смотрит на черную доску: пусть знает учительница — совсем он не хочет учиться. Он хотел, как другие парни, в тайге с отцом белковать, да Ефим твердо слово свое держит. Сколько ни переговаривал его Георгий, отец собрал сына в интернат. И вот сам в тайгу отправляется, а Егора за парту усаживает. Вместе с девкой Марийкой учиться придется да с Никиткой-недотелой. Марийке грамо-



та нужна. Она будет шкурки кроить для шапок и шуб, которые шьет Антонина. Никитка тайгу не любит, хоть мать у него эвенка. Он все возле моторов вертится. А охотнику портить глаза, уши и нюх нельзя.

— В тайгу хочу, отец, с тобой! — отступает к двери Егор.

— А кто плотину строить будет на Мамакане? — Ефим гладит сына по голове.

И слова отца подхватывает учительница:

— Когда-то, Егорушка, люди все были охотниками, но теперь охотников — единицы. А единица — это хорошая отметка?

— Плохая, — отвечает Егор под смех класса.

— Вот видите, ребята, — обращается учительница ко всем, — разбирается человек в оценках... Примем его в класс?

— Примем! — грохочет в ответ.

Учительница мягко берет винтовку из рук Егора и отдает ее Ефиму.

— Теперь до весны, Ефим Павлович, ружье ему не потребуется!

Егор ударил ладонью по воде, и тени разбежались кругами.

— Был бы отец жив, — проговорил Егор в сторону отпрянувшего Снайпера, — «тозовка» с грамотой ужилась бы!..

Он обернулся опять к ручью и увидел новую картину за своим отражением.

За окном класса медленно падает снег. Егору представляются лебеди в небе, они летят и пух теряют. Но учительница не смотрит на прекрасный снег. Она, зная себе, объясняет свое:

— Вы уже слышали, ребята, что тайга покрывает не всю землю. На земле есть моря, пустыни, горы...

Егорка смотрит в окно, не может оторвать глаз от снега. Его толкает Марийка: «Учительница!» — но сосед будто не понимает сигнала. Учительница подходит к парте мамаканцев и говорит:

— Что там такое интересное за окном показывается, Егор?

— Следов завтра в тайге будет много, — отвечает Егорка. — Белку стрелять будут охотники, соболя гнать...

— А ты двойку получишь, да?

Класс смеется.

— Отцу приятно будет, если он узнает про твою двойку? — продолжает учительница.

Егорка крутит головой; в стекле его голова, как ершик — противить ружье после охоты. А рядом Марийкино лицо — поджаренная лепешка, и только. Косы у Марийки, будто головешки костра пруту, дунь на них, жар займется над чернью. И тогда эти волосы станут рыжие-прерывные, как у сельповца Савельева. «А почему вспомнил о нем я? — чешет Егор затылок. — Да увидел его за окном! На крыльце это он поднялся, к нам идет Рыжая Борода!»

И не успевает Егор сообщить новость Никитке, как открывается дверь и в класс всовывается борода мамаканского сельповца, в которой гаснут снежинки. Егорка вскакивает, чтобы Рыжая Борода увидел и его. Но синие, вроде жимолости, глаза сельповца странно сужаются, будто не узнает гостя ни сына Никитку, ни других мамаканцев. И сам сельповец за учительницу старается укрыться. Говорит ей что-то тихим голосом, а она вдруг прижимает к себе кусочек мела и пятнит платье возле сердца.

— Беда! — ахает она вдруг и сбегается. — Ребята, идите на перемену, только тихо, не мешайте другим классам заниматься!

Егор бросается вместе со всеми к двери, но тут

его задерживает учительница. И Рыжая Борода встает на дороге.

— Егорушка, — говорит учительница, — тебе Иван Петрович сказать должен... — И у нее из-под очков катятся слезинки.

А Рыжая Борода губы надкусывает, никак не может новость рассказать.

— У отца беда? — спрашивает сам Егорка.

Рыжая Борода трясет бородой и говорит:

— Медведь отца твоего кончил, Егорка...

— Медведь? — не верит Егорка. — Как мог медведь убить отца? Такого снайпера! Как мог?..

— Отец промахнулся, а собаки не смогли остановить, — рассказывает Рыжая Борода. — Это тринадцатый медведь... Надо было отцу обойти медведя, с большими глазами-то...

— Надо, — откликается Егор эхом, — да отец охотник был!

— Георгий пришел на вашу стоянку, когда олени по тайге разбежались...

— Зря порознь стали они... — У Егора заходится голос.

— Ты не отчаивайся, Егорушка, — гладит его учительница по лохматой голове. — Мы с тобой... Не дадим в обиду... Закончишь семь классов, пойдешь в пушную техникум...

— Не плачь, Егор, — всхлипывает рядом Марийка. — Хочешь, у нас жить будешь.

А Егор и не плачет. Он как Шаман-скала над Мамаканом. «Как наша священная скала, должен быть мужик», — учил его дядя Георгий, и Егор не пророкит ни слезинки.

— К дяде Георгию надо мне, — говорит Егор.

— Понятно, Егорка, родной он тебе человек, — насупился Рыжая Борода. — Но ты его много не слушай... Учительница дело говорит...

Егор упал на мох и стал кататься, пока не наткнулся на валун.

— Почему тогда не послушал Рыжую Бороду и учительницу? — спросил он Снайпера и Чомку. — Мох в голове был или что?

Снайпер виновато замахал хвостом — не знает, а Чомка равнодушно зажевал жвачку — ему все равно. И лишь вода в ручье нажурчивала: «Вспомни, как отговорил тебя от учения дядя Георгий. И не подумал ты, что Георгий без выгоды для себя ничего не делает!»

В брезентовом чуме Георгия Романова жарко. Егорка пьет чай. Хозяин ест мясо, а хозяйка Полина подкладывает обоим лепешек со сковороды.

— На книжках да газетах Ефим глаза потерял, — говорит Георгий, припивая чай из блюдца, — все пользу хотел вычитать... А польза охотника в чистом глазе... Попал а зверя, твоя выгода, не попал — его...

— И Егору глаза побережь бы, — вторит Полина, и на ее лице извиваются морщинки: жарко у железной печки, копать от керосиновой лампы. — Ох, ослепнет от книжек!

— Не дадим ослепнуть! — Георгий отхватывает ножом мясо у самых губ. — Зачем ему теперь учиться? Охотиться надо! Отца заменить в тайге! У дяди с теткой детей нет, Егор заместо сына будет. С дядей Егор не пропадет. Белковать научится, как надо, соболевать, зверовать... В городе пусть калеки наши живут да у кого винтовка в руках не держится, а мы с добычей туда приезжать будем! В гости с полными тороками, чтоб завидовали охотникам! Знали чтоб — романовский род живой и славный! Своё де-

ло делает, как в старину, и в каменной клетке сидеть не будет! Тайга — наш дом! Правильно, Егор?!
— Правильно, дядя, — отвечает Егор, — хорошо говоришь.

Егор вскочил, распугав снова своих спутников, потряс винтовкой.

— Где голова моя была, зачем своей тропой не шел, не отделял свою добычу от дядькиной?!

Увидел, что Снайпер испуганно пьтается в кусты, и опустил винтовку. Поймал собаку за кудлатый загривок и присел у ног Чомки.

— Знаешь ты, Снайпер, — заговорил опять Егор, — и ты, Чомка, сколько Егор добыл за семь зим белок и соболей?! Три рыси взял, пять медведей, две росомахи, девять изюбрей, семь сохатых... А где все мое? Нету! Сдавали с дядей вместе мясо, шкурки, рыбу в сельпо, а деньги дядя себе брал... Шапки тетка шила из моих шкурок — дядька Антонине возил в Усть-Мамакан, та продавала, деньги опять в торок Георгию! А мне и рубля не дали, когда потребовалось!..

Егор обнял собаку и закачался, как будто зуб заболел. А это Марийка всплыла солнечным пятнышком со дна ручья. Зазвенел ее голос и смех. Вспомнилось сразу, как они встретились этой весной напротив Шаман-скалы.

Шаман стоит на правом берегу. Вблизи помотришь — скала и скала, только с берега сильно накренилась в воду, вот-вот свалится. С поселковского берега видно, что это каменный человек — нос есть, глазницы — трещины, скулы, острая борода. И так наклонился этот каменный великан, будто надвигается на тебя через речку. Старики рассказывали, раньше жертвы приносили прямо на голову Шамана — в воду бросали подношения, а теперь перестали жертвовать, и обозленный Шаман когда-нибудь выберет себе лодку с людьми, упадет и раздавит всех.

Молодые смеялись над стариковскими предсказаниями и в весенние празднества затевали ночной хоровод — осуохай на левом берегу, напротив Шаман-скалы, как будто дразнили каменного идола плясками да песнями, и так привязались в конце концов к пятачку напротив Шамана, что и стройка ни почем.

Вот и в этот весенний вечер по обычаю на пятачок идут парни с девушками. Берутся вроде как понарошку за руки. Никитка Савельев вскидывает по-собачьи голову к луне и затягивает песню осуохай:

Осуохай, еще осуохай!
Эсиэхэй, еще эсиэхэй!
И старушки и молодухи
Друг друга взяли за руки!
И старики и ребяташки
Собрались в один круг!

Хоровод раскачивается, машет цепью рук, движется, подпевает — всерьез идет. Под обрывом движки трещат, бульдозер храпит, электрический прожектор ярче луны светит, а наверху парни с девушками выводят, как встарь:

Эсиэхэй, эсиэхэй!
Осуохай, осуохай!

Егору передается сила песни, он подергивается в такт хороводу, но не спешит в круг. Он выжидает, когда Марийка закончит свой разговор с завклубом Верой Максимовной и пойдет в хоровод.

Однако Марийка хватается за руку Веру Максимовну и тащит за собой. Егор замешкался, а Марийкину руку перехватил Никитка.

«Не лопатка тебе Марийкина рука, строитель! — хмурится Егор. — Кто держать такую белую руку должен? Землеройка или охотник? Мы с дядей шапки привозим из тайги Антонине — она кормится с их продажи да дочку поддерживает в техникуме. А кто думает о Марийке на тропах? Кто выслаживает ее в поселке, как редкого соболя? Кто за руку должен держать ее крепче всех?!»

И Егор прорывает круг возле Марийки. Никитка чего-то бурчит, да Егор показывает ему кулак, и Никитка примолкает: с охотниками лучше в мире жить, по петушкам, как говорят парни на стройке.

А Егоровы глаза уже на Марийкиной стороне. Щека у нее светится лунным боком из-за черных туч-волос. И глазами она вроде отстреливается от других глаз. Да от Егора трудно отбиться. Самый проворный соболь от него редко уходит, изюбр на отстой становится, медведь без оглядки скачет... А Марийку он утомит сейчас, чтоб знала, с кем пляшет. Быстрее, хоровод, выше руки-крылья, на вершину взлететь, над тайгой вознестись, к луне подняться!..

...Весна у нас в Мамакане, ребятаки!
Утки летят в верховья Витима!
А к нам пароход пришел «Богатырь»!
Много привез он разных машин!..

Егор повторяет нараспев слова запеваля вместе со всеми да раскачивает хоровод, не жалея сил. Замечает, что устал, вспотел, ноги заплетаются. А Марийка поет рядом свежим голосом, смеется и косит на Егора блестящий глаз.

— Устал, Егор?

— Я да устал!

— А что, — смеется Марийка, — ты же спортом никогда не занимался!

Внутрь, как спиртом, плеснуло. Тело опять гибче кедрового стланика: посмотрим, кто кого перепляшет, спортсменка!

...Растет у нас плотина!
И город большой вырастает!..

Егору уже не по душе песня. И раньше все новости пелись в хороводе, но тут эта плотина так и вертится на языке запевала.

— Пойдем, Марийка, говорить? — предлагает он соседке, увидев, что она оглянулась на поселок.

Марийка отрывается от хоровода и дышит легко. — Да, пора... Завтра мне рано вставать на работу... Молодому специалисту нельзя опаздывать.

Она с почтением смотрит на огоньки поселка, которые каждую ночь будто бы кто разгребают в стороны. А Егор и не знает, что отвечать: в тайге отвыкает человек бойко разговаривать по-городскому.

— Это... ты... как Никитка, будешь землю копать? — бормочет Егор, наконец.

— И землю придется, — отвечает весело Марийка. — Молодой техник-строитель я, шишка невеликая, да и объем работ пока не дает развернуться всем специалистам. Но я должна отрабатывать, что на меня государство затратило... На мое обучение...

Егор не все понимает в словах Марийки, молча бредет рядом с ней. На него вдруг страх нападает: проводишь до огня — и прощай, Марийка, навсегда, затянет ее строительство. А как остановить ее, не знает Егор. Но Марийка сама замедляет вдруг шаг.

— Спасибо вам с Георгием, — говорит Марийка, — что маму выручали...

И тут Егора словно молния озаряет.

— Мы еще будем вам возить шапки! — Он хватается за руку и прижимает к своей груди. — Шкуры покупать стали новые люди... Не надо тебе, Марийка, работать на стройке! Шкуры будешь продавать с

Антониной, шапки, шубы... Быстро долг отдадим государству за то, что учило тебя...

— Э-э, нет, Егор Ефимович! — Марийка гордо вертит головой. — Все кончено с торговлишкой! Хочу быть равня в своем деле! Честно отработаю все наравне с мужчинами! И сама теперь буду маму поддерживать. И шапки свои больше не привозите к нам. Не позорьте нас перед людьми! Так и дяде передай своему! Пока!

Марийка срывается с места и бежит на огни поселка, а Егор стоит, как прибитый. Стоит, пока первый луч солнца, прорвавшись сквозь ветки сосенок, не щекочет ему ухо.

Тогда Егор поворачивается и идет по гибкой дорожке в тайгу.

— Что тут плохого, — бормочет он, — не ворованное продавала Антонина, мы добывали, договор отработывали всегда, что лишнее — на шапки! Утайка от селпо, да людям же шапки! Здесь шапка нужнее, чем там, куда отправляет шкурки Рыжая Борода! И врознь с нами ты, Марийка, если шьешь шапки из нашей белки да продаешь!..

Так разговаривает Егор сам с собой, пока не выходит на поляну, где стоит брезентовый чум Георгия. Через открытую дверь видно, как хозяин с хозжайкой пьют чай. Собаки ластятся к Егору, но он не обращает внимания на верных лаек. Опускается на порог чума.

— Хи-хи-хи, — смеется дядя, — смотри, Полина, как наплясался Егор!

— Понимать должен, — шурит над чашкой Полина, — сам молодой был...

Георгий цокает языком, подкатывает глаза и осведомляется:

— С Марийкой-то сладил?

— Жениться хочу на Марийке, дядя, — отвечает Егор со вздохом. — Как подойти только с этим к ней, не знаю...

— Хорошо, Егор, жениться! — вскакивает Георгий. — Совсем хорошо! Большая семья у нас станет! С Антониной ладить совсем хорошо будем!

— Не будем ладить с Антониной, — возражает Егор. — Марийка сказала: шапки больше не возить! Дядя приседает и с подозрением смотрит на Егора, не пьяный ли.

— «Не позорьте нас перед людьми», сказала Марийка, — добавляет твердо Егор, — «так и дяде передай своему!»... Как подойти теперь к ней, такой гордой?

— «Передай дяде»?! — Георгий выскакивает из чума и ловит оленя. — Я ей передам, девке, дуле! Она в доме решает, что ли? Мать есть! А с матерью мы говорить будем сейчас! Пусть дурочку отдает в хорошее место. Не землю копать, а шкурки выделывать, чай мужу варить! Парня ей надо доброго, чтоб городскую дурь выгнал из нее!..

Ругаясь, Георгий бросает седло на спину быка, затягивает подпруги и заваливается на оленя.

— Пошли, Егор, свататься!

Егор устремляется за Георгием. Знает Егор: если дядя вмешается, скоро дело решится, как хочет Георгий. Умный Георгий, добычи своей не упустит, в тайге любое дело сладит и в поселке с начальством умеет разговаривать. Сколько Рыжая Борода ни крутит с договором, а дядя хитрее оказывается: каждый год сдает, как надо, по урожаю, и на шапки шкурок много остается. И с Антониной дядя быстро расправится. Скажет ей, чтоб прикрикнула на дочь, объяснила, кто кому должен подчиняться. Где видано: дочь за мать свою распоряжается?! Хозяин в семье старший, как у них Георгий. А женщина подчиняется мужчине — так в тайге заведено. И Полина слова против мужа не сказала ни разу...

В поселке уже двери хлопают: на работу люди выходят. Марийка из своей избушки выскакивает — мужичкий наряд на ней из брезента, кепка на голове, а в руках рукавицы — мужичок мужичком, только лицо нежное, в поясе ладошками обожмешь.

— Здравствуй, красавица! — спрыгивает с быка Георгий и кривоногой рысью подбегает к Марийке.

— Здравствуйте, Георгий Павлович, — настораживается Марийка. — Зачем пожаловали так рано?

— За тобой, красавица, — отвечает с ухмылкой Георгий, — в тайгу тебя увезти хотим! Поедешь?

— Если Егор пойдет за меня на стройку, — отшучивается Марийка.

— Куда я скажу, туда и пойдет! — отвечает Георгий. — Как и ты, если мать скажет.

Тут на косом крылечке и появляется хозяйка. Спиная Антонины гнется под низеньким потолком, но перед Георгием женщина сгибается еще ниже. Нелегко Антонине было учить дочку, ой, нелегко! И теперь мать на каждый шорох отзывается: не грозит ли Марийке какая опасность? Но от Романовых в доме Балаганах только польза бывает. И подслеповатая Антонина сразу начинает суетиться возле гостей.

— Заходите, гости дорогие, рады вам...

Егор идет вслед за дядей в сени, вступает в знакомую комнату, не больше их чума. Маленькие оконца, мало света. Но, видно, старается прикрыть хозяйка стол, кровати, комод лоскутком покрасивее. Да как купить дорогой материал вдове? А Марийка, видно, все деньги на книжки переводила — вон их сколько привезла! На полке не поместились, на подоконниках, на комодке, на полу — везде разложены!

— Чай пить будете, дорогие гости? — суетится Антонина. — Заварю сейчас, а то дочка себе кофе придумала варить. Беда с девочкой!

— Кофе пусть себе пьет, — говорит Георгий, усаживаясь за стол по-хозяйски, — а вот старших осуждать да в дела их лезть пусть не смеет!

— Что это она натворила опять? — вскрикивает Антонина.

— Шапки ей вроде наши не нравятся! — говорит Георгий.

Антонина опускает голову и бормочет:

— Старая стала я, Георгий, не могу больше торговать...

— Ах, она тебя уговорила, твоя книжная барышня! — гремит Георгий. — А ты ей сказала, сколько должна ты Романовым?

— Мы отдадим вам скоро все деньги! — встревает Марийка, и из глаз ее будто летят брызги расплавленного свинца. — И ни одной вашей шапки больше не будет в нашем доме!

«Эх, зря дядя про долг заговорил, — подумал Егор, — куда его ум делся?»

— Ладно, красавица, не кричи! — смеется Георгий. — Мы с другим товаром сегодня пришли, от которого грех отказываться!

— Это с каким же еще? — упирает руки в бока Марийка. — С каким товаром?

— С добрым товаром к вам пришли, — продолжает Георгий. — Парень у меня как больной стал от дочки твоей, Антонина, женить их надо!

— Женить? — Антонина забывает про чайник, мечется вокруг гостей. — Как так-то быстро... Думать нам надо, Георгий Павлович, однако... Долго думать...

— Хо-хо, — смеется Марийка, и у Егора мокреет спина от этого смеха. — Ничего недолго, мама, сразу скажу...

— Сперва мать скажет! — прикрикивает Георгий.

— Ничего не мать! — повышает голос Марийка. — Не будет по вашей старинке! И за ваши шапки я не

пойду замуж! Не объегорите меня! Не объегорите меня! Не объегорите даже Егором!

И опять она смеется, а дядя вскакивает и топает так, что книжки летят с подоконника...

— Молчи, дура-девка, потом говорить будешь, как волосы, станешь терять от цемента, да зубки от консервы, да глазки от своего электричества! — Георгий грозит пальцем Антонине. — А ты долг к осени готовь, старая!

Георгий так хлопает дверью, что последние книжки летят с полки. Егор бросается собирать их, но Марийка останавливает его.

— Не суетись, Егор, не подлизывайся! — говорит она. — Этим меня не проймешь! Пока ты не самостоятельный, разговора о женитьбе не может быть!

— Как я не самостоятельный?! — бьет себя в грудь Егор. — Я охотник, в тайге хозяин!..

— Ты у дяди своего батрак! — смеется Марийка. — А я не хочу батрачкой быть. Понятно?

— Мы с дядей родные люди! — отвечает Егор, и в его руках трещит перекрученная фуражка. — А ты не хочешь родниться с нами, так сама будешь батрак стройки! Лопаткой скоро ли рассчитаешься за учение?

— О себе лучше подумай, — убеждает Марийка. — Хоть и ружье в руках у тебя, но сам ты в дядиных когтях!

— Своим умом живи! — огрызается Егор. — В советах бабьих не нуждаюсь!

— А я тебе не совет, предложение взаимное! — повышает голос Марийка и снова упирает руки в бока. — Сначала отделись, потом сватайся!

Егор презрительно усмехается и хлопает дверью. Георгий дожидается Егора верхом на быке.

— Плюнь, Егор, — советует дядя. — Сами придут, нужда заставит...

Егор кивает, выпрямляется и твердо следует за дядей по старой улице Усть-Мамакана. Пусть видят все, как они промахнулись с дядей! И пусть знают: не тот охотник, кто упускает иной раз добычу, а тот, кто голову не теряет и наворачивает потом свое!

Тогда сгоряча Егор сильно осердился на Антонину и Марийку, а остыл, все чаще стали вспоминаться Марийкины злые слова. И сегодняшний случай доказал Марийкину правоту.

— Дядя таким и оказался! — вновь закипел Егор, теребя шерсть Снайпера. — Спасибо, Рыжая Борода сегодня появился! Надоумил! Егор и сам хозяином стать может! Не маленький, не слабак и не безграмотный такой уж!..

Сегодняшнее болит и жжется, будто уголек попал за пазуху.

Чум Георгия, проклятый Егором, так и стоит перед глазами. Перед чумом сам Егор. Он вырезает ножом из дранья плашки для ловушек. Вдруг собаки поднимают лай, олени настораживаются.

На поляну выходит человек в зеленом плаще. Лицо его, как болотная кочка осенью, в рыжем убранстве. «Рыжая Борода! — соображает Егор. — Сам пришел к нам!»

— Дорогобо, хозяин! — здоровается Рыжая Борода.

— Привет, Иван Петрович, — отвечает Егор по-охотничьи сдержанно, — хзяина только нету дома.

— Где же он?

— Заездок проверяет. Хариус идти должен.

— Значит, заездками рыбу ловите? — Гость достает из кармана записную книжку и карандаш, записывает.

— Заездками, Иван Петрович, много рыбы сдадим в этом году!

— А показать можешь ваш заездок, хотя бы один?

— Смотри, пожалуйста!

Они идут к речке торной тропинкой. В узком месте Сатыллах перегорожен огромными камнями из осыпи и плетнем. В узкое отверстие посередине заездка стремительно рвется вода. На глазах струя выбрасывает в деревянный желоб несколько хариусов.

Рыжая Борода оставляет ружье у сосны, заходит в воду и начинает раскачивать кол у плетня.

Егор еще не понимает, что надо Рыжей Бороде. Он с гордостью говорит:

— Крепкий заездок. Никакая вода не снесет. Я делал...

— Теперь надо будет со всеми заездками так сделать, как с этим! — Рыжая Борода выдергивает кол, рушит плетень, раскидывает камни. — Браконьерство это, хищничество!

— Зачем заездок ломаешь? — кричит Егор. — Какое имеешь право наше трогать, однако? — Он хватает двустолку, прислоненную к дереву, быстро переламывает ее — патроны взблескивают в обоих стволах. Егор тут же наводит ружье в грудь Рыжей Бороде.

Сельповец стоит посреди речки. Вода стекает с его больших, в набрякших венах, кистей рук. Он глотает слюну и говорит:

— Ты что, Егор, совсем одичал?

— Это ты, как дикий бык, Савельев! — отвечает Егор. — Добро рушишь! Отпустишь нашу рыбу хочешь?

— Давно вы ловите здесь рыбу?

— Давно!

— Первый раз много рыбы попало?

— Много!

— А второй раз?

— Была.

— А на третий год?

— Была рыба и будет, пока мы тут хозяйствуем!

— Нет, Егор, нынче вы последнего хариуса здесь возьмете. Речка омертвеет. На развод в Мамаканском море ничего не останется.

Егор задумывается. Стволы опускаются ниже. Егор говорит:

— Ладно, Иван Петрович, с дядей спорить будешь... Дядя знает, как ответить! А заездки погоди ломать!

— Сами ломаете, — отвечает Рыжая Борода и выходит на берег. — У меня приказ — предупредить охотников, что за браконьера круто возьмутся.

— Наша тайга, — бормочет Егор, — что хотим, то и делаем!

— Тайга общая! — Рыжая Борода задирает голову, смотрит на вершины сосен и лиственниц. — Вместе и деревья стройно растут, а по отдельности кривые получаются... Вот и ты у нас с кривинкой вырос!

— С дядей говорить будешь! — бормочет Егор. — Дядя тебе еще лучше скажет...

Егор вспоминает комментарии Георгия к радиопередачам. Дядя бережет приемник «Родина», точно порох. С каждого заезда на Усть-Мамакан привозит новые батареи и старается не пропускать ни одной вечерней передачи с Большой Земли. Дядя взвешивает каждую весть своей меркой. И так занятно отвечает он «Родине», что возразить нечего.

Сообщают по радио, к примеру, что собран большой урожай пшеницы, Георгий кривит рот: «А на пушной урожай можно хлеба купить куда больше этого!» Идет разговор про смелого летчика, дядя

вздыхает: «А охотиться некому — последний промысловик скоро из тайги убежит». Сказал голос радио, что по людям идет новая болезнь — грипп, Георгий засмеялся в ответ: «Надо людям по-нашему шустро бегать, а то засиделись в городе ровно камни — на них и лишай и гриб появился». Объявляют — построены большие дома по-новому, Георгий тычет пальцем в дырку на брезенте: «Эх, кто охотнику новый дом придумает?» Поэт песни ансамбля из далекого Якутска, дядя не промолчит: «Что за привычку взяли, однако, наши — петь помимо праздника, кормит-то кто их, подумали б!» Про международные новости в чужие дела — своей земли не объехать, тайги не сосчитать! Ученый выступает, Георгий цокает языком: «Совсем городской человек с ума сходить стал, вместо скота идеи разные разводит да гоняется за ними, как собака за своим хвостом!»

А когда начинаются известия про мамаканскую стройку, Георгий прямо свирепеет. От его голоса мигает свет в лампе, Полина за печкой в клубок сворачивается, а у Егора тряска в коленях начинается. И то сказать, много стройка переманила к себе охотников, не хотят друзья Георгия возвращаться в тайгу, сколько с ними ни спорь. «То ли еще будет», — рычит Георгий в ответ передачам про стройку, — хозяйственного человека совсем перевести хотят, как редкого зверя. Да только мы так просто не сдадимся!..»

И Егор обещает еще раз Рыжей Бороде:

— Уж сегодня-то Георгий выскажет тебе, товарищ Савельев, как вы всякий дерзавья с корнем вырываете! Выскажет по-нашему!..

— Ничего твой дядя не скажет. — Рыжая Борода смотрит из-под руки на мысок, что вниз по течению. Там появляется черная фигурка дяди Георгия, машущего руками. — Это он только тебе мозги запудривать может, недоучке! Но я ему и за тебя сейчас выдам!.. Давай поторапливайся, Георгий Павлович, ловкий человек!

А Георгий бежит, не замечая, что под ногами. В руке у него колышек от заездка. У дяди такой оскал на лице, будто он собрался этим колом бить племянника.

— Егор! — орет он на всю тайгу. — Заездок размыло! Ослеп ты, Егор? Почему стоишь?

И вдруг Георгий роняет кол — заметил Рыжую Бороду рядом с кустом ольхи. И сразу на лице Георгия круглеют улыбочные ямки, а голос меняется, как у шумливой речки. И он сам останавливает разлохмаченную Полину, которая мчится вслед за мужем с криком кедровки.

— Иван Петрович к нам в гости пришел! — изображает радость Георгий. — Почему здесь стоите? Егор, почему не зовешь гостя чай пить, мясо есть?!

— А я вот рыбки решил попробовать, — отвечает Рыжая Борода, — но вижу, всю выловили вы! Хищническим методом! А ведь предупреждал я тебя, Георгий, при заключении договора!

Георгий морщит лоб, разглядывает царатины на носках ичигов.

— Иначе кого поймаешь-то, товарищ начальник? — начинает оправдываться он. — Кого сдашь сельпу?

— Кого на сторону продашь? — добзывает усмешкой Рыжая Борода.

— Зачем на сторону, товарищ начальник, — тянет слезливо Георгий, — себе наловить не можем. Большой заездок рыбы не дает подниматься из Витима! Свет будет — рыбы нет!

— Темные слова говоришь, Георгий, — отвечает Рыжая Борода. — Мамаканская ГЭС даст не только свет, от плотины море разольется в тайге, а где рыбы больше — в речке или в море?

— Охотник в море может ловить, что ли? — спрашивает Георгий.

— Лови на дальних речушках! — объясняет ему Рыжая Борода. — Только заездки тебе не придется больше строить, если не хочешь нажить себе неприятностей! И договор заключать Егору пора отдельный, понятно?

— Зачем отдельный, товарищ начальник? — затыкает Георгий, — родные мы люди, все у нас вместе...

— А я вижу, не все! — возражает Рыжая Борода. — Инструкциями нашими ты с ним не делишься, и вообще парень от жизни отстает, дичает — чуть меня не пристрелил сейчас! — Он забирает у Егора свое ружье и сам нацеливает в парня зрачки-картечины. — Недаром, видно, слух идет, что Марийка ему от ворот поворот показала.

— Не показала! — вскрикивает Егор. — Условие поставила!..

— Не знаю, какое условие, — отзывается Рыжая Борода, — а видел недавно, как Никитка мой помогал им с Антониной дрова распиливать «Дружбой».

— Криборуки и механизма не поможет, — замечает Георгий. — Был холод в хатоне Антонины и остается...

— Квартиру скоро дадут Антонина с Марийкой, — отвечает Рыжая Борода, — в каменном доме, со всеми удобствами...

— Вроде начальства Марийка становится? — вырывается у Егора. — Не верится, что так быстро...

— Растут наши люди, — говорит Рыжая Борода, — Никитка курсы взрывников закончил... Скоро голос его на всю тайгу разнесется...

— Разор один тайге, — ворчит Георгий. — Разор от взрывания...

— А вы тут обогащаете тайгу своими заездками, да? — говорит, как отстреливается, Рыжая Борода.

— Себе на пропитание и ловим всего-то, товарищ Савельев, — тянет Георгий.

— Заходи к нам, — кланяется Полина, — тайменя есть будем, домой ленка дадим, хариуса жене да деткам принесешь...

— Спирт мало-мало пить будем, — разглаживается лицо Георгия, — разговаривать тогда легко будет...

— Махтал, — благодарит Рыжая Борода и повторяет: — Спасибо... Только я не ем рыбу из заездков... Горькой она мне кажется...

— Тогда мясо сварим! — убеждает Георгий, умильно глядя на Рыжую Бороду. — Мясо да спирт накопляют в теле жир...

— А мне растрясать его надо, лишний жир, — сообщает Рыжая Борода, будто и в самом деле заплыл жиром. — Пройдусь я на тот берег Мамакана, к Федоровским, там и чай пить буду...

Рыжая Борода вскидывает ружье на плечо и направляется в сторону хребтика по еле приметной тропинке, выбитой дикими оленями.

Зеленый плащ сельповца быстро сливается с темными кустами кедрового стланика, но рыжая кочка — голова долго мелькает среди веток. И Егор различает своим острым глазом даже седины и думает, что никакого лишнего жира у Савельева нет, что от легкой жизни не поседеешь. Дядя зря говорит, что Савельев со спины охотников соль собирает да продает. Рыжей Бороде и своей соли хватает, а продавать некогда: о каждом охотнике надо думать, да и о любом мамаканце беспокоиться приходится. Все он знает и о Марийке с Никиткой...

— Никитка, выходит, помогает Марийке, — выговаривают в это время губы Егора. — Никитка взрывать скоро гольцы будет, а я как был, так и останусь?! Ни хозяйства собственного, ни оленей, ни палатки!..

— Зачем много думать, Егор, — прислоняется к



нему Георгий. — Откочем лучше к Чаре... Никаких строев там! Одни охотники! Там сосватаю тебе тихую девку... Хорошо жить будем.

— Тихо жить будем, Егор, — поддакивает Полина.

— Нет! — Егор резко отстраняется от Георгия. — Не пойду на Чару я! Родина моя — здешняя тайга! Сами хотите, кочуйте. А меня отделите! Останусь я здесь!

— Что ты, парень, удумал? — подталкивает его дядя в сторону стоянки. — Расшевелил душу сельповец? И ты поддался его слову?

— Отделяй меня, дядя, — твердит Егор, шагая к чуму под напором Георгия и Полины. — Своим хозяйством жить начну!

— Зачем спешить так, Егор, — уговаривает дядя, уже еле поспевая за племянником. — Пить чай надо, мясо есть, потом думать, тогда говорить!

— Нет, отделяйте!

— Да что ты, Егор, спирту опился?!

— Отделяйте, говорю!

Егор с ходу заносит в чум и начинзет сбрасывать в сумы-торока утварь, которая нужна в хозяйстве: кастрюлю, чайник, пестрый меховой ковер-кумулан, одеяло, винтовку...

— Как один жить собираешься? — спрашивает дядя, загораживая выход.

— По-доброму жить буду, как положено охотнику, — объясняет Егор. — Договор сам заключу.

— Договор он заключит, Полина, ха-ха-ха! — Георгий указывает на Егора кривым пальцем. — Документов никаких нет у него, а он договор собирается заключать! Хо-хо-хо!

— Никаких документов, хи-хи-хи, — смеется Полина, скаля сточившиеся зубы. — Мишка все разорвал...

И тут Егор впервые вспоминает, что у него нет документов — не нужны они были ему до сих пор: дядя пока отчитывался по своему паспорту за семью.

— Паспорт выписать у теперешнего начальства — ой, морока, — объясняет Георгий. — Сколько справок надо сладить!.. А без дяди попробуй выходить все! В милицию быстрее посадят! Скажут: «Двадцать лет, парень, почему паспорта нет?»

— Не скажут! — Егор роется в своем тороке и вытаскивает старую открытку. — Вот мой документ!

Георгий обиженно мигает тяжелыми веками, от которых давным-давно отпали ресницы. Полина вылезает из-под руки мужа, выхватывает открытку и с воплем протягивает Георгию.

— Картинка просто, картинка для почты!..

— Нам эта почта ни к чему! — Георгий рвет открытку. — Своя почта в тайге, свои законы, свои документы!

Половинки летят под ноги Егора. Он ловит их и прижимает к груди.

— От отца это письмо, — говорит он и смотрит вдаль, выше голов дяди и тетки. — Мой паспорт...

— Не пуцуй!.. — Георгий заслоняет выход. Полина становится рядом с мужем.

Егор берет торока, раздвигает родню и выносит свое снаряжение на поляну.

— От твоего отца один олень остался! — напоминает Георгий.

— И собака одна! — вторит Полина.

Егор молча ловит однорогого Чомку, седлает его и завьючивает.

— Снайпер! — зовет он старого пса.

Снайпер отбегает от кучи собак и радостно скачет возле Егора.

— И одним оленем обойдусь, — говорит Егор, не глядя в сторону дяди и тетки. — И с одной собакой добуду на жизнь!

— Посмотрим, как сведешь концы с концами, — отзывается Георгий. — Одумайся лучше, пока не поздно, Егор!

— Пусть идет, — вскрикивает Полина. — Холод прижмет — назад прибежит! Одному в тайге, как отцу его будет!

— Прощайте, — говорит Егор и дергает Чомку за узду. — Навсегда прощайте...

— Прощайте-е-е! — послышался долгий крик над гольцами.

Егор вскочил, озираясь. И тут же стукнул себя по лбу.

— Да это же гудок, Снайпер! На стройке гудят, Чомка! Марийкина работа кончилась. Домой она пойдет сейчас, кофе варить будет, про Егора, может, вспомнит. — Егор забрасывает винтовку за спину. — Да мы не пойдем сегодня к ней. Зачем с пустыми руками идти? Дадим лучше крюка по Мамакану да побелкуем. А через недельку обьявимся, сдадим шкурки Рыжей Бороде, выкупим Марийку с производства, а потом скажем ей: «Мы навсегда отделились, Марийка, давай с тобой теперь кочевать будем»... Хорошо придумал я, Снайпер?

Собака взвизгнула и бойко замахала хвостом.

— А ты поддерживаешь меня, Чомка?

Олень мотнул головой, отгоняя овода, но Егору это показалось кивком согласия.

— Ну, тогда пошли!

Егор поймал поводок и возвратился на тропу.

Тени от голых деревьев
Лежат на нашей тропе.
Мертвые листья деревьев
Шуршат на нашей тропе.
А мы идем к Мамакану.
К большой реке Мамакану,
Которая рвется к Витиму...

2

История продолжалась на склонах правобережных гольцов Мамакана. Егор завел по тайге крюк, чтобы, охотясь, через неделю подойти к Усть-Мамакану.

Чем ближе к жилью, тем меньше белки. Приходится Снайперу давать большие круги вокруг охотника, и Егору далеко надо бегать на лай собаки.

Егор бросил конец Чомкиной уздечки и понесся по кустам в сторону, откуда прилетел гремучий лай. Нельзя упускать бельчонку. Каждая шкурка этой осенью вдвое дороже обычного. Надо отдать долг за Марийкино обучение, потом заводить собственную палатку и хозяйство.

Бегите, ноги, шибче! Улавливай, глаз, каждую кочку, пенек и ямку. Тело, гнись пружиной в затворе винтовки! — хрустнет косточка — упадет охотник, и конец ему! Ни олень, ни собака не спасут поклеванного добытчика. Человек рядом нужен, неподдающему.

А пока напарника нет. Но Егор не первый раз на промысле. Каждой жилочкой чувствует он тайгу. Сам

вроде зверя становится, скачет, как рысь, не оступится. Знает таежный промысел без всяких книжных обучений и может прокормить, обути, одеть большую семью.

На склоне гольца среди глыб, стянутых корнями стланика, высились черные лиственницы. Под самой высокой Егор увидел Снайпера. Пес драл передними лапами кору и сипло взлаивал. А белка спряталась где-то в перекрестье бородавчатых веток. Но от Егоровых глаз трудно укрыться. Подбегая, он уже сбрасывал винтовку с плеча. Недолго шупал дерево глазами. Сразу заметил мягкий вроде бы нарост между стволом и толстой веткой. Белка прилегла, как мертвая сделалась, но пушок на ней ветром то обдувает, то приминает.

Егор пристроил винтовку поудобнее — на сухой отводок стланика и мягко потянул спусковой крючок.

Белка метнулась по стволу, но тут же сорвалась и полетела на землю. Ухватилась за ветку, пробовала подтянуться — не смогла и серым комком простучала по нижним сучьям. Снайпер поймал ее. В глазах у собаки перелились слюнки — так хотелось перекусить зверька пополам. Но Егор протянул руку.

— Неси сюда!

И пришлось старому кобелю отдать бельчонку охотнику, как много раз до этого.

— За твое усердие я отплачу тебе, товарищ Снайпер, — сказал Егор. — Выручай друга, прошу тебя!

Снайпер отвел глаза с белыми подпалинками, заскулил и поджал одну лапу. Егор присел, взял в руку лапу и повернул ее. Когти были иступлены, подушечки измозолены, стерты, исполосованы. То же самое и у белки на лапках — издали шла, корм искала.

Опустил Егор взгляд на свои ончурки-ичиги — они тоже побиты, потерты, истрепаны.

Трудно хлеб в тайге достается и зверю, и собаке, и человеку.

— Мы все, как родня, тут в тайге, — сказал Егор с раздумьем, — а гоняемся друг за другом, убиваем... Кто так определил нам жизнь?

Но ни тайга, ни гольцы, ни Снайпер не ответили Егору на этот вопрос. Охотник вздохнул и поднялся. Побрел к тропе, не замечая колодин под ногами. Увидел Чомку на тропе — умные, большие глаза у оленя, но и он не ответит на вопрос человека.

— Может, люди на Усть-Мамакане по-другому жизнь перестраивают? — спросил сам себя Егор, засовывая белку в торок. — Они охотятся за электричеством, а оно без ног, без рук, без глаз... Да кормит, поит, одевает, однако...

Егор задумчиво смотрел на долину Мамакана, заполненную синей дымкой: с низовьев натянуло.

— Трудно будет нам оторвать Марийку от ихней охоты, — со вздохом сказал Егор. — Да я скажу ей, не будешь ты сама убивать... Шкурки только разделять, мясо варить да красивые камусы делать, кянчи¹ себе из мягкой пушнины... Правильно я ей скажу, а?

Но вместо ответа Чомка тронулся по тропе, будто сообразил, что его ждет отдых в конце пути, а Снайпер нырнул в кусты, заводя новый круг по тайге.

— Давай шибче шагай, Чомка, — подбодрил оленя Егор и крикнул вслед собаке: — Ищи лучше, Снайпер! Вечером отдых большой на Усть-Мамакане!

¹ Камусы — меховые сапоги, кянчи — меховые чулки.

Хлеб есть будем, мясо варить, чай пить, с друзьями разговаривать.

Трудно, когда без друзей ты,
Ветру когда ты подобен.
Ветер один всюду ищет
Друга, да все не находит...

Донесся лай Снайпера.

Егор прислушался к голосу собаки — непонятно, на кого лает. Медведь, что ли? На всякий случай нож подвинуть поближе к животу и винтовку наизготовку! Конец узды покрепче намотать на кулак — испугается Чомка, убежит, все растеряет по кустам, и самого потом не отыщешь.

Егор изогнулся и побежал вперед мягкими шагами, поддерживая уздечку. Но через два поворота тропы разогнулся — до ушей донесся перезвон. Егор хлопнул себя по макушке.

— Совсем забыл про Шаман-дерево!

Вернее, он не думал, что так далеко можно услышать старый тот, искореженный, низкорослый священный кедр. Но явственно вдруг донесся звон стеклянной посуды и металла. И Снайпер завыл сильнее.

— Медведь трясет, что ли? — Егор дернул повод и снова заспешил по горбинам и западинам тропы.

Чомкины выдохи стали густеть: «Чом-чом, чом-чом...» Но Егор не давал роздыха любимому оленю, которого выделил когда-то кличкой из стада. Странно зеленело Шаман-дерево. Ветра никакого, а оно звенит.

— Что это, Снайпер? — закричал Егор, выбежав к каменной россыпи на самом гребне перевала, где среди серых глыб зеленело Шаман-дерево. — Кто трясет ветки?

Снайпер виновато крутнул хвостом: никого! Егор взгляделся в сумрак под нижними лапами — в самом деле никого. А банки, бутылки, гильзы брякают друг о друга и звенят: ленточки, лоскутки, клочки шкурок трепещут, точно листья осины. Егор шагнул к Шаман-дереву, чтобы лучше рассмотреть, кто трясет ствол у корней. Но тут вдруг Шаман-дерево закачалось, как на воде, вокруг посыпались глыбы. У Егора поплыла земля под ногами. Он увидел, как Снайпер поджал хвост и, скуля, метнулся под ноги хозяина. Но и сам Егор не смог устоять на месте. Он отпрыгнул к Чомке, повернулся и побежал назад. А тропа ворочалась под ним, и по тайге разносился подземный гром.

Егор бежал до тех пор, пока из груди его не стали вырываться выдохи, как у Чомки. А у Снайпера вывалился язык, будто лоскут свежего мяса. Егору стало стыдно, что он гоняет своих любимцев из-за трюсов.

— Тайга взбесилась! — объяснил Егор, опускаясь на моховую кочку. — Примета плохая... Не пойдем пока на Усть-Мамакан... Переждем пока... Шибко плохая примета, если Шаман-дерево трясется да земля кричит... Это Духа Тайги разбудили строители... Добра не жди... Эх, зря большой заездок стали тут строить! Тайга не хочет его. Сердится. На нас и то напустилась как! Придется переждать. Неделю побелкуем да пойдем на Усть-Мамакан. Позовем Марийку, да назад, в тайгу! Что если голцы так будут трясти Дух Тайги? Шаман-скала в самом деле рухнет на людей! Душ подавить сколько может! Надо предупредить! Марийку в тайгу увезти, а людей всех предупредить! Иначе беда большая придет на Мамакан. Незаметно предупредить только надо, не сегодня, после! Чтоб Дух Тайги успокоился чуть, заснул у своего костра.

Рассуждая, Егор успел собрать около себя сушняк и поджечь его. Живучий язычок пламени вывился из аккуратной накладки былинок, кусочков ли-

шая и хворостинки. Егор пополз по полянке, собирая сучья для костра.

Так каждый вечер. Когда над тайгой поднимается зарево, что оставляет солнце вместо себя, и на небе появляются искры — звездочки, Егор устраивает свой привал. Когда нет дождя, как сегодня, охотник быстро разводит костер, ставит на огонь чайник и начинает обдирать белок, добытых за день. Свет костра то режет глаза, то совсем уходит. Но Егор и в темноте отсечет ножом белке лапки, сделает точные надрезы возле рта зверька и ниже брюшка. А после этого выворачивая шкурку, будто тугую рукавицу. Посмотрел внутри: вся кожа белая или есть темные полосы — выхоженная или не совсем? — и на рогульку ее до утра сохнуть. А тушка пойдет на еду охотнику и собаке. Чуть подсоли тушку, насади на прут и в костер, где жарче угли. Мясо белки нежное, быстро поджарится. Запах от белки, как от кедрового орешка. Закусил сам, Снайпера накормил и чай пей из крышки чайника. Чай, он летом пахнет. Будто аромат летней тайги с травами и цветами возвращается. А с таким ароматом плохо про жизнь думать не будешь. Вспоминается самое доброе, удачное и веселое. Марийка словно бы вот-вот к костру подойдет из темноты. А расстели кумулан, укутайся одеялом, и Марийка окажется совсем близко. Присядет рядом, притронется к его голове жаркой рукой и скажет: «Молодец, что отделился, Егор... Теперь нам сойтись куда легче... Вот добудешь белки, чтоб расчитаться с моим производством, и приходи. Ждем тебя».

3

Рассказ про охотника напоминает тропу в тайге. Тропа начинается у стоянки, ведет по распадку вдоль ручья, медленно забираясь на перевал. Трудно пройти подъем. Тянется он бесконечно, а без него не взойти на хребет, как ни пытайся. Но вот мы на перевале! Дальше ноги побегут сами... Только наша история пока помедлит.

Чутким шагом подходил Егор к Шаман-дереву. Старался не дышать, чтоб кедр, увешанный приношениями, не затрясся опять.

Но сегодня тайга притихла, как примороженная. Только вскакивала желна¹ да с высоты доносились переливчатое гоготанье гусей.

«Однако к снегу тайга приготовилась, — решил Егор, окидывая взглядом северные края, над которыми пепелело небо. — И нам надо готовиться к большим переменам!»

Егор покосился на Шаман-дерево, мимо которого проходили они. Ни одна ленточка не шевелилась на святом дереве перевала. Егор вытащил из-за пазухи заготовленную вчера еще шкурку белки-летяги. Осторожно засунул ее в гущу ветвей и наколол на сухой сучок.

— Чтоб удача наша легкая была, как белка-летяга, — попросил Егор Шаман-дерево. — Чтоб мы с Марийкой себе гнездо свили теплое, чтоб соболя добыть, сколько шерстиков на шкурке летяги...

И священное дерево словно услышало его. Из-под кучи камней вдруг выскочил соболишка. Первосортный соболя со шкуркой под цвет сосновой коры и глазами-черничинками. Зверек мышковал в курумнике, забился в нору к мышам-пищукам и не заметил

¹ Желна — большой черный дятел.

подкравшегося охотника с собакой. И теперь надо было срочно спастись!

А Снайпер подумал, как бы не упустить добычу, и рванул к курумнику бело-черным клубком. Но соболь прыгнул перед самым носом собаки, скакнул в расщелину и выскочил на другом склоне скальной гряды. Собаке пришлось обогать острый гребень. За это время соболь перескочил несколько колодин и вскарабкался на лиственницу. Снайпер ткнулся в комель грудью, как бы пытаясь стряхнуть зверька с дерева. Но только ушибся, завыл от обиды, затаивался.

— Стереги его, Снайпер! — крикнул Егор. Он сбросил винтовку с плеча и понесся по курумнику. Обломки вдавливались в подошвы ичигов, как ножи, но Егор не обращал внимания на боль — сама судьба посылала ему соболя!

Но соболя взять — не белку щелкнуть. Соболю не подпускает человека на выстрел, пока не выбьется из сил. А без снега он может бежать все сто километров низом и верхом. И сейчас зверек не стал дожидаться охотника, перескочил на соседнюю сосну, потом спрыгнул в островок кедрового стланика — только сверкнули радужные шерстинки на пыльном хвосте. Снайпер закрутился между кривыми отростками стланика. Егор бросился вслед. Чомка приученно потрусил за хозяином.

«Хорошо, побегал соболишка к Мамакану, — сообщал Егор, проваливаясь в густой кустарник. — К берегу прижмем, не укачет... Марийке подарок прямо в дом... Пусть попомнит тайгу, строительница! Ай да удача!»

И Егор побежал с удвоенной резвостью вниз по склону. Ноги все больше натыкались на корневища, валежины и кочки, но Егор скакал, как сохатый. Он стерег каждый мах Снайпера, стараясь упредить свороты соболя. Как только зверек поворачивал вдоль склона, Егор мчался наперерез, кричал и размахивал руками.

— Ай-яй-яй!..

Ветки хлестали по скулам Егора, сучки нацеливались в глаза — тайга не хотела отдавать охотнику зверька. Больно красивый да ловкий этот зверек!

А соболь забился в дремучую вершину старушки ели. Егор уже начал выискивать его на кончик мушки, но соболь спрыгнул на березку, а потом скатился в густой пихтач.

И снова зашумели деревья перед глазами Егора, застучало сердце, как самый сильный дятел-желтый, и запахло собственным потом.

Но хорошо — соболь бежал к устью Мамакана. Его можно было загнать в самый угол, между Витомом и Мамаканом, и скалы устья уже виднелись над густеющей тайгой.

— Гони, Снайпер, гони! — вскриком подбодрил собаку Егор. — Совсем близко устье!

Но кобеля не нужно было подхлестывать. Снайпер пробивал кустарники грудью и шел на резкий соболий запах, будто привязанный к хвосту зверька. Егору уже показалось, что Снайпер нагнал хитреца и вот-вот схватит его зубами. Но соболь юркнул вдруг в расщелину — и его как не было: вороны вылетели из глаз и ушей Шамана и закаркали на всю тайгу: «Кар-ра-шо, кар-ра-шо!»

Снайпер заметался вокруг лишаистой скалы, засунул в расщелину голову и начал грести лапами землю. Да, соболь, видно, ушел далеко под скалу. Может, под самого Шамана...

— Не достать нам его, Снайпер, — еле смог выговорить Егор и повалился возле собаки. — Проклятые скалы... Норы под ними насквозь...

Снайпер виновато ткнулся в грудь Егора горячей мордой и заскулил. Затрещали кусты, и к скале по-

дошел Чомка. Его бока тяжело ходили под седелькой, а с губы упала на руку Егора капля. Но Егор и не ощутил жара Чомкиной пены — сам горел и задышался. Кое-как поднял голову, чтобы ветерок наполнил грудь легкостью. И тут расслышал шелест Мамакана. Шелест был слишком громкий — сквозь него еле пробивались скрежещущие звуки стройки.

— Шуга! — догадался Егор, вскочил и заковылял к берегу. — Шуга!..

По Мамакану плыли остроносые льдины. Они на глазах обрастали ледяной крошкой, белели и замедляли ход. Шум и хруст неслись из горловины, которая образовалась между насыпью и правым берегом. Насыпь только начинала расти, а Мамакан уже сердито шумел и пытался снести край заездка.

«Кто же победит, — подумал Егор, забыв об усталости, — Мамакан или строители?»

Мамакан не только шугу приносит. Еще наледи будут, ледоход, половодье... Вон как ощерились зубья-скалы на этом берегу. Будто ждут, когда строители подтянутся к правому берегу, чтобы жавкнуть их вместе с заездками. А Шаман вроде еще сильнее пригнулся к воде, как прыгнуть на стройку соблазна.

Но тут Егор вспомнил про свое положение. Получалось, сама тайга не пускала его к Марийке. И как он не догадался, что подойдет к шуге и никто не перевезет его на тот берег?! Можно было перейти Мамакан в верховьях вброд. Но не хотелось мочить ноги в ледяной воде, да по той стороне хуже со зверьем, белкой, соболем... Опять же там Федоровские белкуют.

«А на этой стороне, — поник Егор, — все против меня... Даже соболишка убежал... Марийке как теперь хоть знак дать?»

Он поднес к виску ладонь, чтобы прикрыться от ярко-красных лучей вечернего солнца, и взгляделся в набережную улицу. В детстве Усть-Мамакан казался Егору огромным поселком. Теперь же старые избы, хатны и полуземлянки напоминали пенки выгоревшей тайги, над которыми поднимаются могучие молодые деревья — новые многоэтажные дома.

Но взгляд Егора был недолго прикован к каменным великанам-домам. По плечам прокатился озноб. С неба понесло редкие снежинки, и над гольцами померк свет.

А из чугунной трубы старого жилья выбивался дымок. Видно, хозяйки готовили ужин. «Как бы взглянуть на Марийку? — ныло в голове, будто от больного зуба. — Да крикнуть ей, что Егор отделился и теперь вольный, как зверь в тайге!»

— Эх, крыльев нет! — проговорил Егор и вдруг вспомнил, как охотник догоняет самую быструю птицу: — Пулей!... Если пулей по трубе, зазвенит на весь дом! А разве я не охотник, не сын Снайпера?

Он сорвал винтовку и приладил ее к скале. Перевел хомутик на прицельной планке до отказа и прицелился. Промаях давать было нельзя — пуля могла кого-нибудь задеть на том берегу. И Егор целился так, что сам превратился в кусок скалы. Он шевельнул пальцем на спуске, услышал щелк и дальний отзвон металла.

В избушке, конечно, отозвалось. Но хозяйки не придали, видно, значения такому сигналу. Тогда Егор опять прилег к скале, прицелился и нажал спусковой чуткий крючок. Через шелест шуги пронесся отзвук попадания.

На этот раз из домишка выскочила женщина в наброшенной на плечи шали. Егор присмотрелся к ней — это была Антонина.

— Эге-е-ей, тетя Тоня! — закричал он, выскочив на верх скалы. — Позови Марийку!

Антонина взглядела и узнала его. Она что-то крикнула, покачивая головой, но Егор не расслышал ее немощного голоса.

— Зови Марийку, говорю! — Он сделал вид, что опять собирается стрелять.

Антонина затрусил к крыльцу, и через минуту из домика вышла Марийка. Она, видно, выскочила из-за стола и дожевывала что-то.

— Марийка-а-а! — закричал Егор. — Здравствуй!

— Егор, — отозвалась Марийка звонко, — ты к нам шел?

— К тебе, — объяснил Егор, — отделился я, Марийка-а-а!

— Плохо слышно-о-о! — прокричала Марийка и побежала к самому краю берега. — Что говоришь?

Егор понял, что усиливающийся ветер отгоняет их голоса. Он напряг грудь и закричал во всю силу:

— Отделился я! Один промышляю!

— Один? — переспросила Марийка.

— Сам теперь хозяин! — кричал Егор. — Долг скоро отдам за тебя! Только переправиться не могу на ваш берег!

Он соскочил со скалы, вынул охапку шкурок из Чомкиных тороков и потряс мехом.

— Вернем государству все деньги-и-и!..

— Подожди, чудак! — попросила Марийка. — Я к Савельеву схожу! Пошлем за тобой вертоле-е-ет!..

Долгий порыв ветра швырнул в долину тучу снега, и противоположный берег закрыло серой шкурой пурги.

Егор подождал просвета, но в долину неслись новые охвостья туч и становилось зябко от одного вида хмурой долины. Пришлось засовывать назад в торока шкурки и поворачивать снова в тайгу.

— Подождем, когда Мамакан замерзнет совсем, — объяснил Егор своим спутникам. — Белковаты невдалеке будем пока, соболишек по первому снегу добудем, потом и пойдем к Марийке свататься... Хорошая Марийка, вертолет хотела звать за мной, да кто же за одним человеком вертолет посылает? Да за простым охотником?! А какие деньги потом заплатить надо за такую переправу? Тороков наших с мехом не хватит! Нет, Марийкиной головой тут нельзя думать! Надо свои соображения иметь. Хозяином быть теперь уже. Пока крылья собственные не отросли, не торопись лететь — об землю шмякнешься, долго вставать будешь. Нет, Марийка, мы перетерпим еще несколько ночей в тайге, без зимовья... Тайга, она теплая... Только от берега подальше отойти надо, в распадочек забиться, жаркий костер разжечь...

Так, вслух рассуждая, сгибаясь от ударов ветра, Егор углублялся со своими спутниками в тайгу. Чомка шел, сильно мотая головой. Снайпер плелся по тропинке, не обращая внимания на дразнящие запахи. Да Егор и сам валился с ног от каждого удара ветра. И он не стал долго бродить по тайге. Тропинка завернула в распадочек, темный от елей. И Егор спустился по ней до самого дна, где вился между корнями и валунами черный ручей.

— Здесь наш дом сегодня! — объявил Егор, показав на старую ель, увешанную плакучими лишаями. — Елка растет на теплой земле, и нам под нею тепло будет...

Снайпер сразу же свернулся калачиком между корней ели, а к Чомке Егор поспешил на помощь. Хозяин снял торока, сбросил с оленя сбрую и подтолкнул его к склону.

— Пасись, Чомка, ешь мох, сил набирайся, нужны нам силы теперь большие — снег!

Олень нехотя пошел к прогалине на склоне, а Егор, не теряя времени, взялся за топор. Холод под-

гонял, и Егор в три маха свалил сухостойну. Разрубив елку на поленья, он сложил их чумиком, внутрь натолкал мелочи и сухих лишайников. Ладонь не ощущала огня, когда подносил спичку к дровам. И долго Егор грел пальцы в самом пламени костра, пока не запахло паленым. Тогда он отполз к Снайперу и свернулся калачиком возле него. Ни есть, ни пить не хотелось. Да и не было у него уже ни муки, ни чая, ни мяса. Двух сегодняшних белок отдал он Снайперу, а сам рассчитывал на ужин у Марийки. Но теперь надо было несколько дней жить на подножном корму.

«Посплю немного, — решил Егор, — отдохну, потом чай скипачу, заварю чагой... От чаги сердце крепче делается...»

Если долго смотришь на пламя костра, оно трепещет перед глазами и во сне. И в отблесках этого сонного пламени появляются необычайные видения.

На этот раз Егор снова очутился на правом берегу среди скал. И увидел, как Рыжая Борода, Никитка и Марийка — все в одинаковых спецовках — пытаются перегорудить камнями узкий проход в большом заезде. Они по очереди таскают камни и бросают их в бурлящую воду. Но Мамакан уносит эти камни, словно пушинки.

— Марийка, — зовет Егор, — хватит тебе камни таскать, пойдем своим делом заниматься!

— Пока не перегорудим реку, никаких своих дел не может быть! — говорит Рыжая Борода. — Твой отец был бы живой и тебе бы не дал разгуливать.

А Никитка хихикает и корчит рожу.

— Так вы будете всю жизнь перегоруживать, — отвечает Егор, — и не видать вам заездки все равно!

— А что ты предложить можешь? — спрашивает Рыжая Борода.

— Отпустите Марийку со мной, тогда скажу! — объявляет Егор.

— Обещаем отпустить, — супится Рыжая Борода, — только сначала подкажи, Егор, как завершить плотину?

— Ладно, помогу вам, так и быть! Неси, товарищ Савельев, мне побольше пороха из своего сельпа!

— Сейчас будет порох, Егор Ефимович!

Рыжая Борода машет в сторону левого берега, и оттуда поднимается вертолет. Пока с вертолета сбрасывают порох, Егор расчищает трещину-нору между глыбами каменной осыпи.

— Порох! — требует он, и Рыжая Борода подает ему пачку за пачкой пороха.

Егор закладывает в нору под скалой порох и тянет тонкую струйку в безопасное место. Все прячется за деревья. Егор поджигает струйку пороха, пламя убегает в занорыш — раздается взрыв. Осыпь оползает в реку и перегоруживает проран. На обоих берегах ликует народ. Рыжая Борода улыбается, хлопает охотника по плечу. Никитка виновато жмет-ся к одинокой сосне, а Марийка стоит возле Егора, стараясь, чтобы он не забыл ее.

— Теперь ты пойдешь со мной? — спрашивает Егор Марийку.

— Пойду, — отвечает она, — только вот установим сейчас колесо и получим электричество.

— Ладно, посмотрим на первое электричество, — великодушно соглашается Егор.

И он смотрит, как на тугой струе воды устанавливаются колесо с лопатками, как колесо начинает крутиться и на конце оси вспыхивает сияние.

— Электричество! — вскрикивает Марийка. — Свет!

— Свет!..

— Это все Егор помог!

— Ай да Егор!

Откуда-то появляется вдруг Георгий с бутылкой спирта в руке. Он наливает спирт в кружку и протягивает Егору с улыбочкой.

— Заслужил, Егорка, на, погрейся!

Но Егор отбрасывает кружку. Спирт попадает в электричество, загорается, и сгусток пламени летит назад, к Егору. Егор бросается в тайгу, но пламя настигает его и обжигает...

— Ах-ах!

Егор проснулся от воя Снайпера, запаха тлеющей тряпки и жжения в боку. Раздрав ресницы, он увидел, что тлеет его куртка. «Бежать!»

Егор вскочил и кинулся в тайгу, как будто и в самом деле опился спирта. И тут ощутил тяжесть на ноге и острые зубы Снайпера. Собака не давала ему бежать, она валила его в снег.

И Егор опомнился. Упал, покатылся по снегу. Одежда на нем зашипела, а в бок ударило горячим паром. Егор покатылся в ручей, оставив черноту след. Плеснула под ним вода. Обожгло холодом. Егор ринулся назад. Подполз к костру и незряче стал разгребать уголья, кидать в них щелки, потом поленья.

— Чертовская елка, — едва сдерживая слезы, бормотал Егор, — стреляет искрами, как пороховая мина! — Он похода прижался лбом к теплоте боку Снайпера. — Спасибо, ты догадался, Снайпер, схватил меня за ногу... Когда человек загорится, он как полоумный... Зверя так не боится, как огня... Только валить тогда надо его... Спасибо, Снайперка... Спас ты меня, собака моя родная...

Пламя охотно набросилось на новые полешки, загудело и подсветило бережок. Егор увидел, что снег запластал землю, валуны и деревья. И только тут охотник ощутил леденящий холод в боку. Егор повернул к огню оголенный бок. Выгорела куртка, рубашка и нательная поддевка. Кожа розовела, как после парной.

— Сейчас мы подлечимся, — пробормотал Егор, набирая в горсть теплого пепла.

Он присыпал подгоревший бок пеплом и закричал от пощипывания.

— До свадьбы заживет, — успокоил он сам себя русской поговоркой и стал шарить в тороках, отыскивая иголку, нитку и мешковину для заплат.

Через минуту Егор уже пришивал первую заплату к своей видавшей виды куртке из шинельного сукна.

4

Студеней нет рассвета в тайге, как после первого снега. Уж такой костер разложил Егор, что потрескивали от жара иголки на нижних ветках седой ели, а спина зябла. Егор знал: поешь сейчас он мяса с хлебом да запей чаем-крепачком, сразу бы теплее стало. Но откуда было взять продукты? Он скипятил воды с чагой, выпил семь крышек этого «чая», но тепло не стало.

Снайперу было легче: помышковал по свежим следам и теперь облизывался у костра. Чомка тоже наелся ягеля, пожевывая себе жвачку да косил на хозяина стеклышком глаз: когда же начнет он жарить свое любимое мясо?

Но охотник набил трубочку табаком, раскурил ее от дымящейся ветки и сказал:

— Чай пить — хлеба нет, мясо варить — долго будет, трубку табака выкурим — и пошли на гольцы! На человеческом языке это называлось шуткой. Егор знал, что шутка согревает, как и табачок, кото-

рый он закуривал в самых редких случаях. Табачок проридил душу так, что забывалась еда, ноги становились пружинистей, а в голове появлялись добрые мысли.

Так и сейчас, глядя на раздувшиеся торока, Егор решил: «Надо здесь оставить шкурки, тогда олень проворней по тайге станет ходить».

Грея беличьим мехом руки, Егор уложил шкурки в куль и подвязал его в еловых лапах, куда достал. В тайге из людей никто не возьмет чужого. Россомаха-проказница не достанет на такой высоте. Медведь залет в берлогу.

— Хозяйское дело сделали мы! — крикнул от собственной находчивости Егор. — Теперь проворно побегим...

Он быстро нацепил седло на облезлую холку оленя, приторочил полупустые торока и крикнул:

— Пошли следы искать!

Снайпер вырвался на белую целину и обалдело закружился между деревьев, приспосабливаясь к первоснежью. А Егор зашагал по тропе, которая выделялась и на снегу.

Снеги упали на землю,
Скрыли от глаз все кочки,
Листья, сучки да травинки:
Вымерзла вроде бы жизнь вся...

Егор шел, а сам поглядывал по сторонам, замечая каждую отметинку на снегу. Вот мелкая цепочка точек от куста под валежину — мышка пробежала. Крестики натоптаны — рябчик доставал бруснику из-под снега, еще рябчик — целый выводок где-то недалеко. «Можно было бы настрелять», — подумал Егор, — да патронов жалко, была бы шкурка у рябчика — другое дело».

Так шел Егор навстречу бледному солнцу, шел и считал следы. Ухмыльнулся, увидя заячьи стежки — задние лапы вразброс, передние рядом. Почтительно замер над узкими лунками изюбриного хода. Плюнул на отпечатки лап россомах, что напоминают ступни крупной собаки.

— Совсем никудышный зверь в тайге, — заметил Егор, поддернув к себе Чомку. — На россомаху патрона не пожалел бы...

Волк, и тот казался Егору меньшим разбойником, чем россомаха. Эта хитростью превосходила любого зверя. В самый крепкий лабаз проберется и раздерет все, что под силу. На всякого зверя охота придумана, а россомаху на отстой не поставишь, на дерево не загонишь, в капкан не заманишь, собакой не затравишь — ударит собаке в нос вонью, потом неделю не может лайка отчихаться.

«А все же россомаху мало в тайге, несмотря что хитрюга такая, — задумался Егор, — в одиночку шляется, пакостит и прячется... Все звери в кучки собираются, а она и когда гон затевает — непонятно... Не по ее ли подобию должен жить человек тайги? Нет, — нахмурился Егор и шагнул, затапывая россомахины следы. — Я не буду как россомаха. Делал все по честности и останусь таким всегда! Семья наша далеко слышна станет, и много народу потянется к нашему стойбищу. Не все же хотят строить, скот пасти да землю пахать. Кое-кто тайгу любит, да не знает дороги в нее. А мы с Марийкой подсказжем. Тайги всем хватит. Кто хочет — пусть идет к нам. Охотиться научу, собаку дам, отстой покажу, улов в речках... Человеку таежное надо не меньше электричества. Тайга лечит своей силой... Скольким людям такое лечение нужно! Пусть Рыжая Борода приводит изнуренных людей к Егору Романову — всем найдется место!..»

Егор приободрился, будто у самого все было хорошо и оставалось только позаботиться о разных людях, надорванных суматошной жизнью.

Тайга для людей — мать родная.
Пинать только мамку не надо!..

Егор не закончил песню: из-за каменистого гребня донесся собачий лай.

«Белка, что ли? — задумался Егор, слыша странные нотки в лае Снайпера. — Или человека встретил?»

Егор вскарабкался на гребешок и остановился наверху. Охотник увидел свою собаку на чистом склоне и не мог понять, на кого лает Снайпер. А пес припадал к снегу, визжал и кидался то в одну, то в другую сторону.

«Не сбесился ли Снайпер?!»

Егор крикнул Чомке, чтобы тот не отставал, и кинулся к своему псу. Через двадцать шагов он понял, над чем изнывал старый кобель. Две нартовые полоски пересекали увал. Около следов нарт чернела земля, выбитая крепкими копытами ездовых оленей — быков, рядом были разбросаны легкие собачьи следы.

— Георгий никак проехал?! — охнул Егор и пустился вприпрыжку к синим следам нарт.

Снайпер встретил его на брюхе. Стучал хвостом по земле и жалобно поскуливал, будто хотел сказать: «Наши проехали! Догоним давай их, хозяин, подкрепимся...»

— Придется догонять, — сказал Егор, горько тряся головой. — К устью дядя едет: найдет мой куль — нюх у него лучше, чем у росوماхи... Подумает дядя: побоялся я один в Усть-Мамакан пойти, надо помочь мне назад вернуться, к нему! Заберет он шкурки, Снайпер! Увезет добычу мою, Чомка! Нет, не отдадим! Догнать надо Георгия! Пошли наперерез! Еще обгоним! Спасем свое добро!

Он сгоряча зашагал по следам нарт, но скоро вспомнил про свою тропу. Да по тропе тоже можно было опоздать. И Егор закарбкался напрямик, через ступенчатую вершину гольца. Снег прикрывал ямки, заросшие кашкарой, и ноги проваливались в них, дух захватывало. Сердце металось птицей в пещере. Под ложечкой ныло, точно наглотался, как глухарь, холодных камешков.

Но Егор бежал по тайге, как по ровной дороге. Сейчас решалось дело его жизни. Он понимал, что ему нельзя подавать Георгию даже вида, будто утомился. Георгий заманит в чум, обогреет, накормит, даст спирту и так оговорит, что уже не убежать второй раз. Это как восходишь на голец. Чуть дал кривулину по слабости — и вершину не найдешь, будешь по склону ходить да все ниже и ниже спускаться. «Но я такой закон знаю! — сказал про себя Егор, пробиваясь грудью через стланик. — Вершину не обойду!»

Он выскочил, задыхаясь, на голый клочок макушки гольца и упал рядом с деревянной башенкой, которые строят экспедиционники на вершинах гольцов. Похватав снегу, Егор вскочил и огляделся. Тайга скрывала нарти, Георгия и собак. Может, дядя подъезжал уже к его кулю! Конечно, долго он рассуждать не будет. Сорвет потайку в нарти и — назад! Егор соскользнул с каменистого края макушки на мшаный склон и понесся вниз, перегоняя Снайпера. Теперь он был сам, как зверовая собака, что в погоне за крупным зверем не замечает разных мелких следов.

Егор вышел вновь на свою тропу и не увидел на ней тревожных знаков. Окрепла надежда, что Георгий не выедет на его следы.

Но у дяди были добрые лайки. Они почуяли Его-

ра у самого места ночевки. И перекрестились следы на снегу...

Георгий завернул к черному пятну кострища и заметил в ветках ели куль Егора...

— Как знал — найдет, — вырвался стон из груди Егора.

Охотник оторвал взгляд от следов и увидел только остаток веревки. Георгий не стал дожидаться: гикнул на оленей и помчался обратно. Только не по старому следу, а новым путем — по первому снегу можно выбирать самый ладный путь, а дядя, видно, не очень хотел встретить Егора на старых своих следах, он предпочитал принять племянника в чуме.

Не ощутив колючей хвои, Егор привалился к елке и представил, как Георгий придет сейчас домой и с хитрой улыбочкой на безбородом лице станет дожидаться заблудшего племянника. «Что, тяжело без дяди родного, Егор? Никак не удастся в Усть-Мамакан попасть? Может, еще раз хочешь попробовать? Или лучше спиртику выпьешь да мяса поешь?..»

Егор сглотнул горячую слюну, зарыбила синь над гольцами, как жарким летом. Сможет он отказаться от кружки спирта из дядиных рук или нет?! Так хорошо, когда выпьешь холодного жидкого огня. Забываешь сразу про несчастья, ничего больше не надо, а кто с тобой не считается — пусть подальше идет! Правда, наутро опять все возвращается, прежнее: ты, как все, и должен считаться, что думают другие про тебя. Но можно снова выпить спирту, и опять ты царь тайги! И заработать на спирт куда проще, чем добиться уважения строителей, Рыжей Бороды и Марийки.

— Нет! — крикнул Егор. — Я не за тем охочусь, что дешевле!

И он оттолкнулся от елки. Смола успела разогреться от спины Егора, и куртка приклеилась к дереву, словно старая ель не хотела отпускать охотника от себя.

— Я не соболь, чтоб меня защищала тайга! — пробормотал Егор, вырываясь из легких объятий дерева. — Я сам постою за себя!

Он шагнул на след нарт Георгия и двинулся по этим узким полоскам, убегающим на северные оголенные увалы в сторону Сатыллаха. Снайпера и Чомку не надо было подгонять — они чуяли родню по свежему запаху и резво бежали рядом с хозяином. Перегонять, однако, Егора даже Снайпер боялся: настроение у охотника было сегодня какое-то непонятное. Вроде шел в сторону дома, но видом напоминал пьяного.

А Егор только заклинал себя:

— Не выпью и кружки спирта, не съем ни куска мяса!.. Ни капли спирта! Ни крошки дядиного! Чашки чая не возьму из их рук! Пусть меня потом собаки разорвут, если соглашусь с ним сесть за еду! Никаким спиртом меня Георгий не приманет! Пусть литру ставит, губы не облизну!

Сам не заметил, как облизал губы в сухих трещинах и лоскутах кожи. И сияющая бутылка со спиртом стала мерещиться впереди на снегу, хоть глаза совсем прикрывай.

Егор знал, что от блеска первого снега можно ослепнуть, что охотнику видится на первом снегу любой зверь. Но почему ему показывается ненавистная и приманчивая бутылка с бледной наклейкой, похожей на лицо перепившего человека? Что за чудо такое — не хочешь, а тебе мерещится, и чем сильнее гонишь бутылку от себя, тем она заманчивее поблескивает среди притрушенных снегом кустов? А дальше еще одна, и еще, и еще...

И вдруг видение разом пропало! Егор замер на полшаге, словно перед ниткой самострела. Это были новые следы. Егор не увидел их, почуял. И сразу закосил по сторонам — не подглядывает ли за ним из-за ближних кустов хозяин этих лап с кривыми когтями? Совсем недавно пересек шатун следы нарт, и Снайпер даже не залаял. Они с Чомкой остановились, как по команде, и затряслись возле Егора. На Снайпере шерсть поднялась, как при сильном морозе, а Чомка шумно задергал ноздрями — вот-вот сорвется с места по своей оленьей привычке и побежит без оглядки со страшного места.

— Да нету его близко! — успокаивал своих спутников Егор, заряжая винтовку усиленным патрончиком с крестообразной насечкой на кончике пули: войдет такая пуля в тушу зверя и раскроется там свинцовым смертным цветком. — А подойдет — получит такой подарок!..

Услышав спокойную речь охотника и клзцанье затвора, Снайпер осмелел, нюхнул следы и сбежал к ближним деревьям.

— Как же Георгий пропустил шатуна? — озадачила Егор. — Совсем непонятно... Две лайки с ним, не почуяли медведя, что ли?

Он замер, размышляя про себя, что такое могло случиться с Георгием. Состарился так, не обратил внимания на беспокорство собак? Вот же следы показывают — собаки носились здесь поперек хода нарт, как взбесившиеся.

«Или испугался? — предположил Егор. Он передвинул нож к животу, сжал винтовку и перешагнул медвежьи следы. — А мне пугаться нельзя... Убегать не на чем... Идти вперед надо... Спокойно идти...»

Егор и пошел. Только шаг его стал короткий и напряженный. Егор знал повадки шатунов. Одного он завалил в неурожайный позапрошлый год. В железяке не залегшего в берлогу медведя он обнаружил кусок рыболовной сети с глиняным грузилом и резиновый каблук кирзового сапога... Тогда ему вспомнился отец. Сейчас тоже... Егор сжал зубы, чтобы они не стучали, как от холода. Застучат зубы, затрясутся пальцы — шатун будто услышит. Тут как тут будет. Сильно шатун понимает, когда может одолеть. На Георгия не мог напасть: две лайки там. А перед охотником с одной собакой да со старенькой «тозовкой» он колебаться не станет.

— Снайпер! — шепотом позвал собаку Егор. — Не прозевай!..

Он не успел докончить — на собаку обрушился снежный вихрь с густой ольхи. В середине лавины Егор разглядел косматую бурю шкуру. Снайпер с визгом отскочил, но тут же метнулся под корни ольхи, а оттуда напал на медведя сзади. Шатун рывком и крутнулся на месте. Снайпер полетел от него в кусты. Егор целился в косматую лопатку. Палец прилип к спусковому крючку, но медведь крутился, как вихрь. Он прыгнул на собаку и придавил ее ударом лапы.

Егор понял, что больше медведь не остановится, и потянул спуск.

Пуля щелкнула в ветках черного куста. Как в медленном сне Егор понял, что промахнулся. Слишком мало ел он в последнее время и много бегал сегодня. А медведь был быстрый, как огонь. Шатун мчался уже на Егора, а гильза никак не выбрасывалась из патронника.

По дыху зверя Егор понял: миг упущен — перезарядить не успеет калеку-винтовку. Егор швырнул ее медведю, а сам выдернул нож.

Медведь с лету остановился перед винтовкой, хватанул ее лапой на всякий случай и вскочил, как обжегшийся человек.

«Уф-уф-уф...» — дышал зверь и оглядывал Егора, точно встретил старого знакомого.

А знакомство с человеком у него было: Егор увидел стальной трэстик на ободранной шее зверя — попал в браконьерскую петлю, ушел, но не смог лечь в берлогу. И приходилось сейчас Егору исправлять чью-то ошибку с ножом в руках. А может, и расплатиться жизнью за петлю городского охотника. А медведь не думал отступать. Он угрожающе качнулся на месте, ожидая, что человек побжит, как олень, что за его спиной. Но Егор только шире расставил ноги, чтобы поглубже вонзить свой скошенный на нет острый нож в брюхо шатуна, в мягкую, нежную печень.

Тогда зверь ринулся на охотника, загрохав лапами перед собой. Егор снял шапку, чтобы швырнуть ее в пасть медведю. И тут что-то застрекотало сзади, с высоты обрушился грохот мотора, и тень налетела на зверя и охотника.

Медведь охнул, как человек, завалился на бок и отскочил в кусты.

Егор бросился в другую сторону.

— Э-э-эй! — закричал он вертолету, несущемуся над тайгой. — Возьмите меня-я-я!

Но вертолетчики летели по своему делу хоть низко над тайгой, но из-за Егора не собирались садиться. А может, не видели его. Просто случайно налетели на охотника и медведя. Но все равно они помогли Егору избавиться от беды, и он побежал сейчас за вертолетным гулом.

Внезапно гул оборвался, и Егор снова оказался среди таежного безмолвия.

«Нельзя так бежать! — опомнился Егор. — Шатун увидит и догонит!»

Он прижался спиной к толстой сосне и огляделся. Поляна, куст черемухи с единственным красным листочком, золотые стрелы сосен, черные лиственницы... «А что за лиственницами пошевеливается? Не шатун ли опять подкрадывается?»

Нож в руке подрагивал так, будто Егор целый месяц пил спирт. Хотелось повернуться и бежать без оглядки, по Чомкиному примеру. Но Егор знал: от медведя не убежишь. Только отступать! Смотреть во все глаза и отступать к тому месту, где кончился гул вертолетного мотора! Вертолетчики, видно, посадили свою железную стрекозу на удобную площадку. И надо идти к ним. Уносить ноги, пока жив. Только не спешить! Не показывать вида, что боишься весь до самых ногтей. Отходить не торопясь, как подбирает охотнику. Есть еще в руках нож, и неизвестно, чем кончится схватка. Шатун теперь напуган, однако не может и он упустить своего. Хитрит, подглядывает, подкрадывается...

«Не спеши! — приказывал сам себе Егор, отходя боком от дерева к дереву. — Не торопись! Не трясись! Не пугайся хруста своих шагов!»

Уговаривая так самого себя, вздрагивая от каждого шороха, Егор отступал в том направлении, куда скрылся вертолет. Он спиной чуял то место, где прекратился спасительный стрекот и гул. Оттуда как будто шло тепло и грело спину.

«Шатун раньше меня услышит голоса людей, — воображал Егор, — запах вертолета учует — отстанет тогда... Или кинется сразу?»

И Егор молил про себя людей, чтобы они опять сделали шум своим вертолетом.

И люди будто поняли его. Сначала разнесся вроде бы ружейный хлопок, и вдруг за спиной ахнуло на всю тайгу. Гром промчался над землей, сбивая с деревьев снег. В самой земле зародился гром — под ногами всколыхнулось, как в тот раз, у Шаман-дерева. Только сейчас Егор не усомнился, что это люди подняли гром. Они взорвали землю для своих надоб-



ностей, а получилось — отогнали шатуна. Теперь-то медведь отпрянул и бросился подальше в тайгу. А Егор отряхнулся от снега и дал волю своим ногам. Он помчался к просвету между деревьями, оставляя на ветках и сучках лоскуты одежды.

Выскочив на простор, Егор ослеп от солнечного света. Он заметил табличку с надписью: «Осторожно! Взрывные работы!» — но людской угрозой его теперь было трудно остановить. Он радостно замаяхал руками, увидев вертолет у подножия гольца. Лопасты на леталке обвисли, и Егор даже в эту минуту поразился, как такие хлипкие полоски поднимают пузатую рыбину в воздух. Да еще с людьми!

— Товарищи, обождите! — закричал Егор, увидев отступающих от берега людей. — Мне надо с вами!..

Люди увидели его и вдруг тоже замахали руками.

— Куда? — донесли голоса. — Назад! В тайгу! Прячься! Назад-ад!..

Но Егору и оглянуться на тайгу было страшно.

— Товарищи, мне с вами!.. — Он припустил так, что ошметки полетели от его ончурок.

Люди поняли, что с бегущим что-то стряслось, и замерли.

— Товарищи!!

Егор осекся — он увидел под козырьком мужской шапки черную девичью челку, глаза-стрижи, словно шиповник-ягоды щеки и знакомый блеск зубов, подобный сверканью речной излучины. Это была Марийка! А рядом с ней щурил синие глаза Рыжая Борода. Еще с ними был Никитка — он тащил взрывной провод из-под Шаман-скалы.

— Ты что, не понимаешь русского языка?! — закричал Никитка, тряхнув взрывной машинкой. — Хочешь, чтоб камнем пришибло!

Егор хотел крикнуть, но голоса не было, и глаза покрылись слезной мглой. Пришлось сделать вид, будто нож не возвращается в ножны.

— Да это же Егор! — воскликнула Марийка и кинулась к нему. — Ты куда пропал, Егор? Я же тебе кричала про вертолет, Егор! Мы за тобой прилетели с Иваном Петровичем! Никитка взрызать прилетел опасную скалу, а мы за тобой!

Егор бросился ей навстречу.

— Шатун! — объяснил он, поймав руку Марийки и развернув ее назад. — Опасно в тайге! Снайпера забил шатун! Я мимо выстрелил... Чомка убежал... Злой шатун... Петля на шее!..

— Петля?

— Шатун!..

— Вот это повезло Егору!

— А мы, выходит, зевнули на вертолете!

— На скалы смотреть надо было — задание!

Марийка пробовала заколоть булавкой края самой большой дыры на Егоровых штанах, но Егор прижал ее руку к своему колену.

— Все равно помог вертолет мне, — забормотал Егор, глядя руку Марийки. — Шел я за Георгием по следам... Не думал, что дядька шатуна пропустит с двумя собаками. Да ему бежать надо было — куль мой с белкой унес он с потая! Это чтоб я на поклон пришел после раздела... Я пошел, да не на поклон. Пулю ему стрелять в пузо пошел!

— Ну, ты уж чересчур это, Егор, — произнес Рыжая Борода. — Ты же неглупый парень...

— Неглупый, — согласился Егор, — да деваться некуда... Отделился, однако, силы мало остаться на воле... А дядька назад тянет!

— А мы сейчас привет Георгию передадим! — сказал Никитка мрачным голосом. В его глазах словно разлетались осколки слюдяной скалы, и он поудобнее взялся за свой черный ящик с сильно вытянутой ручкой. — Смотри на Шаман!..

Никитка нажал ручку — и под Шаман-скалой блеснуло, каменный великан качнулся и развалился. На месте Шаман-скалы выросла и тут же опала гора дыма, обломков и черной земли. Затем докатился гремучий гром и затарахтели камни поодаль.

Егор сжался, как заяц, от громкого окрика.

— Не бойся! — Рыжая Борода положил руку на лопатки Егора. — Мы за безопасной чертой..

— Еще б отойти не мешало к вертолету, — буркнул Никитка. — Технику безопасности уважать надо...

— Как такую силу не уважать? — отозвался Егор. — Большая сила — все от нее разбегаются, даже Шаман повалился!..

— И тебе сила эта все-таки помогла, — сощурился Рыжая Борода. — Так не стоит ли подружиться с ней?

— Подружиться? — сглотнул слюну Егор и с тоской оглянулся. — Как подружиться?

— Да просто на работу поступить, — объяснил Рыжая Борода. — На курсы взрывников, например, могу порекомендовать... Все равно: какой ты охотник без собак, оленей, палатки, припасов? А захочешь потом опять в тайгу — займешься старым делом. Но уже с другим багажом... Согласен?

— Тогда ваша сила, однако, отпустить не будет, — тихо ответил Егор. — Сильнее Георгия тянуть будет!

— Но мы же не боимся этой силы, — сказала Марийка, ловко связывая края дырки на штанине Егора. — Чуть чего — на помощь идем...

— Вместе-то с вами и я перезимую, однако, — сдался Егор. — А капкан замечу, вместе в тайгу уходить будем, ладно, Мария?

Рыжая Борода и Никитка во все глаза уставились на Марийку. Все сейчас зависело от ее ответа — кого же она из двух парней любит в конце концов? И Марийка ответила:

— Уйдем, Егор, вместе тогда...

У Никитки выпала из рук его взрывная машинка. Никитка зачертыхался, заломил на затылок шапку и принялся выбирать на катушку провод.

— Помочь? — сунулся к нему Рыжая Борода.

— Обойдусь, елки-сосенки, — буркнул Никитка и предложил: — Шагайте к вертолету... Пусть заводят мотор летуны, а я в один миг...

— Что ж, пошагаем, — подмигнул Рыжая Борода синим глазом.

Сельповец пошел к вертолету размашистым шагом, Егор хотел тут же догнать Рыжую Бороду, да ноги не двигались с места. Будто кто-то насыпал ему полные ончурки дрови.

«Да какая дробь может удержаться в такой разбитой обуви?» — усмехнулся про себя Егор и весь напрягся, чтобы сдвинуться с места. Ноги не шли, хоть коли их ножом.

— Помаленьку-полегоньку! — шепнула Марийка.

По телу Егора будто побежали горячие муравьи. Он вдохнул полную грудь легкого воздуха и сдвинулся с места. Поддерживаемый Марийкой, он постепенно стал нагонять Рыжую Бороду.

Так на правом берегу закончилась история охотничьего одиночества. На левом берегу Егора Ефимовича Романова ждала другая дорога.

Иркутск, 1972 год.

Юлия Друнина



Памяти Клары Давидюк

В июне 44-го принята последняя радиограмма Смирной — радистки Кима: «Согласно программе...» Это обозначало, что они не сдались живыми. Под именем «Кима» в немецком тылу работал советский разведчик Кузьма Гнедаш, под именем «Смирной» — комсомолка Клара Давидюк, москвичка с Новобасманной улицы.

Начало

Застенчивость. Тургеневские косы.
Влюбленность в книги, звезды, тишину.
Но отрочество поездом с откоса
Вдруг покатилося с грохотом в войну.
«Не уходи!» — напрасно просят дома...
Такая беззащитная на вид,
В толпе других девчонок у райкома
Тургеневская девушка стоит.
На нежных скулах отсветы пожара.
Одно желание — поскорее в бой.
Вошла к секретарю райкома Клара
И принесла шестнадцать лет с собой.
И секретарь глядит, скрывая жалость:
«Ребенок. И веснушки на носу...»
Москва. Райком. Там это начиналось,
А в белорусском кончилось лесу.

Конец

Предсказывая близкую победу,
Уже салюты над Москвой гремят.
А здесь идут каратели по следу,
Вот-вот в ловушку попадет отряд.
Такое было много раз и ране —
Не первый день в лесу товарищ Ким.
Но он сейчас шальнойю пулей ранен,
Ему не встать с ранением таким.
«Всем уходить!» — приказ исполнят Кима.
И только ты не выполнишь приказ,
И будешь в первый раз неумолима,
И будешь ты такой в последний раз.
Ким все поймет, но, зажимая рану,

Еще попросит: «Клара, уходи!»
Сжав зубы, девушка с пустым наганом,
Бледнея, припадет к его груди.
Потом, уже нездешними глазами
Взглянув в его нездешнее лицо,
Пошлет в эфир: «Мы следуем
программе» —
И у гранаты выдернет кольцо...

Голос Клары

Клару Давидюк и Кузьму Гнедаша похоронили вместе — в центре белорусского города Слоним.

Никогда и никто
Разлучить нас друг с другом
Не сможет.
Нас война повенчала
В солдатской могиле одной.
Кто за право быть вместе
Платил в этом мире дороже?
За него заплатили мы
Самой высокой ценой.
Каждый год по весне
К нам сбегаются маки, алея,
Полыхают пионы,
Тюльпаны сгорают дотла.
Ни о чем не жалею,
Нет, я ни о чем не жалею —
Я счастливой была,
Я счастливою, мама, была!

Эпилог

Уже смягчили боль десятилетия,
Лишь на Басманной так же плачет мать.
Шумят за окнами чужие дети,
Фронтвики приходят помолчать.

Еще доски мемориальной нету...
И все ж, пробившись через толщу лет,
Вдруг вспыхнуло звездой имя это
И в наших душах прочертило след.

Геворг Эмин



Перевел
с армянского
Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ



Пой мне, пожалуйста,
Пой,
Чтобы песня все время звучала,
И не имела конца,

И не имела начала.
 Пой,
 Чтобы песня твоя
 Бередила мне душу,
 Взамен ничего не прося у меня—
 Так же, как дождь,
 Что льется для всех,
 О железную крышу звеня.
 Пой мне, пожалуйста,
 Пой мне, но так,
 Чтоб слова говорить не хотели
 Ни о причине,
 Ни об удаче,
 Ни о потере.
 Пой мне, пожалуйста,
 Но не о том, что прошло,
 Не о том, что пришло,
 Не о том, что случится
 Со мной и с тобой..
 Отчего же ты смолкла!
 Пожалуйста, пой!

В лесу

Птица на дереве
 Меня обучает пенью.
 Пчела меня учит
 В безделье не погружаться.
 Земля терпеливо учит меня
 Терпению,
 А корень учит
 За землю свою держаться.
 Любой ручеек
 Меня учит быть добрым
 И кротким,
 Гора меня учит
 Не склонять головы,
 Коль беда подкрадется.
 Бабочка учит меня
 Каждым днем дорожить,
 Даже самым коротким.
 А дуб меня учит:
 Стоя умри,
 Когда умирать придется.
 Не стеною, не плача,
 Не хватая воздух рассветный
 Холодеющими руками,
 А спокойно и гордо,
 Как дерево
 Или камень.



Что мне думать о смерти,
 Если в доме
 Есть хлеб и вино
 И любить мне покуда
 И работать покуда дано!
 Хлеб тот праведный самый,
 Чье зерно умирает в земле,
 Чтобы снова воскреснуть
 Караваем на нашем столе.
 Та лоза винограда,
 Что под осень хоронят у нас
 И которая снова
 Воскресает в положенный час.
 Та любовь, что, как смертью,
 Иногда потрясает наш дом,
 Но зато уже смерти

Неподвластна бывает потом.
 Та строка, что со смертью
 Не смирится, извечно жива,
 Да и смертному мигу
 На бессмертье дарует права...

Пир

Что б ни случилось, так или иначе,
 Но мы сегодня будем веселиться.
 Эй, женщины, живей стелите скатерть,
 А мы сейчас раскупорим бутылки.
 Шашлычным синим пламенем клянусь,
 И белой этой скатертью, и хлебом —
 Все, кто не в духе, лучше уходите,
 И пусть ничто наш пир не омрачит!
 И начался армянский пир. И тосты
 Возвышенно звучат, и гам, и крики.
 Глядишь — и обнажилось дно бутылки.
 А что на дне бутылки! Ну, конечно,
 На дне бутылки песни остаются.
 А если так — мы чокнемся еще раз.
 И петь начнем. Кто не умеет петь —
 Пусть слушает. Итак, мы начинаем.
 Кровь бродит в наших венах,

как мажар

«О непребродившее вино!»),
 И требует веселья, и нога
 Ощупывает пол нетерпеливо,
 Уже заране чуя приближенье
 Безумного, безудержного танца,
 Стремительного танца — «Кочари».
 И грустные армянские глаза,
 Извечную печаль свою скрывая,
 Ждут радости, и молят, и взывают:
 Споем чего-нибудь повеселей!
 — «Шел снег весной...»

— Нет, эта не годится —

Она грустна, давай споем другую!
 — «Ах, время, ах, безжалостное время...»
 — Нет, что-нибудь давай повеселей!
 — «Не плачь, мне в пору плакать
 самому...»

Смолкает смех. Веселье иссякает,
 И радость улетает безвозвратно,
 Как ласточка. И снова «ахи», «охи»,
 И мысли безутешные, и вздохи,
 И речь идет о крови, о резне...
 И снова песня грустная звучит —
 О журавле, и снова «Тэхконда»
 (Не так она грустна, но и веселой
 Ее не назовешь), и «Дингалá»
 (А эта все не клеится никак),
 И «Арапат пред нами» (эта песня
 Грустна и вовсе, — словно головешка,
 В ней тлеет полугрусть и полурадость,
 Из глаз помалу выжимая слезы,
 До той поры, пока на полуслове
 Умолкнет вдруг). Тут чья-нибудь жена,
 Позевывая, в бок толкнет супруга
 И проворчит:

— Давно пора домой!

Тогда встает усталый тамада,
 Последний тост, как старина велит:
 «За сей очаг». Он сонно завершает
 Армянский грустный пир.

...А на дворе

Год восемнадцатый стучит в ворота
 Армении — прикладами винтовок
 Турецких янычар...



Масис, ты весел,
А меж тем
Печалюсь я бедой твоею.
Масис, ты молод,
А меж тем
Я от твоих забот старею.
Не оттого ль
Ты свеж и юн,
А я сединами отмечен,
Что я лишь гость на сей земле,
А ты на этом свете вечен!
Уж лучше бы на свете этом
Мне быть горой,
Тебе — поэтом!



Прости, нет, не я нарушаю обет
Забить тебя, сердце скрепя.
Нет, не я — это глупое сердце мое
Все не может уйти от тебя.
Это уши мои, не забывшие твой
Тихий голос меж сонных ветвей.
Это кровь моя, тоскующая искони
По любви по грешной твоей.
Это ноги мои, что приводят меня
Под окно твоё всякий раз.
И глаза мои так сиротливо темны
Без твоих лучащихся глаз.

Борис Олейник



Перевел
с украинского
Л. ВЬШЕСЛАВСКИЙ



Мне возле старого причала,
Где столько раз сновал прибор,
Так много море намолчало
В своей открытости слепой,
Что только слушаю терпеливо
И замечаю под рокот вод,
Как меж волнами торпливо
Подтекст то сгинет, то всплывет.
Идут, идут раскаты дрожи
Со взбаламученного дна,
«SOS» вырывается тревожный
И лютый посвист гарпуна.
И слышен ропот рабской Каффы
Доселе среди скал крутых,
И речь волшебных критских амфор,
И хохот кладов золотых.

Звериной злобою ощерясь,
Лежит среди морских зыбей
В зеленой каске желтый череп
С арийской челюстью своей.
Все это бьется в круговерти,
В кипеньи вспененных валов,
Но в бездне моря, в бездне смерти,
Среди угроз, мелодий, слов,
Все чутким сердцем замечая,
Я лишь одно себе беру:
Высокий взлет веселых чаек
И бескозырки черный круг.

Николаю Кибальчичу

Чудаковатый местечковый поп,
Сердась на сан, каким его чернили,
Хоть тем сумел пронять святой Чернигов,
Что наплодил детишек целый сноп.
Лениво плыл себе заштатный Короп
Чумацким шляхом — ярма на волах...
А род поповский рос, как на дрожжах,—
Попал в живую землю сербский корень!
...Всех удивляя смуглостью своей,
Рос, украинским солнцем опаляем.
По-здешнему он прозван Николаем,
И здешней сказкой вскормлен

с первых дней:

Из леса вышел хмурый Кармелюк.
В крутых бровях свила гнездо тревога,
Ему, веревкой скручивая ноги,
Искало барство понадежней сук.
Попался все-таки, злодей. В Сибирь!
Под землю! В землю! К черту!

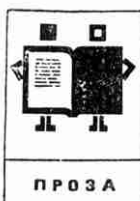
Под колоду! —

Но, на стене нарисовавши лодку,
Он выплыл вновь в полях подольских
ширь...

Да, были сказки. Мир был весь открыт,
Был небосклон высоким и счастливым!
Мальчишских глаз сверкали черносливы
На крутизне непознанных орбит.
О небо, небо! В солнечные дали
Его, Икара, эта синь несла,
Но на земле тревожные дела
На бомбу крылья переделать звали.
Звездой казалась бомба та не зря,
И для охраны это было ново.
Узрела бомба батюшку-царя
И... лопнула от счастья от такого.

— Попался все ж! Боря! Бандит! На сук!!
Катились Петербургом «охи-ахи».
И вот уже готовит спешно плаху
Неотвратимый и неправый суд.
Солдаты стыли в сумрачном каре.
Клонилась к смерти стрелка часовая,
И барышни от страха из карет
Выпархивали, зонтики вздымая.
А он был рад: старанием царя
От дел людских отторгнутый в темнице.
Он вновь, как в детстве, в высь вперил
зеницы,

И в камеру его вошла заря.
И смерти ближе там была она
И отдаленней идеальной формы...
Как чистый лист бумаги, криком формул
Его манила в камеру стена.
На влажный камень линия легла,
А вот и новых линий сочетанье...
Вот — первый взмах могучего крыла,
И Космоса почудилось дыханье!



АРКАДИЙ
АДАМОВ

ПОВЕСТЬ

КВАДРАТ СЛОЖНОСТИ

Глава I

ТЕМНОТА, В КОТОРОЙ, ОДНАКО, КОЕ-ЧТО ПРОСТУПАЕТ

Сегодня я услышал одну очень странную фразу, настолько странную и непонятную, что вот уже час хожу по своей комнате в нашем отделе, обдумывая ее, и, наконец, решаю пока ничего не докладывать Кузьмичу. Эта фраза звучит как пароль: «В Третьяковке, в зале Куинджи». И какой-то неразборчивый отзыв. Если эта фраза — пароль, конечно.

Мы сейчас заняты весьма необычным, я бы даже сказал, таинственным происшествием. Дело в том, что неожиданно исчез, а точнее, скрылся один человек. Он не совершил ничего противозаконного, ничего не украл, наоборот, украли у него. И вот, обнаружив у себя в номере гостиницы кражу, этот человек поспешил скрыться.

Преступника, кстати, мы задержали. Им оказался весьма ловкий гостиничный вор, совершивший целый ряд краж из гостиниц Москвы, Ленинграда и Харькова. Мы таких называем «гастролерами». Задержать его в Москве помогла нам работница трикотажной фабрики Варвара Глотова, с которой этот тип по фамилии Мушанский познакомился и решил было за ней ухаживать. А когда я к Варваре пришел в первый раз, я застал у нее Толика, и тот даже вздумал меня приревновать. Нехорошая тогда история получилась, некрасивая, за нее мне здорово потом попало от Кузьмича, ибо Толик полез в драку — а он хоть и здоров, как бык, но совсем не отесан, — и мне пришлось довольно сильно его отделать: ведь он с ножом на меня бросился. Да, неприятная произошла история, и мне до сих пор стыдно об этом вспоминать.

Короче говоря, Варвара помогла нам задержать этого Мушанского. Он признался во всех кражах, в том числе и в последней, из «люкса». По его словам, он там всего две кофточки украл. Но почему скрылся жилец оттуда, Мушанский, конечно, нам сказать не мог.

Тот человек приехал в Москву из Пензы, но до сих пор домой не вернулся, хотя со дня его исчезновения прошло недели две. Судя по всему, это весьма подозрительная личность.

Если быть точным, на такой вывод нас наталкивают: его поспешный отъезд из гостиницы, как только он обнаружил кражу у себя в номере; явная ложь с билетом на самолет, ибо, во-первых, ни один самолет в этот день не увез на своем борту Ивана

Рисунки
А. ЛУРЬЕ.

Харитоновича Николова, во вторых, если Николов улетел по подложному паспорту или вообще не улетел, а уехал, допустим, поездом, то это тоже не менее подозрительно; наконец, найденная в его номере непонятная записка с цифрами.

Оснований заинтересоваться этой личностью у нас достаточно. И Кузьмич поручил это мне.

Кто же такой на самом деле этот Иван Харитонович Николов, или, как выражается один мой приятель, «в какой области лежат его жизненные интересы»?

В этом смысле Пенза ничего интересного нам не сообщила и ограничилась формальной справкой. Это означает, что гражданин Николов или очень хитро маскирует свою темную деятельность, подлинную «область своих интересов», или она лежит вне Пензы, или, наконец, ее вообще нет и все это чепуха и случайные совпадения. Но последнее кажется мне маловероятным.

Итак, Пенза нам пока ничего не дала.

Но кое-какие сведения о таинственном гражданине Николове можно почерпнуть и в гостинице, где он жил. Хотя прошло уже две недели, как он отсюда исчез, но кое-кто его помнит. В частности, некий Виктор Сбокий, жилец соседнего номера. Это тре-

нер одной известной футбольной команды класса «Б». У команды какие-то неприятности, и он утрясает дела в комитете физкультуры.

Вот он-то мне и подкинул нечто интересное о бывшем жильце соседнего номера.

— Знаешь, — рассказал он, — с ума сойти, какая к нему однажды девочка пришла. Я ее еще на улице засек. Она впереди шла. Ножки, фигурка, волосы на плечах — класс! Потом смотрю, она в мою гостиницу входит, поднимается на третий этаж. Ну, меня это заинтересовало, конечно. Незаметно слеую за ней, как сыщик. — Виктор весело подмигнул. — Подходит, понимаешь, к соседнему номеру, стучит — ты только послушай! — и, когда тот ей открывает, говорит чудную такую фразу: «Здравствуйте. Я сегодня была в Третьяковке, в зале Куинджи». И смеется. Представляешь? Тот сердито ответил ей что-то и пригласил к себе.

Так я впервые услышал эту странную фразу. И сначала особенного значения ей не придал. А заинтересовался в первую очередь девушкой.

Моему собеседнику это показалось вполне естественным, и он снова подмигнул.

— Хороша! — мечтательно продолжал он. — Вот все, что я тебе могу сказать. Дорогая девочка. Кучу



денег, наверное, требует. И я бы, например, не жался.

Виктор — красивый парень, высокий, загорелый, одет дорого и небрежно. Идеальный герой романа, такой только присниться может. Развалясь в кресле, он лениво курит длинные сигареты. Прядь курчавых волос падает на лоб, и Виктор гордым движением головы откидывает ее.

— Ты интересуешься, насколько я понимаю, этим господином, — он сделал широкий жест в сторону соседнего «люкса», — а я — той девочкой, которая...

Я уже догадался, к чему он клонит, и покачал головой.

— Нет. Я интересуюсь кражей, которая там произошла, и попыткой убить горничную. Ты об этом деле знаешь, тут был немалый шум в связи с этим.

— Э, не темни. — Он лукаво погрозил пальцем. — Тебе нужен тот господин.

— Конечно, — согласился я, — и все, кто к нему приходил, тоже. Именно в связи с кражей.

— Что ж, вы не знаете, где он живет, в каком городе? — с интересом спросил Виктор. — Ведь он паспорт сдавал, анкету заполнил.

— Это все известно. В Пензе он живет. Но до сих пор туда не приехал. А нам надо как можно быстрее все выяснить. Ты не знаешь, куда он собирался из Москвы ехать?

Виктор задумался, и на минуту взгляд его стал отсутствующим. Потом он пожал плечами.

— Кто его знает! Я слышал, он в разные города звонил.

— А куда, не помнишь?

— Ну, в Ростов звонил, в Одессу. Еще один город назвал, я даже и не слышал никогда о таком. Хотя мы на выездах во многих городах играли.

У меня начал созревать один план. Но беседу нашу кончать еще рано.

— А здесь у него кто бывал, не помнишь? Ну, кроме той девочки, конечно.

— Как-то раз я застал у него одного типа. Тот ухаживал. Толстый такой, пиджак еле сходится, и брючки короткие, болтаются. Расстроен он чем-то был.

— Как зовут, не помнишь?

— Как-то Иван Харитонович его назвал. Постоялка... Григорий... а дальше... Семенович или Сергеевич... Не помню точно. Они уже прощались. Этот толстяк все канючил: «Только не погуби...» Противно слушать было. А еще один разыскивал Ивана Харитоновича как-то днем...

Виктор уже настроился на воспоминания.

— ...И чего его так все боялся, интересно знать? — продолжал Виктор, закуривая новую сигарету. — Этот второй, худенький такой, с портфелем, увидел, что я из соседнего номера выхожу, подходит и так, знаешь, вежливо, робко спрашивает: «Не скажете, сосед ваш, Иван Харитонович, дома?» Я говорю: «А вы постучите. Может, и дома». «Пробовал. Не отвечает. Думаю, вдруг да отдыхает? Тогда и беспокоить неудобно... Придется позже зайти». Я ему говорю: «Он обычно вечерами дома». «А как бы его днем застать, не подскажете? Вечером я никак не могу ни прийти, ни позвонить». «А днем, — говорю, — его не бывает».

Меня этот разговор насторожил. Человек в коридоре вел себя странно. Почему даже позвонить не может вечером? И зачем он у соседа спрашивал, а не у дежурной по этажу? Она-то точно знала, дома Николов или нет.

Уже шесть часов вечера. Значит, просидел я у этого ловкача Виктора часа два, не меньше. Однако не зря.

Теперь следует побеседовать с дежурной по этажу — Екатериной Осиповной. Но предварительно я захожу в кабинет заместителя директора гостиницы и прошу разрешения воспользоваться его телефоном. Он знал, откуда я, и, сделав широкий приглашающий жест, деликатно вышел.

Я звоню Вале Денисову, он мой помощник в этом новом деле.

Собственно говоря, дело это довольно необычное, если посмотреть со стороны. Мы ищем человека, не совершившего никакого преступления — во всяком случае, по нашим сведениям, — ищем формально, лишь для того, чтобы вручить ему две похищенные у него кофточки и узнать, не было ли украдено что-то еще. Но за этой историей стоит нечто куда более важное, если нам не изменяет оперативное чутье.

Я даю Вале задание и договариваюсь о встрече через два часа. Затем я снова поднимаюсь на третий этаж и отыскиваю дежурную по этажу.

На мой вопрос отвечает она спокойно и обстоятельно:

— Всякие к нему ходили. Разве упомнишь? Вот однажды пришел человек — на этого я обратила внимание, — солидный такой, румяный, пальто, знаете, расстегнуто, пиджак тоже, жарко ему было, что ли. Потом что там у них случилось, не знаю, только вышел он оттуда, ну, прямо скажу, на себя не похожий. Белый как мел и ноги еле передвигает, а рукой все, знаете, сердце под пальто трет. До моего стола добрался, в кресло плюхнулся и говорит: «У вас капель сердечных не найдется?» Уж как до дома дошел, не знаю даже. Дня два он у меня из головы не выходил.

А я говорю себе, что этот случай, пожалуй, куда больше заставляет задуматься, кто же такой Николов, чем глупая фраза о Третьяковке. Что-то серьезное кроется за этим случаем, что-то такое, что еще раз убеждает в важности и необходимости нашего поиска.

«А еще один разыскивал его как-то днем...» — вспомнил я рассказ Виктора.

Но тут у меня внезапно мелькает новая мысль. Торопливо простившись, я чуть не бегом возвращаюсь в номер к Виктору. Он, конечно, удивляется моему внезапному появлению и даже слегка встревожен.

— Ты можешь узнать того человека, — с места в карьер спрашиваю я, — которого днем в коридоре встретил? Ну, который еще Николова тревожить не хотел?

— Пожалуй, смогу, — неуверенно отвечает Виктор. И я уславливаюсь с Виктором, что он завтра придет к нам в отдел.

Я бегу в управление, где меня ждет Валя Денисов.

Валя, конечно, на месте. Он, как всегда, аккуратен, изящен и серьезен. Я знаю, втайне Валя недоволен своей чуть женственной, хрупкой внешностью. Видимо, поэтому он неистово занимается самбо и плаванием, у него даже первые разряды в этих видах. Однако внешний облик его от этого нисколько не изменился, и, конечно, никто не поверит, что Валя иногда одерживает победу даже над Петей Шухминным, чемпионом московского «Динамо» по самбо.

Увидев меня, Валя сдержанно сообщает:

— Тебе звонила Светлана...

Петя Шухмин при этом обязательно бы подмигнул и отпустил какую-нибудь шуточку. Валя же серьезен и деликатен, он себе ничего лишнего в таком случае никогда не позволит.

Я невольно смотрю на часы. Всего лишь восемь.

— Ну, что у тебя? — спрашиваю я Валя. — Какая добыча?

— Вот, смотри.

Он протягивает мне бумагу, которую так внимательно изучал перед моим приходом.

Валя — жуткий педант и аккуратист. И это иногда приносит немалую пользу, хотя многих раздражает и смешит, например, Петю Шухмина. Последнее, впрочем, не удивительно. Петя даже галстук не может завязать аккуратно в тех редких и торжественных случаях, когда он вообще вытаскивает его из кармана.

На этот раз Валя составил целую таблицу.

— Вот, смотри. Здесь города, с которыми этот тип разговаривал, это продолжительность разговора в минутах, это номера телефонов, которые он там вызывал, дальше — дни и часы, когда происходил разговор. А вот это пустая пока графа, сюда я тебе завтра впишу фамилии лиц, с которыми он говорил во всех городах.

Ну, какой молодец Валя! Иметь такого помощника — одно удовольствие. И если мне нельзя в этом деле работать с Игорем, то лучше Вали никого не найти. У него по сравнению с Игорем есть только один недостаток: ему не хватает инициативы, фантазии, не хватает идей и еще умения заставить фантазировать других. Валя — исполнитель, идеальный исполнитель. Получив конкретное задание, он проявит дьявольскую находчивость и дотошность, чтобы его выполнить, но дать задание другому, продумать или, скорее, придумать всю операцию целиком, предложить какой-то новый путь в розыске он, пожалуй, не сможет.

Мы начинаем изучать с ним таблицу междугородных телефонных разговоров Николова. За одиннадцать дней, прожитых в гостинице, Николов разговаривал с пятью городами. Тут и названные мне Виктором Одесса и Ростов, а также Ленинград, Саратов и неведомый Виктору да и мне тоже городок Пунеж. Указав на него, Валя говорит:

— Районный центр.

И называет одну из северных наших областей.

Со всеми городами, кроме Одессы, разговор продолжался три минуты, с Одессой — семь. А вот с Пунежем — всего полторы минуты. Рядом с этой цифрой в таблице стоит буква «с».

— Срочный, — коротко поясняет Валя.

Это уже интересно. Вероятно, разговор с Пунежем, даже самый краткий, был очень нужен Николову.

Кстати, интересно и распределение разговоров по дням. На шестой день по приезде в Москву Николов говорил с Саратовом, на восьмой день — с Ленинградом и Одессой, на девятый — с Ростовом и накануне отъезда — с Пунежем. Однако уехал он, судя по всему, внезапно и поспешно, и причиной тому, видимо, послужила кража из его номера. Кража двух кофточек? Странно... А может быть, не только двух кофточек? И Мушанский что-то скрыл от нас? Завтра мы покажем его Виктору.

А пока что надо сделать еще одно дело, надо срочно запросить все пять городов, не остановился ли в какой-либо из их гостиниц гражданин Николов Иван Харитонович и нет ли его у тех лиц, с которыми он вел переговоры из Москвы. Жаль, что Валя этого сразу не сделал, но и я, давая ему задание, тоже не подумал о таких важных вещах.

Валя внимательно выслушал новое задание, и я ни на минуту не сомневаюсь, что оно будет выполнено точно, аккуратно и быстро.

Валя отправляется на переговорный пункт, а я начинаю звонить Светке. Это, между прочим, совсем не простое дело.



Вскоре мне все-таки повезло.

— Витик! — радостно восклицает Светка. — Ну, наконец-то! Я совсем заждаюсь. Ты очень устал?

Нет, я, конечно, не устал. Я мгновенно надеваю пальто, хватаю шапку и собираюсь уже погасить в комнате свет, как вдруг замечаю небрежно брошенную бумагу на своем столе. Это Валина таблица.

Ничего не поделаешь, придется задержаться. Я достаю из сейфа тонкую папку с делом Николова и так порывисто раскрываю ее, что оттуда вылетает маленький листок бумаги и, кружась, падает на пол. Я сразу узнаю непонятные расчеты Николова, хотя листок упал цифрами вниз. Я наклоняюсь за ним и внезапно вижу на чистой его стороне какие-то непонятные, путанные линии.

Это меня так заинтересовывает, что я в пальто и шапке сажусь к письменному столу и зажигаю лампу. Но как только я придвигаю ее ближе, линии на листке исчезают. И тогда я догадываюсь, что это от- тиск какой-то записи на предыдущем листке, ведь тот, который я держу в руке, вырван из записной книжки, у него неровно лохматится только один край.

Я отодвигаю настольную лампу как можно дальше, гашу яркую лампу под потолком, и теперь в косых лучах света довольно отчетливо проступают буквы!

Случай, дикий случай навел меня на неожиданное открытие. Когда бы мы еще заметили это!

И вот я с трудом, правда, но все же разобрал от- тиск слов, кем-то и когда-то написанных. Я даже за- нес на чистый лист бумаги отдельные, угаданные мною слова. Их немного, их всего четыре. Но смысл, их жутковатый смысл постепенно доходит до меня.

Я торопливо смотрю на часы. Поздно! Поздно мчаться в научно-технический отдел управления, где специалисты прочтут всю записку, от начала до кон- ца. Кузьмич тоже уехал. Значит, дело откладывается до завтра.

Да, в цепи розыска появился ток, теперь она под напряжением, теперь розыск, как мне кажется, приобретает не только смысл, но и прямую, неот- ложную необходимость.

Я со всей бережностью кладу бумаги в папку и запираю ее в сейф. При этом я замечаю, как от волнения у меня чуть-чуть дрожат руки.

А перед глазами все еще стоят выписанные мною слова: «...сволочью... кончат... соберутся все».

Должно совершиться что-то опасное, оно кем-то готовится.

Глава II

ВСЕ, КТО НАМ НУЖЕН, ИСЧЕЗЛИ

Дверь мне открывает Светкина мама, Анна Ми- хайловна. Они живут вдвоем, отец умер дав- но, когда Светка была еще совсем маленькая. Потом, правда, был отчим, но недолго. В общем, не сложилась личная жизнь у Анны Михайловны, и это несправедливо, потому что она чудесная женщина. Светкина мама — редактор в большом издательстве. Она очень опытный, знающий редактор. Многие известные писатели просят, чтобы именно она редак- тировала их книги. Но, главное, ее все любят, ее просто нельзя не любить, столько в ней доброты и жизнерадостности, хотя она далеко не здоровый че- ловек. Папа ей не раз предлагал лечь к ним в клинику, но Анна Михайловна только отмахивается и смеет- ся. Я ни разу не слышал, чтобы она на что-нибудь жаловалась и у кого-нибудь лечилась.

— Ну, вот и Виталий! — восклицает Анна Ми- хайловна, открывая дверь. — Иди скорей мой руки, мы ждем тебя с ужином.

Тут я уже чувствую мамины интонации. Они, кста- ти, удивительно быстро сдружились и, по-моему, кое-что переняли друг от друга.

Светка, конечно, болтает по телефону. Услышав, что я пришел, она кричит в трубку:

— Зоенька, я тебя целую! Пришел Витик! Я завт- ра тебе еще позвоню.

Ну, конечно, разве за один раз можно нагово- риться.

Светка бросает трубку и выбегает ко мне.

Анна Михайловна тактично удаляется на кухню и оттуда кричит:

— Света, отпусти Виталия, он голодный! Хватит, хватит, еще успеете нацеловаться! Век как будто не виделись!

За ужином Светка смотрит на меня загадочно и тревожно и вдруг объявляет:

— Ты знаешь, Алла собирается уходить от Игоря. Я усмехаюсь.

— Она уже сто раз собиралась. Так он ее и отпу- стит, как же.

— Нет, нет, — качает головой Светка. — На этот раз все абсолютно серьезно. — И, сделав паузу, много- значительно добавляет: — Вчера от него пахло чужи- ми духами, представляешь? И вокруг губ была подо- зрительная краснота.

— Что-о?.. — изумляюсь я. — Какие еще духи?

— Челуха! — безапелляционно говорит Анна Ми- хайловна. — Алле уже черт те что кажется.

— Вот именно, — поддерживаю я. — И красноту какую-то еще выдумала.

Меня разбирает смех.

Светка машинально откидывает со лба свою упря- мую прядку и горячо возражает:

— Ну, что ты, мама, не понимаешь? Он явно с кем-то целовался. Ох, я до него доберусь!

— И не думай, — грозно предупреждаю я. — А то он и с тобой будет целоваться. Он со всеми целу- ется. При такой сумасшедшей жене фонарные столбы будешь целовать, не только женщин.

— Ты слышишь, мама, что он говорит?

— А! Правильно говорит, — машет рукой Анна Ми- хайловна. — И ты, смотри, не будь такой дурой. А то мы с Виталием от тебя оба сбежим.

Тем временем ужин закончен, я достаю сигарету, не торопясь, закуриваю и предлагаю:

— Давайте займемся делом.

Это означает, что мы, в который раз уже, будем обсуждать, кого позвать на нашу свадьбу, где ее устраивать, чем будем угощать, тут еще масса нерешенных вопросов.

— Нет, нет! — смеясь, кричит Светка. — Без вто- рой мамы ничего обсуждать не буду. Вы легкомыс- ленные, вы халтурщики!

Анна Михайловна обижается. Она вообще легко обижается и так же легко через минуту забывает об этом.

Я засиживаюсь допоздна. Мне так не хочется ухо- дить! И Светке не хочется, чтобы я уходил, это точно.

Утром я появляюсь на работе в самом приподня- том настроении, хотя изо всех сил стараюсь этого не показывать.

Игорь уже сидит за своим столом, уткнувшись в какую-то бумагу. Вид у него угрюмый. Он еле здо- ровается со мной, словно и я чем-то причастен к его неприятностям.

В комнату заходит Валя Денисов. Он, как всегда, невозмутимо и учтиво здоровается, потом протяги- вает мне уже знакомую таблицу. Я замечаю, что пустая вчера вечером графа сейчас почти вся запол- нена. Но я не успеваю ее просмотреть, у меня на столе звонит телефон.

— Товарища Лосева можно? — просит незнакомый женский голос.

— Слушаю вас.

— Это Екатерина Осиповна говорит — дежурная по этажу, из гостиницы... Вы у нас вчера были... в гостинице...

— Да, да! Слушаю вас, Екатерина Осиповна. Здравствуйте.

— Тут письмо пришло... Ну, этому... который уехал... Вообще-то мы переслать обязаны... но я все-таки вам раньше... вы же интересовались... — сбивчиво говорит она.

— Правильно, — отвечаю. — Мы получим разрешение прокурора и возьмем это письмо. Вы его не отсылайте.

И выразительно смотрю на Валию.

Итак, рабочий день начался, обычный наш рабочий день.

Валия едет за разрешением прокурора и за письмом. Кроме того, он везет особый пакет в наш научно-технический отдел. Там прочтут оттиск записки, полный ее текст. А я звоню нашему следователю Саше Грачеву, ведущему дело Мушанского.

Через час или полтора Валия возвращается, и одновременно у нас появляется футбольный тренер Виктор Скокий, элегантный, подтянутый и слегка возбужденный.

К этому времени я успеваю посмотреть новые записки в таблице Вали Денисова. Там указаны фамилии, адреса и даже места работы собеседников Николова из четырех городов, не хватает только абонента из неизвестного мне города Пунежа. Четверо же установленных людей весьма интересны.

Я звоню Саше Грачеву, после чего инструктирую Виктора. Ознакомление Мушанского проводится нами официально, по всей форме.

И вот в одной из комнат вдоль стены выстраиваются четыре человека, среди них и Мушанский. Все четверо приблизительно одного возраста, роста, сложения, все, как и Мушанский, без бороды и усов, без очков, темноволосые.

Тут же присутствуют и двое понятых — случайные посетители отдела, у которых нашлось время ненадолго задержаться.

Мушанский, как мне кажется, обеспокоен предстоящей процедурой, хотя внешне это не особенно бросается в глаза, он насторожен и едва заметно хмурится.

Когда все наконец готово, мы просим зайти Виктора, и Саша Грачев спрашивает его:

— Узнаете вы среди этих четырех лиц человека, с которым столкнулись в коридоре гостиницы?

Виктор пристально вглядывается в стоящих у стены людей. Я сгораю от нетерпения, стараясь ничем, конечно, этого не показать. А Виктор явно тянет время, играя на моих нервах. Хоть бы уж скорее сказал, что не узнает, и делу конец.

Минута длится напряженной тишиной. И наконец Виктор, насладившись всеобщим вниманием к своей особе, усмехается:

— Узнаю вот этого гражданина. — И указывает на Мушанского.

Тот равнодушно пожимает плечами.

— Могли бы и побыстрее, — говорит он. — Я, например, вас сразу узнал.

Вскоре процедура опознавания заканчивается, и я предлагаю Саше Грачеву допросить Мушанского по этому эпизоду. Однако Мушанский неожиданно заявляет:

— Возражаю. Устал и время обедать.

Но я прекрасно понимаю, почему он возражает. Дело тут не в усталости и не в обеде. Просто ему надо обдумать возникшую ситуацию, которая имеет для него, очевидно, какое-то значение.

Ну, что ж, пусть обдумывает.

Мы с Валией возвращаемся к себе. Прежде чем вскрыть конверт, привезенный из гостиницы, и прочесть письмо, я спрашиваю Валию:

— Узнал что-нибудь новое?

— В гостиницу опять приходил тот человек, которому Екатерина Осиповна давала сердечные капли. Помнишь?

— Конечно. И что же?

— Екатерина Осиповна сообщила ему о письме. Он предложил свои услуги, чтобы переправить его Николову. Екатерина Осиповна ответила, что они сами его отправят. И тогда он предложил за письмо... сто рублей. Представляешь? — На какой-то миг Валия даже покидает его обычная невозмутимость.

Я достаю конверт. Обратного адреса на нем нет. Почтовый штемпель пункта отправления неразборчив. Приходится прибегнуть к лупе. И мы с трудом разбираем название города. Это уже что-то новое.

— М-да...

Я качаю головой и с обычными предосторожностями вскрываю конверт.

Письмо оказывается коротким и непонятным:

«Привет! Хорошо, что ты мне сообщил, где оставился и как. Письмо мое должно тебя застать! Ты очень нужен. Тетя опасно заболела. Не знаю, что делать. Дядя Петя».

— Знаем мы этих тетей! — желчно замечает Валия.

— В том-то и дело, что мы их не знаем, — возражаю я. — И вообще их, как правило, не существует.

— Вот именно, — подтверждает Валия. — Запросим и этот город.

— Придется.

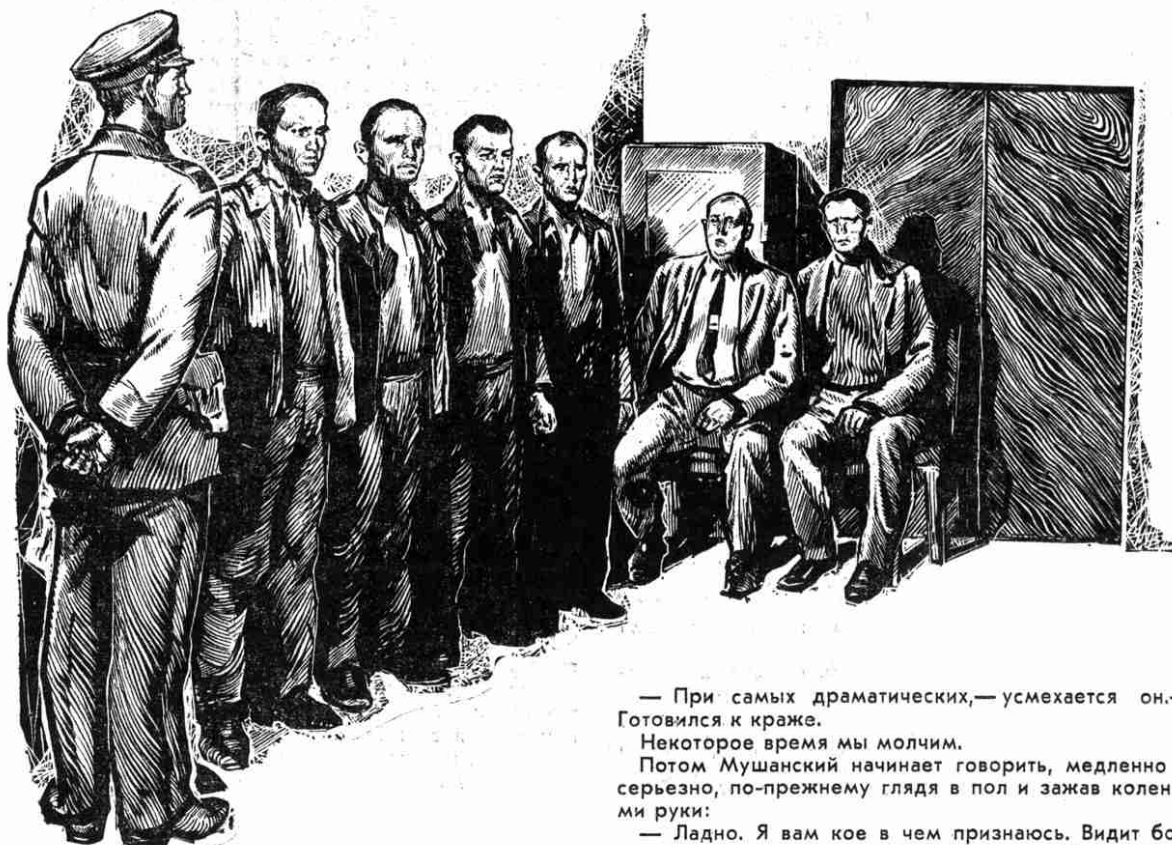
Я с сомнением качаю головой. Этот город не вызывает у меня почему-то доверия.

И вообще меня все больше начинают раздражать эти поиски. Казалось бы, на черта в конце концов нам сдался этот Николов? Ведь ничего он пока не совершил, никакого преступления. А дел и без него хватает и у Вали и у меня. Но в то же время я чувствую, что уже не успокоюсь, пока не найду этого подозрительного человека. Что-то прячется за каждым фактом, который мне известен о нем, что-то странное и непонятное. А факты вроде бы сами идут мне в руки. Но ни один пока не помогает, не дает ниточки, которая бы привела к этому человеку. Он очень подвижен, очень активен. Чтобы его отыскать, потребуется уйма сил и времени. Этим надо специально заниматься. Может быть, так и доложить Кузьмичу?

Но сначала надо довести до конца то, что уже начато. Через час мы допросим Мушанского. Это, кроме всего прочего, даже интересно: что он там решил обдумать, черт возьми? А пока попробуем все-таки разобраться с этими городами.

Валия предполагает, что Николов скорее всего уехал в тот, шестой, город, к дяде Пете, который без него не знает, что делать. Но мне это кажется сомнительным. Ведь письмо Николова не застало. И отправлено оно всего три дня назад, следовательно, только тогда и возникла необходимость в его приезде, и «тетя заболела» только тогда.

Я внимательно перечитываю последнюю графу в Валиной таблице. С кем же разговаривал Николов? В Одессе — с некой Галиной Остаповной Кочергой, продавщицей комиссионного магазина. В Ростове — с Леонидом Васильевичем Палатовым, начальником отдела капитального строительства завода, в Ленинграде — с Орестом Антоновичем Сокольским, заместителем директора одного из промторгов, в Саратове — с Олегом Ивановичем Клячко, врачом городской поликлиники. А вот в маленьком, неведомом Пунеже срочный и короткий разговор произошел неизвестно с кем, на междугородной станции это оказалось почему-то не отмеченным. Как это получилось, телефонистки не могли Вале объяснить. «Случается», — сказали они. Может быть, так оно и



есть, ведь тысячи разговоров проходят через них, всякое возможно.

Мы с Валея снова и снова просматриваем список лиц, с которыми говорил Николов. Одно имя все время задерживает мое внимание. Где я его встречал? Когда, при каких обстоятельствах? Не могу вспомнить. Это меня все больше раздражает, как невидимая иголочка маминого кактуса, однажды вцепившаяся мне в палец и напоминавшая о себе, лишь когда я прикасался к чему-нибудь этим пальцем.

На столе звонит телефон. Это Саша Грачев.

— Заходи, — отрывисто говорит он.

Мушанский, сгорбившись, сидит около стола Саши Грачева, зажав ладони между колен, и сосредоточенно смотрит в пол. Густые черные брови сошлись на переносице, на небритых скулах перекатываются желваки.

Грачев что-то пишет.

При моем появлении оба поднимают головы.

— Ведите допрос, — официальным тоном говорит мне Саша, поднимаясь из-за стола.

Я сажусь на его место и быстро заполняю первые графы бланка допроса. «По поручению старшего следователя... пишу я, — допрос проводит инспектор уголовного розыска лейтенант милиции В. П. Лосев».

Потом я обращаюсь к Мушанскому:

— При каких обстоятельствах вы встретились с гражданином Сбойки?

— При самых драматических, — усмехается он. — Готовился к краже.

Некоторое время мы молчим.

Потом Мушанский начинает говорить, медленно и серьезно, по-прежнему глядя в пол и зажав коленями руки:

— Ладно. Я вам кое в чем признаюсь. Видит бог, я не хотел подводить этого человека. Но вы, — он бросает на меня быстрый и насмешливый взгляд, — вы отыскивали уже тропинку к нему и, конечно, с нее не сойдете. Так ведь?

Я пожимаю плечами.

— Очень многозначительное вступление, — говорю. — И я не совсем понимаю, какого человека вы имеете в виду.

— Это вы вообще не понимаете. Иначе... — он усмехается, — вы, пожалуй, не начали бы этого разговора. А вот тропинку вы нащупали. И я догадываюсь, какой вопрос вы мне сейчас зададите. Я же прекрасно помню ту встречу в гостинице и до последнего слова помню свой разговор с молодым человеком. Вы спросите, — он снова, уже пристально, смотрит мне в глаза, — откуда мне известно имя того человека, который жил в «люксе». Так ведь?

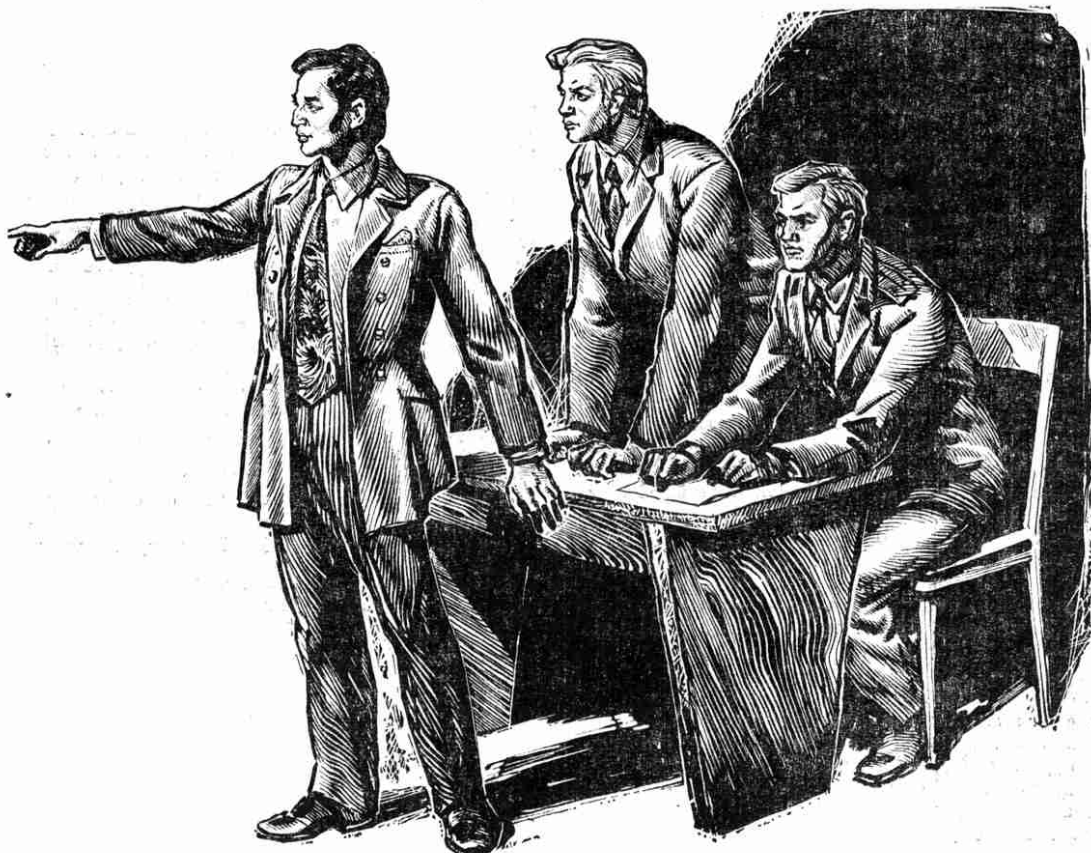
— Да, так, — киваю я.

— Ну вот, видите? — Мушанский самодовольно улыбается. — Не такой уж я, извините, дурак. Да, имя его мне было известно. И не только имя, кстати. Я рассчитывал в том «люксе» найти кое-что подороже, чем две дрянные кофточки. Уверю вас.

Я молча слушаю. Я сам еще до конца не верю в успех, в такой ошеломляющий успех!

— И нашел бы, — продолжает Мушанский. — Если бы не та горничная, которая вошла в номер. Я не хотел ее трогать. Я даже сам не понимаю, что со мной вдруг случилось. Вы можете мне не верить. Это — ваше дело. Но все было именно так. Какая-то мутная волна захлестнула меня, что-то оборвалось внутри...

Я не прерываю его, пусть выговорится. Я не хочу разрушать это его состояние, его решимость все рассказать.



— Так вот,— продолжает он.— Скажу вам то, чего еще никому не говорил.— И бросает иронический взгляд на сидящего в стороне Сашу Грачева.— В этом деле у меня был помощник, весьма ценный, кстати.— И вдруг, прерывая себя, спрашивает: — Почему вы не записываете?

— Запишу,— отвечаю я.

— Да уж придется,— каким-то странным тоном подтверждает Мушанский.— Хотя вам этого записывать и не захочется. Потому что помощником моим была... Варя Глотова.

Он теперь не спускает с меня глаз.

Но я держу себя в руках и внешне совершенно невозмутим.

— Глотова сообщила мне,— спокойно говорит Мушанский,— где остановился этот Иван Харитонович, сказала, что он набит деньгами, и посоветовала его... навестить.

— Что вы еще знаете об этом Иване Харитоновиче?

Мушанский издевательским тоном отвечает:

— Пардон. Я не собираюсь вам помогать. Ищите, ловите. Вам за это платят. Или, может быть, вы мне тоже заплатите? Тогда извольте. Тогда я готов. Сколько дадите? Из личной симпатии к вам сделаю скидку.

Да, он может себе позволить так разговаривать. Я же позволить себе этого не могу. Я не могу и не должен отвечать ему тем же!

Я навсегда запомнил случай, который произошел чуть ли не в первый месяц моей работы. Мы задержали бандита, который с ножом напал на женщину где-то в темном подъезде. И когда, еще разгорячен-

ные, мы приступили к допросу этого грязного животного, тот харкнул мне в лицо. И я потерял самообладание. Ослепленный, полный отвращения и ненависти, я развернулся и ударил его. А потом кинулся к умывальнику. У меня дрожали руки и тошнота подступала к горлу. Утром меня вызвал Кузьмич и сказал примерно так: «Ты, парень, нам не годишься. Нервный. А главное, ни себя, ни нас не уважаешь. С кем ты вровень стал? До кого опустился? Да он теперь этот синяк, как орден, носить будет, он всем его будет показывать: «Вот вам милиция!» Форменный позор! Я уж не говорю, что он теперь рта не раскроет. А нам надо через него на всю их шайку выйти. Словом, спасибо тебе. Иди в отдел кадров. Не подходишь ты нам». Вот так примерно сказал мне тогда Кузьмич. И добавил: «Поднять руку на человека, который в твоей власти, может только трус, подлец или дурак. Запомни это и ступай». И я запомнил. А что на следующий день было, мне до сих пор стыдно вспоминать. Как я просил Кузьмича, как ребята за меня просили!..

Вот такой был случай. И потому Мушанскому на его издевательства я тем же ответить не могу.

И вообще мне некогда, у меня тысяча дел. Поэтому я заканчиваю допрос. Больше Мушанский уже ничего интересного не скажет. Думаю, он сам больше ничего не знает. Хотя и то, что он сказал, немаловажно. И главное здесь — Варвара.

Но еще важнее, оказывается, заключение экспертизы из научно-технического отдела. Восстановлен полный текст той записки. Он выглядит так, если

при этом выделить угаданные мною места: «Приходи, посоветуемся. С этой СВОЛОЧЬЮ ОКОНЧАТЕЛЬНО надо рассчитаться, когда СОБЕРУТСЯ ВСЕ».

Об этом я и докладываю в конце дня на совещании у Кузьмича.

— М-да...— задумчиво произносит Кузьмич, когда я заканчиваю свой доклад.— М-да... Действительно, интересно все тут поворачивается. И пока темно...

— Федор Кузьмич,— не выдерживаю я.— Все-таки разрешите мне встретиться с Варварой.

— Можно,— соглашается Кузьмич.— Даже нужно. Но вот эти города... Повтори-ка, с кем он там разговаривал.

Не дают ему покоя эти города. И мне почему-то тоже.

Когда я кончаю читать Валину таблицу, Кузьмич некоторое время молчит, потом задумчиво говорит:

— Да, с Варварой этой встретиться, конечно, надо. А вот ты,— обращается он к Вале,— все-таки, будь добр, выясни, что это за люди в тех городах. Может, они нашим товарищам там известны? С каждым из них, видимо, придется побеседовать о Николае. Осторожно, конечно.

— Кто же будет беседовать? — равново спрашиваю я.

— Если надо, то и мы подведем,— отвечает Кузьмич.— Там поглядим. Но что-то в этой темноте должно проступить.

И проступает.

На следующий день.

Часа в три меня с Игорем неожиданно вызывает Кузьмич. У него, оказывается, сидит Валя Денисов.

— А ну, повтори,— приказывает ему Кузьмич.

— Новость такая,— говорит Валя.— Все перечисленные в таблице граждане исчезли.

Но до этого, еще утром, произошло другое событие.

Глава III

НОВЫЕ ФАКТЫ

На работу я в этот день прихожу позднее. Сначала я поехал домой к Варваре. Но оказалось, сегодня Варвара работала в утреннюю смену, и визит пришлось отложить до вечера.

В коридоре я сталкиваюсь с Пэтей Шухминим, он взволнован и чем-то смущен, по-моему.

— Слушай,— говорит.— Тут, понимаешь, такое дело случилось...— И рассказывает мне довольно неприятную историю.

Оказывается, утром к дежурному прибежал какой-то человек и в панике сообщил, что его дочь грозят убить. Говорил он сбивчиво, бестолково, и дежурный ничего понять не мог, тем более что его непрерывно отвлекали. В это время пришел Петя, и дежурный попросил его побеседовать с гражданином.

Петя не отказался, и гражданин снова повторил свой рассказ:

— Вы только подумайте! Это же черт знает что! Звонят моей Надюше, грозят. Раз, другой, третий...

— А первый раз когда звонили? — спросил Петя.

— Первый? Да я еще домой вернуться не успел!

— Откуда?

— Как то есть откуда? — Гражданин настороженно посмотрел на Петю.— Боже мой, какое это имеет значение? Ну, допустим, с работы.

— Не «допустим», а точно говорите.

Посетитель сразу же вызвал у Пети антипатию и какое-то интуитивное недоверие. Шумливый, даже скандальный и вдобавок до того неряшливый, что это резало глаз даже Пете, который и сам не отличается особой аккуратностью. К тому же гражданин говорил бестолково, брызгал слюной, и его небритые жирные щеки при этом тряслись.

— Не обязан я вам это говорить! — взвизгнул толстяк.— При чем тут откуда я пришел?! Убить грозят, вам понятно?! Убить! Мою дочь, понятно?! Вот о чем спрашивайте! А не...

— Я сам знаю, о чем спрашивать,— грубо оборвал его Петя.— Вы меня не учите. Так откуда вы пришли в тот день?

Что-то в интонации этого гражданина, в его непонятном упрямстве, во всем этом визге и крике Пете не понравилось. Хотя это и не давало ему права так вести разговор.

— А я вам повторяю, это не имеет значения! — багровея, почти закричал на него толстяк.— Вы что, издеваетесь надо мной?!

Первым пришел в себя Петя и, спохватившись, мирно сказал:

— Ладно. Погорячился я. Вы уж извините. Давайте спокойно разберемся, что к чему.

— Вас не извинять, а наказывать надо за такие вещи! — гневно выпалил гражданин.— Строжайшим образом! Я к вашему начальству сейчас пойду.

— Да успокойтесь вы в самом-то деле.

— Не желаю успокаиваться! Кто ваш начальник?

— Ну, майор Цветков.

— Вот я к нему и пойду. Я этого так не оставлю!

Он вскочил со стула и шаром выкатился из кабинета.

Петя растерянно посмотрел ему вслед и поплелся к дежурному. По дороге он встретил меня.

— Ну, и где этот гражданин? — спрашиваю я.

— Сидит, ждет Кузьмича,— отвечает вконец расстроенный Петя.— Представляешь, что теперь будет? Ты бы с ним потолковал, а?

— Да-а,— вздыхаю я.— Наломал дров. И чего это ты как с цепи сорвался?

— Сам не знаю. Смотреть мне на него противно, не то что говорить,— зло щурится Петя, потом обращается ко мне, и взгляд его становится смущенно-просительным: — Только ты уж выручи. Не дай бог, он до Кузьмича доберется.

Во мне борются противоречивые чувства. С одной стороны, Петя вел себя, конечно, недопустимо и, по совести говоря, вполне заслужил нагоняй. Но, с другой стороны, это все-таки мой сослуживец, с которым никогда раньше ничего подобного не случилось. Впрочем, последнее может учесть и сам Кузьмич, если найдет нужным. Но, главное, повод для скандала у этого гражданина, на мой взгляд, ничтожный. Ну, почему в самом деле ему сразу бы не сказать, откуда он вернулся в тот день? Что это за секрет, из-за которого стоит так упрямиться и сердиться?

— Ладно,— сказал я Пете.— Черт с тобой. Попробую. Но ты-то хорош, нечего сказать.

Петя в ответ лишь горестно махнул рукой и ушел к себе, а я, поднявшись на второй этаж, направился в конец коридора, где на скамье увидел толстого, потного человека в расстегнутом пальто, которое открывало пиджак, тоже расстегнутый, съехавший набок галстук и громадный живот, туго обтянутый белой сорочкой. Отвислые, заросшие черной с проседью щетиной щеки были багрового цвета, а маленький носик, зажатый между ними, наоборот, совершенно побелел. За сильными стеклами очков в тонкой золотой оправе — огромные, как у совы, серые встре-

воженные глаза. При моем приближении человек вскочил. Короткие, широкие брюки смешно болтаются на ногах. На секунду они будят у меня какие-то неясные воспоминания, которые, впрочем, тут же начисто пропадают.

— Это вы начальник? — запальчиво вскрикнул гражданин, и взгляд его сквозь очки стал воинственным и одновременно растерянным.

Он действительно смешон и неприятен, этот раздерганный человечек.

— Нет, я не начальник. Но мне сказал дежурный, что вы пришли по серьезному делу. Может быть, пока майора Цветкова нет, вы мне расскажете, в чем дело? Я инспектор уголовного розыска лейтенант милиции Лосев.

Мой титул, видимо, произвел впечатление, как и мой доброжелательный, спокойный тон. И гражданин все еще нервно, но уже с оттенком доверия воскликнул:

— Да, да, да! Я вам сейчас все расскажу.

— Тогда пойдете ко мне.

Когда мы располагаемся у меня в комнате, я предлагаю:

— Прежде всего давайте познакомимся. С кем имею честь говорить? — и, предупреждая его поспешное движение, добавляю: — Паспорт мне не нужен. Просто, как к вам обращаться?

— Понимаю, понимаю, — кивает человек, и на полном лице его исчезает напряжение, щеки постепенно приобретают нормальный цвет и нос, кстати, тоже. — Очень приятно. Пирожков Григорий Сергеевич.

— Ну, вот и прекрасно, — говорю я. — Так в чем дело, Григорий Сергеевич? Кто угрожает вашей дочери?

— Если бы я знал! В том-то и дело...

— Но у вас есть какие-нибудь подозрения или предположения?

— Видите ли... что-либо определенное... — Пирожков мнется. — Пожалуй... трудно сказать... Вряд ли это поможет...

Я вижу, ему есть что сказать, но он явно не решается это сделать.

— Григорий Сергеевич, — говорю я как можно спокойнее и внушительнее, — если вы действительно обеспокоены этими угрозами, то прежде всего должны быть с нами абсолютно искренни. Иначе мы бессильны помочь. Не бойтесь, во вред вам ничего не истолкуем и ничего не предпримем.

— Ах, если бы... — горестно бормочет Пирожков и вытирает скомканным платком лоб и шею. — Если бы!.. Но вот ваш товарищ, например...

Он бросает на меня укоризненный взгляд. Серые глаза его за стеклами очков неправдоподобно увеличены, расплывчатые и кажутся полными слез.

Сейчас я особенно ясно ощущаю, что Петин проступок скрывать нельзя, просто недопустимо скрывать.

— Он вел себя неправильно. И будет наказан.

— Да, да, это надо сделать, — кивает Пирожков и нервно трет пухлые руки. — А насчет моих подозрений... У Наденьки нет таких знакомых. Это точно. Это безусловно. Она умница, хорошая девочка...

— Сколько ей лет?

— Девятнадцать.

— Значит, никаких подозрительных знакомств?

— Ну, конечно! У нее таких знакомых нет. Это точно... А вот у меня... кажется...

Пирожков растерянно умолкает, пытаясь, видимо, что-то сообразить, собрать разбегавшиеся, неясные мысли.

У меня такое ощущение, что сейчас он брякнет

какую-то несусветную глупость. Он, видимо, совсем помешался от страха. Ну какие могут быть у этого пожилого, вполне приличного человека знакомые, которые бы угрожали его дочери? Если только сын кого-нибудь из них или, допустим, молодой сослуживец, ухаживания которого были отвергнуты? Но тогда это скорее всего сущая чепуха.

— Господи! — вдруг вырывается у Пирожкова. — Я так устал от этой жизни! Если бы вы только знали...

Мне и в самом деле становится его жалко, даже если все эти страхи ему и померещились.

— От какой жизни, Григорий Сергеевич?

— Ах, все не объяснишь! — Он машет рукой.

Но вдруг рука его застывает в воздухе, словно в голову внезапно пришла какая-то новая мысль. Пирожков бросает на меня испуганный и одновременно странно-пытливый взгляд, словно заподозрив меня в том, что я подслушал его мысли, затем торопливо говорит:

— Впрочем, я, пожалуй, неправ. Насчет того человека. Он... он уже уехал из Москвы. И неизвестно, когда вернется. Да, да... И вообще... что я в самом деле?..

— Он с вами работал? — спрашиваю я единственно для того, чтобы что-то спросить, потому что подобное предположить трудно.

— Нет, нет... Он так, знаете... проездом... — сбивчиво отвечает Пирожков. — И вот уехал... У меня просто ум за разум заходит... Он уехал, и все. Звонили уже после его отъезда. Звонили и грозили. Вы понимаете? Боже мой! Если из-за меня что-нибудь случится с Наденькой, я этого не переживу! Я руки на себя наложу! А впрочем, глупости, глупости... Я просто с ума сойду! И сердце вот... — Он трет грудь под пиджаком. — Каждый день болит. Прошлый раз мне даже капли давали там, в гостинице...

Слово «гостиница» меня, естественно, настораживает. Это уже почти рефлекс. Я теперь вообще не могу спокойно его слышать. У меня это слово немедленно ассоциируется с Мушанским, кражами, допросами — словом, чертовщина какая-то. Но тут еще и капли.

У меня вдруг мелькает догадка. Я наклоняюсь через стол и тихо спрашиваю:

— Григорий Сергеевич, неужели он вас погубил?

— Что?.. Кто погубил?..

Пирожков вздрагивает и испуганно смотрит на меня сквозь очки.

— Да Николов. Иван Харитонович Николов.

— Вы... разве... позвольте, какой еще Николов?

— Тот самый, Григорий Сергеевич, — уже твердо говорю я, сам, однако, до конца не веря в эту сумасшедшую удачу. — Мы имеем в виду одного и того же Николова.

— Но... ради бога...

— Вы знаете, почему он так неожиданно исчез?

— Понятия... понятия не имею. Но откуда...

— Его обокрали там, в гостинице.

— Не может быть!

Пирожков даже всплескивает короткими, пухлыми ручками и с неподдельным изумлением смотрит на меня.

— Представьте себе, — говорю я и повторяю свой вопрос: — Неужели он все-таки вас погубил?

— Ах, господи! Откуда вы это взяли? Чепуха какая-то!

— Но все-таки кто он? Куда уехал?

Пирожков отводит глаза и секунду молча трет руки, пытаясь, видимо, собраться с мыслями. Какая-то жестокая борьба идет в нем. Щеки снова становятся багровыми, и начинает странно белеть тонкий нос.

Но вот Пирожков наконец принимает решение. Огромные, водянистые серые глаза за стеклами очков теперь смотрят на меня грустно и отрешенно. Пирожков начинает говорить осторожно, неуверенно, но вполне, однако, связано:

— Видите ли, я познакомился с ним случайно. Он был у нас в тресте, пытался достать весьма дефицитный стройматериал. Ему это не удалось. И тогда он предложил мне... как бы вам сказать... ну, довольно сомнительную сделку. Короче говоря, жульническую, конечно. Я отказался. Я и так, знаете, ночи не сплю со своими делами. Тогда он намекнул, что располагает какими-то компрометирующими меня документами, и предложил встретиться, показать их. Я пришел к нему в гостиницу. Хотя я понимал, что таких документов не существует, но все-таки, знаете... мало ли что. Никто не хочет лишних неприятностей. И он мне действительно кое-что показал. Нет, нет! — Пирожков выставляет перед собой руки, словно отталкивая что-то. — Никакого уголовного дела! Но однажды... я уступил одному человеку, своему начальнику. Нарушил ради него строжайший приказ главка... тут не было взятки, клянусь вам. Просто... он приказал, а я... ну, в общем, подчинился. Вы понимаете, не было сил возражать. Он бы меня... Потом он еще раз приказал... Ну, словом, вот так. Потом начальник этот ушел. Все стало на свое место. И вдруг теперь... Но это не главное! Это бы я еще пережил как-нибудь. Но этот человек сказал... сказал, что я мало люблю Наденьку. И... и очень ей рисковую. Это была уже наглость!

— Но вы испугались?

— Да, конечно. Больше всего, знаете, от неожиданности. Откуда он знает про Наденьку?

— Откуда же?

— Понятия не имею. Может быть, кто-нибудь из моих сослуживцев... Ведь он и копии тех документов как-то сумел раздобыть. Так вот. Он мне сказал, что придет в Москву человек, который знает Наденьку, и если... Ну, в общем, чушь, чушь, чушь!..

— А куда он сам уехал?

— Откуда же я знаю?

— Но вы обещали переслать ему письмо.

— Ах, вот что! Так я вам скажу честно: я солгал этой дежурной. Я решил, что узнаю из письма, кто придет. Я готов был на все, лишь бы заполучить это письмо. Поймите меня. Я же все-таки боюсь... Я так боюсь за Наденьку!.. Она такая доверчивая, увлекающаяся... Я просто не знаю, что теперь делать. Ну, скажите, ради бога...

Да, история, конечно, подозрительная. Но я чувствую, что Пирожков говорит искренне, говорит правду, и он действительно очень напуган.

— Итак, звонили вам три раза? — спрашиваю я.

— Да, да, три.

— Все три раза после отъезда Николова?

— Нет. Первый раз еще при нем. Я только успел вернуться из гостиницы.

— Звонил Николов?

— Нет, нет. Кто-то другой. Такой, знаете, молодой, грубый голос. Хриплый немного. Хулиганский какой-то голос.

— Что он сказал?

— «Это, — спрашивает, — папаша?» «Чей, — говорю, — папаша?» «Сам знаешь, чей. Так вот, девушку твою завалим, если будешь кобениться. А то еще чего и похуже сделаем. Понял?» Так прямо и говорит. Представляете?

— А второй раз тот же голос звонил?

— Да! Сначала подошла жена. Так он меня позвал, мерзавец. Ах, нет! Это уже в третий раз, вчера вечером. А во второй раз Наденька подошла. Утром звонил, я был на работе. И мне вечером

рассказала. Он специально велел мне рассказать про его звонок. Представляете?

— Что же он ей сказал?

— Приблизительно то же самое, что и мне. Наденька была так напугана. Умоляла меня избавиться от этого типа. А я мог это сделать... И когда он позвонил в третий раз, я не выдержал. Я прибежал к вам. Я совершенно теряю голову. И... и не хочу иметь дело с этим подонком, этим...

Я слушаю взволнованный рассказ Пирожкова, вижу, как трясутся его губы и обильные струйки пота текут по вискам на толстые щеки, и чувствую, что все это так и было, как он рассказывает: и вымогательство, и шантаж, и угрозы, и его испуг, панический испуг. Все тут достоверно. И никто, конечно, его Наденьку убивать не собирается... Примитивнейший шантаж. Но Пирожков производит впечатление человека, на которого это может подействовать. И подействовало, хотя и не так, как рассчитывал Николов.

Интересно, что звонили и после его отъезда. Выходит, он еще вернется и психологически готовит свою жертву уступить шантажу.

Еще это означает, что у Николова в Москве есть сообщник. Ну да. И в записке ведь было сказано: «Приходи, посоветуемся...» Но звонит Пирожкову не тот человек, с кем Николов собирался «подумать». Звонит, судя по лексикону, явный уголовник. Что же, у Николова под рукой может быть и такой тип.

Пожалуй, из рассказа Пирожкова пока не ясен лишь один пункт. Действительно, Пирожков только что познакомился с Николовым или они были знакомы раньше? Искренен в этом пункте Пирожков или нет? Я вспоминаю одну деталь из рассказа Екатерины Осиповны, вспоминаю странную фразу, звучащую, как пароль.

— Григорий Сергеевич, — говорю я, — а что означает «Третьяковская галерея, зал Куинджи»?

Пирожков вскидывает голову и несколько секунд ошалело смотрит на меня сквозь стекла своих очков, потом дрожащей рукой, в которой зажат мокрый платок, проводит по лбу и шее.

— Так вы... вы, что же... знаете этого человека? — хрипло спрашивает он и откашливается.

— Нет, пока не знаю. Но дежурная слышала, как вы сказали эту фразу Николову.

— Но, значит...

— Да, — киваю я. — Мы знали о вашей встрече. Мы только не знали, что это были именно вы. Я же вам уже сказал, что в номере у Николова произошла кража. И мы интересовались всеми, кто к нему приходил. Дежурная вспомнила и вас.

— Надеюсь, вы не подумали...

— Нет, не подумали. Тем более что вскоре вор был задержан. — Я ловлю себя на том, что мне приятно вслух констатировать этот факт. — Но Николов исчез, а нам надо было, чтобы он опознал украденные у него вещи.

— Понятно, понятно, — задумчиво говорит Пирожков и вдруг усмехается. — Действительно, очень странная фраза насчет Третьяковки, не правда ли?

— Странная, — подтверждаю я. — Что же она означает?

— Я его тоже об этом спросил. «Сначала, — говорит, — запомните, а потом поймете. И тогда она вам пригодится». По-моему, чушь это все. Хотя он человек серьезный. — Пирожков пожимает плечами и с вновь пробудившейся тревогой смотрит на меня. — Но все-таки, — говорит он, — что же будет, товарищ Лосев? Что нам делать?

Я как могу успокаиваю его. Доказываю, что его дочери ничто не угрожает, что все это мелкий, грубый шантаж, и больше ничего. Я ссылаюсь на свой опыт и опыт моих товарищей, привожу кучу всяких примеров. И, кажется, добиваюсь своего. Пирожков немного успокаивается, даже чуть заметно улыбается, сконфуженно и виновато. Тогда я перехожу к главному.

— Давайте схитрим, — предлагаю я. — Давайте создадим впечатление, что вы клюнули на его удочку, что вы сдаетесь, капитулируете и готовы уступить его требованиям. Так и скажите, когда вам еще раз позвонит этот тип. Давайте превратимся из жалкой рыбешки в рыболовов. И сами закинем удочку. Пусть только он появится, этот Николов. И тогда мы с ним как следует поговорим, тогда мы навсегда отобьем охоту жульничать и пакостить людям.

— Ну давайте, — не очень уверенно соглашается Пирожков.

Я пытаюсь вселить в него бодрость; я ему доказываю, что это ничем ему не грозит и Николов никогда не узнает, какую роль сыграл в его разоблачении он, Пирожков. Главное сейчас найти Николова, во что бы то ни стало найти.

В конце концов мы обо всем улаживаемся, и Пирожков, тяжело вздыхая, уходит.

А я вытаскиваю лист чистой бумаги и, пока все еще свежо в памяти, записываю главное из того, что я сейчас услышал. Но обдумать все это я не успеваю.

В комнату заходит Игорь.

Кивнув мне, он садится за свой стол и некоторое время пристально и мрачно смотрит на меня, потом отводит взгляд в сторону и говорит:

— Я развожусь с Аллой.

— Ну да? — невольно вырывается у меня. — Ты что, спятил?

— Думаю, что так будет лучше нам обоим.

— Нет, ты действительно спятил! — кричу я, навалившись грудью на стол. — Алла уже знает?

— Она сама предложила.

— Она тысячу раз предлагала. Это чепуха!

— Нет, теперь уже серьезно.

На этот раз я пристально смотрю ему в глаза.

— Старик, ты не все мне говоришь.

— Чего же тебе еще?

— Сам знаешь.

Некоторое время мы молчим и довольно нервно курим.

— У всякого человека есть предел терпению и выдержке, — наконец говорит Игорь. — У меня оно уже кончается, а кроме того...

— У всякого человека есть еще голова, — перебиваю я. — У тебя она тоже есть.

Игорь угрюмо смотрит в сторону и цедит сквозь зубы:

— Бесплезный разговор.

— Но Алла тебя любит. А потом Димка. Что ты делаешь?

— Я все понимаю.

— Но не все мне говоришь.

Игорь молчит.

— Ты Алле сказал о своем решении?

— Она мне сказала о своем решении.

— Она тебе уже тысячу раз это говорила. Что ты ей ответил?

— Ответил, что согласен.

Да, дело серьезное. Никогда еще Игорь не отвечал на Алкины выходки согласием. Раньше он всегда отшучивался и успокаивал ее. А теперь я не знаю, что сказать. И, честно говоря, не убежден, что Игорь действительно спятил. С Аллой жить трудно, она невозможно вспыльчива, подозрительна и замучила

Игоря ревностью. Хотя раньше Игорь никогда не давал ей повода для этого, а теперь я понимаю: что-то произошло...

Когда я думаю о таком конфликте спокойно и абстрактно, то понимаю, что разводы бывают разные и иногда это лучший выход. Но сейчас я не могу думать об этом спокойно и тем более абстрактно. Игорь мой друг, самый близкий друг. И его развод — это разрушение какой-то частицы моей собственной жизни, привычной, усвоенной и потому, как мне кажется, правильной, необходимой. И еще мне кажется, что Игорю будет плохо, и Алле, и Димке. Всем! И мне тоже.

Но сейчас меня беспокоит не это. И я неуклюже и высокопарно спрашиваю:

— Ты полюбил другую? Только честно.

Игорь пожимает плечами.

— Я не предлагал развода. Предложила Алла.

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Я не предлагал развода, — с ноткой раздражения, упрямо повторяет Игорь.

Тут звонит один из телефонов. Это Кузьмич. Он приказывает мне и Игорю немедленно явиться к нему. Голос у Кузьмича при этом особенный. Что-то случилось непредвиденное. Это уже точно.

В кабинете начальника мы застаем Валю Денисова.

— А ну, повтори, — велит ему Кузьмич, когда мы с Игорем усаживаемся возле его стола.

— Новость такая, — говорит Валя. — Все перечисленные в таблице граждане исчезли. Выехали в неизвестном направлении.

Наступает длительная пауза. Мы с Игорем пытаемся переварить эту новость.

Я вспоминаю конец той записки: «...когда соберутся все». Неужели они собрались? Николов, очевидно, протрубил сбор, чтобы свести с кем-то из них неведомые пока нам счеты. При этом он сам в Пензу не вернулся. Следовательно, «сбор» происходит где-то в другом месте. И все это затеяно, конечно, не случайно, не по прихоти или капризу. Действия определяются интересами, последние же всегда материальны. И чем серьезнее интересы, тем важнее действия, а в данном случае и опаснее.

— Выходит, Николов протрубил сбор, — говорю я.

— Или его самого вызвали на сбор, — возражает Валя и добавляет: — В любом случае тут что-то нечисто.

Я смотрю на часы. Мне пора: Варвара, наверное, уже вернулась с фабрики.

— Вот что, — говорит наконец Кузьмич и обращается к Вале: — Свяжись со всеми четырьмя городами. Пусть наши хлопцы там пошуруют. Наверное, кто-то из этих людей выехал в командировку или, допустим, к родным. Выехать в не известном никому направлении они не могли.

— Слушаюсь, — коротко отвечает Валя.

— В Пунеж этот самый тоже позвони, — веско добавляет Кузьмич. — Теории теориями, знаешь.

Если бы мы знали, что нас ждет на следующий день!

И вот я снова еду к Варваре. Сначала на одном троллейбусе, потом на другом.

Серый, короткий день незаметно и быстро кончается. Еще только пять часов, но небо уже непроглядно темное, на улицах медленно загораются фонари, вспыхивают витрины магазинов. Ветер стих, падает снег, мокрый, крупный и совсем редкий. Под ногами густая слякоть, ее только завтра начнут соскребать с тротуаров. Мокрая грязь веером разлетается из-под колес проносящихся машин, и прохожие озабоченно жмутся к домам.

Вот, наконец, и моя остановка. Я выскакиваю из троллейбуса и оглядываюсь. Напротив, через улицу, темнеет громада знакомого дома с черной дырой подворотни. В окнах Варвары сквозь занавески виден желтоватый свет.

Некоторое время я наблюдаю за этими окнами и одновременно обдумываю, как вести разговор.

Итак, Варвара знает Николова. Что она о нем знает, откуда? Вот это и надо выяснить. Это—самое главное. О Мушанском я решаю ей не напоминать без особой необходимости. Кроме того, я не верю, что Варвара дала Мушанскому «подвод», специально указала на Николова. Скорее всего она случайно о нем проболталась. Но она Николова знает, вот что важно.

Я захожу в подворотню и сразу тону в густой и вязкой ее темноте. И тут же на меня с воем налетает ветер. Я к этому уже готов и все-таки с большим трудом, согнувшись и придерживая шапку, преодолеваю его напор.

Я бреду вслепую, шаря по холодной, выщербленной стене справа от себя. Дверь, обитую старой клеенкой, нахожу не сразу. Потом долго нащупываю маленькую холодную кнопку.

Звонка за дверью не слышно, как и щелканья старого-престарого замка, в ушах только пронзительно свистит ветер.

Дверь открывается внезапно и, как мне кажется, бесшумно. В освещенном проеме я вижу Варвару. Она зябко кутается в платок. Узнав, весело говорит:

— Заходите, заходите скорее. Жуть, как дует. Давно не виделись. Я уже подумала, забыли.

И вот мы снова пьем чай в знакомой до мелочей кухне. После всяких пустяковых разговоров и воспоминаний—Варвара безмерно горда своей ролью в задержании этого негодяя Мушанского, и воспоминания о нем, оказывается, нисколько ее не тяготят—я, выбрав момент, как бы между прочим, спрашиваю:

— Кстати, вам не знаком человек по фамилии Николов?

Варвара удивленно смотрит на меня.

— Знать не знаю. И не слышала даже.

Я чувствую, что она не лжет, она действительно впервые слышит эту фамилию.

— Попробуйте вспомнить, Варя,—прошу я.—Он, наверное, ухаживал за вами или пытался, во всяком случае.

— Да мало ли их!—беспечно машет рукой Варвара.—Пруд пруди. Может, и этот попадался. Паспортов они мне не предъявляют. Там штамп стоит. А они все одинокие.—Она заразительно смеется.—Как вы говорите, Николов?

— Его зовут Иван Харитонович,—торопливо добавляю я, поняв свою ошибку.

— А-а...—В глазах ее появляются веселые искорки.—Помню, помню! Встречались, как же!

— Кто же он такой?

— Да на фабрику к нам приезжал. Забыла уж, из какого города. Ихний торг его послал, что ли. Иван Харитонович... Длинный такой, худой и лысый. Ничего кавалера, а?—Она прыскает от смеха.—Ему, между прочим, тоже Толик помешал было, но он его очень вежливо спровадил, что-то даже пообещал, не так, как вы!...—Она снова смеется.

— И вы с ним, с Иваном Харитоновичем, значит, никуда не пошли?

Варвара смущенно краснеет, но тем не менее отрицательно качает головой.

— Никуда я не пошла.

— А если честно, Варя?

— Ну... в ресторане были. Что тут такого?



— Он рассказывал вам о себе?

— Да ничего он не рассказывал,—сердито отвечает Варвара.—Вина подливал да о чувствах говорил, старый хрыч. Денег у него куры не клюют. Сама видела. А под конец он достал коробочку. В ней знаете чего? Браслет! Ой, какой!—Варвара от восхищения даже прижимает ладони к лицу и закрывает глаза.—Умрешь. Пятьсот семьдесят шесть рублей стоит. Надо же!

Она начинает так живо и подробно описывать этот браслет, что он прямо встает у меня перед глазами, эдакое дивное, сверкающее произведение ювелирного искусства.

— И он вам этот браслет подарил?

— Совал,—с неожиданной безразличностью отвечает Варвара.—Только я не продажная. Я любить человека должна. Тогда меня и без этих камушков взять можно.

Наступает неловкая пауза. Все-таки разговор у нас получился, что ни говорите, деликатный.

Мы прощаемся. Я благодарю за чай.

Варвара уже успокоилась, улыбается скромно, застенчиво, потупя глаза. Такое у нее сейчас настроение.

Я возвращаюсь к себе в отдел.

В дверях сталкиваюсь с Валей Денисовым.

Ого! Валя не похож на себя, Валя взволнован. Он, такой сдержанный, даже хватает меня за ладонь пальто и говорит:

— Слушай, Виталий! Только что получена шифровка из Пензы. Николов вернулся домой! Как миленький вернулся. Ты представляешь?

Я ошеломленно смотрю на него.

Глава IV

ДВОЙНИК

С утра у меня все валится из рук. Я ни на чем не могу сосредоточиться. Мысли заняты только одним: нашелся Николов, вернулся домой, сам вернулся, как ни в чем не бывало! Что это может означать? Ну, во-первых, нам теперь не надо метаться по разным городам в его поисках, разыскивать и допрашивать уйму людей и ломать себе голову. Вот он, Николов, собственной персоной. Конечно, с ним придется повозиться и задать ему немало весьма щекотливых вопросов. Он, конечно, будет лукавить, темнить и петлять, хитро и заранее продуманно, однако все это уже не идет в сравнение с тем, что предстояло бы нам, не вернись Николов домой. Во-вторых, его возвращение означает, что таинственная встреча «всех» окончена и с той «сволочью» они, видимо, разделились. Вот это уже серьезно. Это может оказаться непоправимо. И, наконец, в-третьих, дело так или иначе близится к концу. Теперь надо поскорее добраться до этого Николова, посмотреть на него, потолковать. Мне надо ехать в Пензу — вот что, и как можно быстрее!

Все эти соображения я и излагаю на совещании у Кузьмича, когда он наконец появляется у себя в кабинете. С утра его вызвали в управление, и поэтому совещание наше состоялось только в середине дня.

После моей речи, горячей и торопливой, с которой наше совещание и началось — я просто не в силах был удержаться, чтобы побыстрее не выплеснуть все свои соображения, — Кузьмич, усмехнувшись, говорит Вале Денисову:

— Ну, а теперь доложи толком и подробнее, что сообщила Пенза.

И Валя невозмутимо докладывает:

— Николов вернулся два дня назад. А вчера сам пришел в милицию и подал заявление об утере паспорта. Он его потерял, мол, в дороге, когда возвращался из Москвы домой. Ну, его вежливо и осторожно, так, чтобы не спугнуть, опросили по этому факту и насчет кражи у него в гостинице тоже, конечно. Это не было никаким допросом, так, беседа.

— И что он показал в этой беседе? — спрашивает Кузьмич.

— Насчет паспорта — ничего особенного. Потерял — и все. А может быть, и украли. В поезде.

— Так он поездом, значит, приехал?

— Говорит, поездом.

— Интересно. Ну, дальше.

— А вот насчет гостиницы, тут он уже крутит, — продолжает свой доклад Денисов. — Правда, гостиницу он назвал верно, ту самую. Но утверждает, что кражи в его номере никакой не было и ничего у него из вещей не пропало.

— Как же так, а кофточки? — вмешиваюсь я.

— Говорит, никаких кофточек у него не было.

— Интересное кино получается, — говорит Петя Шухмин.

— Больше ни о чем его не спрашивали, — заканчивает Валя. — Приняли заявление насчет паспорта, и все.

— Это правильно, — кивает Кузьмич и добавляет: — Ну, теперь насчет второго дела доложи, насчет всех этих странствующих и путешествующих граждан из четырех городов.

— Слушаюсь.

Валя развязывает тонкую папку, которую все это время держал на коленях, и вынимает из нее известную мне таблицу.

Я сразу замечаю, что в ней появилась еще одна графа, почти вся уже заполненная.

— Значит, так, — говорит Валя, поглядывая в таблицу. — Установили, кто куда уехал. Дело это оказалось нетрудное.

— Вот так-то, — басит со своего места Петя Шухмин. — А то сразу: «Исчезли». Не в джунглях, небось, живем.

Валя пропускает его замечание мимо ушей и ровным голосом продолжает:

— Данные получены следующие. Леонид Васильевич Палатов из Ростова отправился в Свердловск, в командировку.

— Ты сразу и место работы напоминай, — говорит Кузьмич.

— Слушаюсь. Палатов — начальник ОКСа одного ростовского завода. Теперь дальше. Галина Остапова Кочерга, продавец коммиссионного магазина в Одессе, взяла неделю отпуска за свой счет и уехала к заболевшей матери в Краснодар. Между прочим, предъявила телеграмму с вызовом. Орест Антонович Сокольский, заместитель директора торгового Ленинграда, тоже выехал в командировку, в Харьков. Наконец, Олег Иванович Клячко, врач из Саратова, выехал в Астрахань по самому прискорбному поводу — хоронить отца.

И тут я вспоминаю эту фамилию — Клячко. По паспорту этого человека жил на вокзале в комнате для транзитных пассажиров Мушанский! Ну, конечно же! Сейчас, правда, это особого значения не имеет. Но я все же испытываю облегчение.

— А насчет Пунежа, Федор Кузьмич, ничего сказать нельзя, — заканчивает между тем Валя. — Там абонент Николова пока не установлен.

— Теперь все это не имеет значения, — говорю я, — раз Николов нашелся. Теперь надо брать за него самого, Федор Кузьмич. И конец делу.

Кузьмич неопределенно хмыкает и переводит взгляд на Игоря.

— Ну, а ты, Откаленко, что скажешь?

— Согласен с Лосевым, — хмурясь, говорит Игорь и добавляет: — Ему надо самому ехать в Пензу.

— Федор Кузьмич, — решительно поднимаюсь я. — Я должен еще одну информацию сделать.

И при этом невольно бросаю взгляд на Петю Шухмина. Он отводит глаза. Он прекрасно понимает, о чем я собираюсь говорить.

А я рассказываю о Пирожкове, все рассказываю, в том числе и как Петя с ним обошелся и что тот собрался жаловаться на него Кузьмичу. Делаю я все это горячо и даже, наверное, запальчиво, резко. Потому что мне жалко Пирожкова, я к этому толстяку проникся даже некоторой симпатией, хотя и понимаю, что он отнюдь не такой уж кристальный.

Когда я наконец умолкаю, Кузьмич сухо говорит:

— Дело не в том, что хороший этот Пирожков, или не очень хороший, или вообще плохой, дрянной человек. Главное сейчас в том, что этот человек прибежал к нам за помощью. Понятно? К нам к первым прибежал. Защиты у нас попросил. А на что нарвался? На хамство, на равнодушие, на черт знает что!

Кузьмич все больше свирепеет. Мне даже становится не по себе. И остальным, по-моему, тоже. Это

редчайший случай, когда Кузьмич так накаляется, и тогда неизвестно, чем все может кончиться.

— Мы тут для чего поставлены, по-вашему?— грозно продолжает он.— Для чего государственный хлеб едим? Жуликов ловить? А ради чего? Ради них самих, думаете, или ради искусства? Нет, милые мои. Так дело у нас не пойдет. Шухмина гнать надо, раз он не понял суть нашей работы! Потому что мы жуликов, убийц и всяких прохвостов ловим не ради галочки или там премии какой. А ради людей, тех самых, кто помощи, защиты нашей ждет! Всех людей, любых, понятно вам? И если мы этих людей сами оскорблять да обижать станем, мы в держиморд превратимся, в пугало! Мы страх и презрение заслужим, а не уважение. И я тогда первым уйду, я позором для себя эту работу считать буду.— Кузьмич сурово смотрит на красного как рак Петю и заключает: — И ты нас, Шухмин, не позорь, ты презрение к нам не смей вызывать. И работу нашу тоже не позорь. Первый и последний раз тебе это говорю. И всем, кстати, тоже. Прогоним, учти, Шухмин. Без сожаления прогоним.

Он умолкает и с раздражением достает из ящика стола неначатую пачку сигарет.

Все мы подавленно молчим.

Кузьмич закуривает и, разогнав рукой дым, говорит уже спокойнее:

— Ну, а теперь давайте работать. Что же нам дал этот Пирожков?

— Выходит, ничего особенного,— негромко говорю я, еще не вполне оправившись от гневных слов Кузьмича.— Потому что Николов... я надеюсь, что теперь он появится в Москве только под конвоем. И тогда Пирожков нам не нужен.

— Я тоже надеюсь,— сухо соглашается Кузьмич.— Но Пирожков дал нам первую прямую улику против Николова. Вот что важно. Шантаж и принуждение к незаконной сделке мы Николову предъявить теперь можем.— Он умолкает, что-то, видимо, обдумывая.— Вот что. В Пензу летят Лосев и Откаленко немедленно,— и смотрит на часы.— Сейчас девятнадцать часов. Когда ближайший рейс?

Я встаю и подхожу к стене, где висит расписание воздушных рейсов. Выясняется, что ближайший самолет вылетает через четыре часа.

— Может не быть билетов, Федор Кузьмич.

— Ну, ну,— усмехается он.— Как-нибудь. Давайте собирайтесь. И за час будьте в аэропорту. Вас там встретят.

Кузьмич иногда бывает динамичен на удивление.

Итак, у меня три часа, и я все должен успеть. Мысленно прикидываю время. Сейчас попрошу машину и через двадцать минут буду дома, полчаса на сборы и прощание, еще пятнадцать минут на дорогу к Светке, там я могу побыть час, и тогда пятьдесят пять минут останется на дорогу в аэропорт. Надо только суметь выдержать график.

И я его выдерживаю.

Через три часа машина стремительно несется в сторону Киевского шоссе, легко и изящно обходя все другие машины. Володя — шофер-оперативник, а это кое-что значит, уверяю вас. Да и мотор его машины несколько отличается от обычного.

К новому зданию аэропорта, длинной сверкающей лентой прикинутому к старому, с традиционным шпилем и колоннами, мы подъезжаем вовремя.

В толпе спящих у входа людей я сразу замечаю Игоря. Он разговаривает с незнакомым мне офицером милиции.

Я подхожу. Офицер оказывается сотрудником отделения милиции аэропорта. Он вручает нам билеты, желает счастливого полета и, откозыряв, уходит.

Объявляют посадку на наш рейс.

...Легкий толчок. Самолет медленно трогается, вырываясь на взлетную полосу.

Глаза у меня незаметно начинают слипаться.

— Я ее люблю,— вдруг глухо произносит Игорь.— По-настоящему люблю. Не могу без нее.

— Догадываюсь.

Дремота мгновенно покидает меня.

— Ничего ты не догадываешься. Ты это не можешь понять.

— Почему же? Это понять нетрудно.— Я говорю, не отрывая глаз от журнала.

— Трудно. Все страшно трудно.

Игорь тоже не смотрит на меня, говорит, словно в пространство. Так нам обоим легче вести разговор.

— Лене тоже трудно?— спрашиваю я.

Игорь впервые сканирует на меня глаза.

— А ты как думал?— Он слегка озадачен моей осведомленностью.

— Думаю, тоже трудно,— уступаю я.— Да, мне теперь уже кое-что известно. Ведь эта девушка, Лена, работает в нашем управлении.

— Именно! А тут еще Димка,— задумчиво продолжает Игорь,— Димка — главное. Потом, может быть, поймет. Но это потом. Через двадцать лет. А пока что он будет думать?

— Да, Димка — главное,— подтверждаю я.

И при всей трудности нашего разговора я чувствую, что счастлив, словно я вновь обрел друга.

Игорь не замечает моих переживаний.

— Что же мне делать?— с тоской вырывается у него.

В самом деле, что ему делать? Кажется, нет ничего проще, чем развестись. В конце концов это теперь не проблема. По-моему, это даже перестало быть трагедией, как когда-то. Проблема тут в другом — в Димке. Игорь его очень любит, это я знаю. И еще мы с Игорем отлично понимаем, что это такое, когда у парня нет отца. Мы прекрасно это знаем по своей работе. Но меня во всей этой сложной ситуации беспокоит еще одна сторона. Я вдруг с необычайной отчетливостью представляю себе ее.

— Мне кажется,— медленно говорю я,— что главное тут — быть уверенным в том человеке, в своем чувстве к нему и остаться хорошим отцом Димке.

— И тогда?..— настораживается Игорь.

— И тогда развод.

— А Алла?

— Время поможет,— с несвойственной мне мудростью заключаю я.

— Н-да...

Игорь снова умолкает.

В этот момент впереди, на кабине пилотов, зажигается табло: «Не курить. Пристегнуть ремни». Через некоторое время голос стюардессы оповещает по радио:

— Граждане пассажиры, наш полет заканчивается...

Самолет, вздрагивая, катится по широкой бетонной полосе, сбоку вдоль нее бегут красные огоньки.

Утром мы просыпаемся от телефонного звонка. За окном еще темно: семь часов утра. Именно в это время мы и попросили дежурную по этажу нас разбудить.

В восемь за нами заезжает Рогозин и везет к себе в горотдел.

Рогозин высок и широкоплеч. А физиономия круглая и простецкая. В коротких темных волосах густо

проступила седина, но это нисколько не прибавляет ему солидности и значительности. Rogozin бывший моряк, и руки его сплошь покрыты татуировкой, вплоть до пальцев. Он этого стесняется, и руки стараются прятать.

Рогозин — начальник уголовного розыска города. Он отличный работник и хитрец, каких мало.

Мы с ним уже не раз встречались. Меня он зовет по имени, Игоря тоже, а мы его по имени-отчеству, все-таки он лет на пятнадцать старше, да и званием повыше.

Мы усаживаемся в его кабинете на довольно стареньком кожаном диване и закуриваем.

Рогозин интересуется:

— Ну, парни, отдохнули, заправились?

— А то как же, — отвечаю я за двоих.

— Обедать будем вместе, — многозначительно предупреждает Рогозин. — А сейчас слушайте. Вот какие, значит, пироги. Насчет вашего Николова.

Оказывается, здесь за эти два дня о Николове успели собрать кое-какие сведения. Но интереса они для нас не представляют. В том числе и кислые характеристики по месту работы. Может быть, у него и недостаточная квалификация по специальности, и рвения он не проявляет, зато в другой известной нам области и квалификации и рвения у него, кажется, с избытком. Только одна деталь привлекает наше внимание: частые поездки в Москву, а может быть, и не только в Москву. Иной раз даже за свой счет несколько дней выпрашивает. А в остальном все в жизни Николова ординарно и совсем не примечательно: женат, сыну одиннадцать лет, живут как будто довольно скромно, и даже мало-мальски подозрительных знакомств никаких нет. Какое разительное отличие от жизни Николова в Москве! Жене, наверное, и не снилась такая жизнь! Кстате, с женой Николов часто ссорится, и тогда она, захватив сына, переезжает на несколько дней к родителям.

Вот и все, что известно местным товарищам об этом проходимце. Как видите, небогато. Мы знаем куда больше.

— Как он себя ведет эти два дня? — спрашивает Игорь.

— Нормально. Из дома на работу, с работы домой. Вчера с женой даже в кино пошел и мороженым угостил, — усмехнулся Рогозин. — Мир у них сейчас.

Потом мы просматриваем всякие справки, сообщения и свои собственные записи, уточняем с Рогозиным отдельные детали.

Неожиданно выясняется, что уже десять часов. Звонит телефон, и дежурный сообщает, что пришел гражданин Николов.

Ну, вот, теперь начинается самое главное. Добро пожаловать, гражданин Николов, очень любопытно будет с вами познакомиться и послушать, как вы объясните некоторые свои поступки. Вряд ли нам после этого суждено расстаться с вами.

Мы улаживаемся, что разговор с Николовым проведу я, поскольку я лучше знаю все материалы по этом делу.

Кстате, перед отъездом мы провели интересную экспертизу, вернее, по нашей просьбе ее провели. Почерк в записке, отпечаток которой я обнаружил, сравнили с почерком Николова в регистрационном листке, который он заполнил, поселившись в гостинице. И все совпало. Ту странную, подозрительную записку написал он, Николов.

Словом, нам есть о чем поговорить с ним.

Рогозин просит дежурного направить Николова к нему.

Через минуту на пороге появляется высокий, ху-

дошавый человек с седыми висками и большими залысинами на широком лбу, уши как-то нелепо торчат в стороны, лицо улыбочное и, я бы сказал, довольно приятное. Одет он в скромный костюм, короткое нейлоновое заграничное пальто расстегнуто, на шею яркое мохеровое кашне, в руке держит плоский, весьма модный сейчас темный чемоданчик-портфель. С виду Николов настроен абсолютно спокойно, даже как будто оптимистично. Хотя во взгляде его я улавливаю настороженность.

Я встаю ему навстречу. Игорь и Рогозин сидят в стороне, на диване, и заняты каким-то своим разговором. Нечего создавать у Николова впечатление, что все мы собрались здесь ради него.

Николов здоровается весьма непринужденно и одаряет меня обаятельной улыбкой.

Начинается разговор.

— Хотелось бы, Иван Харитонович, — говорю я, — уточнить некоторые обстоятельства вашей поездки в Москву.

— Пожалуйста, — с готовностью соглашается Николов.

Но я чувствую, как внутренне он весь напрягается и улыбка становится несколько вымученной.

— Где вы остановились, будучи в Москве?

Николов называет уже знакомую мне гостиницу.

— Когда вы из нее выехали?

И тут Николов, к моему удивлению, называет совсем не тот день, когда он на самом деле покинул гостиницу. По его словам, это произошло всего четыре дня назад. Странно, что он не подготовился к такому элементарному вопросу.

— Нет, Иван Харитонович, — вежливо возражаю я. — Вы уехали оттуда за две недели до этого дня. Вот справка из гостиницы.

Николов внимательно и, как мне кажется, с некоторым удивлением и любопытством изучает ее, потом что-то обдумывает про себя и, наконец, очень спокойно спрашивает:

— А какое, собственно, имеет значение, когда я оттуда уехал? Ну, допустим, на две недели раньше, что из этого?

— Где же вы были все это время?

Николов уже не улыбается и сердито отвечает:

— Это никого не касается, где я был.

Вот это точный ход. Действительно, пока не возбуждено уголовное дело и не начато официальное следствие, он вправе не отвечать на такие вопросы.

— Да, конечно, — соглашаюсь я. — Пока вы можете на этот вопрос не отвечать. Вернемся к гостинице. В день вашего действительного отъезда в номере «люкс», который вы занимали, произошла кража.

— Ни о какой краже я не знаю, — нервно возражает Николов. — Я уже говорил. И у меня ничего не пропало. А паспорт у меня украли позже, в дороге.

— Да, паспорт у вас, видимо, украли позже, — соглашаюсь я. — Но вор, забравшийся к вам в номер, задержан и, представьте, сознался.

— Понятия об этом не имею, — упрямо повторяет Николов. — Не было у меня кражи, и все.

— Однако мы изъяли у него ваши вещи. Вот. Узнаете?

Я достаю злополучные кофточки, украденные Мущанским из «люкса», и показываю Николову.

Он спокойно, хотя и с некоторой неприязнью смотрит на них и качает головой.

— Это не мои вещи.

Что ж, надо признать, что некоторая логика в избранной им линии поведения есть, хотя ни к чему хорошему она не приведет.

— Они взяты из вашего номера,— говорю я.— И есть свидетели кражи. Дежурная по этажу, горничная.

— Вполне возможно. Но я свидетелем быть не могу.

— Конечно. Вы пострадавший. Вы, так сказать, жертва.

Я с трудом сдерживаю улыбку.

— Да никакая я не жертва! — взрывается Николов.— Первый раз слышу об этой краже! И не понимаю, чего вы от меня хотите в конце концов. Какие-то кофточки!..

— Иван Харитонович,— говорю я.— Дело гораздо серьезнее, чем вы полагаете. Вот послушайте. После кражи вы внезапно и поспешно скрываетесь, заявив дежурной, что вам срочно надо вернуться в Пензу. Это был обман, в Пензу вы не поехали. В Москве вы вели себя тоже достаточно подозрительно. Об этом свидетельствует, в частности, жилец соседнего номера, с которым вы познакомились, некий Виктор, вы его помните?

— Не знаю такого! — с вызовом отвечает Николов.

— А Варю, с которой вы познакомились на трикотажной фабрике, вы тоже не знаете? Очень красивая женщина, кстати.

— Также не знаю!

— А она вас хорошо запомнила. Вы ей собирались подарить такой роскошный браслет. Как же так, Иван Харитонович?

— Повторяю, никакой Вари я не знаю и на трикотажной фабрике никогда не был.

— Ну, хорошо,— примирительно говорю я.— Оставим пока эту кражу. Займемся другим фактом, если вы не возражаете.

— Возражаю,— буркает Николов.

— И все-таки придется заняться. Он касается вас, раз вы жили в том номере. После вашего отъезда мы нашли там листок с какими-то расчетами. Не могли бы вы нам их объяснить?

Я протягиваю ему листок. Но Николов, бросив мимолетный взгляд на него, отстраняет мою руку.

— Извините, но я ничего подобного не писал.

— Вот как? А вы все-таки возьмите и посмотрите на обратную сторону. Здесь отпечаток записки, написанной на предыдущем листке,— поясняю я.— Вот увеличенная фотография ее, сделанная в косых лучах. И наши эксперты не только ее прочли, но и установили автора. Это вы писали, Иван Харитонович.

— Я?!

— Да, вы. Вот текст записки. Прочтите.

На румянном лице Николова проступает беспокойство. Но по мере того, как он читает записку и улавливает ее смысл, беспокойство сменяется очевидной тревогой.

— Это не я писал,— говорит он и отодвигает от себя лежащие перед ним бумаги.

— Вы, Иван Харитонович. Вот заключение экспертов. Прочтите.

— Не желаю! — почти кричит Николов.— И грош цена вашим экспертам в таком случае!

— Она написана вашим почерком,— терпеливо говорю я.— Вашим. Тем самым, каким вы заполняли регистрационный листок в гостинице. Понятно вам?

— Ошибка! Вот мой почерк! Вот! Смотрите!

Николов дрожащими пальцами открывает свой чемоданчик и лихорадочно роется в лежащих там бумагах.

Я с усмешкой спрашиваю:

— Что же, в Москве вы писали другим почерком? Тогда зачем, разрешите узнать?

— Да нет же!

Тут Николов, видимо, на что-то решается, перестает рыться в своем чемоданчике и, оглянувшись в сторону Игоря и Rogозина, понизив голос, говорит:

— Ну, хорошо. Можно с вами поговорить наедине? Я отрицательно качаю головой.

— Нет. Этот товарищ приехал со мной из Москвы,— указываю на Игоря.— А это начальник уголовного розыска Пензы. Они должны все знать. Так что наедине разговор не получится.

— Ну, хорошо, хорошо! — взволнованно восклицает Николов.— Но секреты вы по крайней мере умеете хранить?

Я с удивлением смотрю на него и машинально отвечаю:

— Да, конечно,— но тут же с улыбкой добавляю: — Впрочем, смотря от кого.

— От моей жены, например!

— Да, тут вы гарантированы, будьте спокойны.

Я начинаю ощущать неясное беспокойство. Мне кажется, Николов собирается выкинуть новый фокус, я почему-то не уверен, что мы сможем быстро в нем разобраться. Пожалуй, Николов не так прост, как это мне показалось вначале.

— Так вот...— торопливо произносит он, наваливаясь грудью на стол,— если хотите знать, я никогда не жил в той гостинице, ни одного дня! И паспорт у меня украли сразу, как я приехал в Москву, в ресторане, на вокзале. А жил я все время... ну, у одной знакомой, в общем. Если уж на то пошло, можете проверить. Я вам дам адрес. И жильцы соседних квартир подтвердят. Пожалуйста! И вы можете устроить новую экспертизу с моим почерком! И можете показать меня там, в гостинице! Ноги моей там не было!

Я ошеломленно смотрю то на него, то на Игоря и Rogозина. Они с таким же изумлением смотрят на меня.

Значит, в гостинице по его паспорту жил совсем другой человек, двойник этого Николова!

(Продолжение следует.)

Евгений Храмов



Диккенс

Время голода, мрака, дикости
Надвигалось с той стороны.
Почему-то читали Диккенса
Очень много во время войны.

Оступаясь, по льдистой темени,
В скудно топленные дома,
Как послы от мирного времени,
Приходили его тома.

От сверчка на печи, от камина,
От стола, где млеет пирог,
Приходили в мир сахарина,
Мокрой соли, худых сапог.

О великие сочиненья!
Похищенья и разоренья,
И всегда счастливый финал.
Нет, не умер ваш славный автор,
Будет жить и сейчас и завтра,
Потому что многое знал.

Он смотрел сквозь рассветный пепел,
Видел он Бонд-стрит и Уайт-Чэпел,
Темзу, залитую серебром,
Видел клерков склоненных затылки
И упрямое пламя копилки
Там, в Казани, в сорок втором.



Любимая, пишу тебе, пишу.
Когда еще себе я разрешу
Так говорить бессвязно и свободно
О счастье, о любви — о чем угодно,
О том, чем я живу и чем дышу.
Но, видно, не дано карандашу —
Перечитаю, вижу: все негодно.
В ряд выстроюсь, теряются слова,
Смолкают на бумаге междометья.
И ты права: наверно, только дети

Все высказать умеют.
И трава.
Я буду говорить с тобой рекой,
Движеньем листьев, воротом колодца,
И если я вот здесь взмахну рукой,
То ветка над тобою там качнется.
А это значит — я тебе сказал,
Что я живой, что я здоров и весел,
Что я туманы по кустам развесил
И паутину первую связал,
Что на дворе сентябрь и бабье лето.
И долго нету от тебя ответа...



Началом всех начал был переулочек.
В нем жили, заселяя все углы,
Скандалы воробьев и запах булок,
«Старье берем» и шарканье метлы,
«Прощай, мой табор» из раскрытых окон,
И ржавые качели во дворе,
И лысый злоющий управдом Нароков,
Ушедший с ополчением в сентябре.
[Хотя б за это новые кварталы
Ему всю жизнь завидовать должны,
Хотя ему, конечно, не хватало
Их высоты и звонкой белизны.]
Он не был асфальтирован — заминка
Случилась где-то в планах. Оттого
Булыжная недвижная Ходынка
Теснилась перед окнами его.

Булыжник... Где он, тот рабочий Шадря,
Который «Варшавянку» запевал,
Которому свинец, картечь и ядра
Булыжник переулочка заменял!
Да, где же он! — В цехах автозавода,
В крупнопанельном доме в Люблино,
Среди простых предметов обихода,
За громкими столами домино.

Любитель предвоскресной вечеринки,
Вот входит он в привычный свой подъезд,
Нагнется вдруг зашнуровать ботинки,
И сразу мы узнаем этот жест.
И залпы раздаются, злы и гулки,
И красный ветер вьется у древка.
Но я ведь не о нем — о переулке.

Мой переулочек...
Нет — моя река!

Он был рекою: мели, перекаты,
Водовороты и уступы скал,
Его крутило в устье, у Арбата,
А возле дома семь он затихал.

Он был рекою: левый берег выше
Был правого.
На правом берегу
Дома стояли, нахлобучив крыши,
Смирнехоньки, по щиколку в снегу.

Моя река — она течет донныне,
Иной дороги не было и нет,
От мальчика в матроске темно-синей
Ко мне сейчас.
Сейчас мне сорок лет.

Владимир Рецентер



Что производят в ранг события:
покупку, возведение стен,
внезапный холодок открытья
иль тихий день без перемен!..

Что станет важным в жизни дальней:
ночной раздор, лицо в слезах,
иль этот поцелуй прощальный,
иль долгий вечер при свечах!..

Что рубежом решим означить:
женитьбу, выпуск, переезд!
О чем на старости судачить,
когда и думать надоесть!..

Кто знает!.. Острый вкус мгновенья,
дарованный тебе и мне,
прекрасен... Тень предназначенья
равно лежит на каждом дне...



Летать, испытывать судьбу,
страшиться нового полета...
Ведет со временем борьбу
приверженец Аэрофлота.

Ведет подсчеты в голове,
спеша к назначенной калитке.
По Гринвичу и по Москве,
то в выигрыше, то в убытке...

Но, налетав километраж,
не стыдный для воздушных асов,
он каждый раз впадает в раж,
как школьник самых младших классов.

Не застегнув своих ремней,
простясь с родной землей отныне,
он вновь возносится над ней,
в невольной мучаясь гордыне.

О чем он думает!.. О ком!..
Какие он дает зарок!..
О беге!.. О ходьбе пешком!..
Или о жизни кратком сроке!..



Собака лает, ветер носит
тоску по доброму щенку,
что в нас живет и есть не просит,
а носом тычется в строку.

Его сородичи любые,
гуляющие там и тут,
идут с ним рядом, как родные,
в собачьи игрища берут.

И поражает нас, как чудо,
отзывчивая жизнь щенка,
он к нам бежит бог весть откуда
без повода и повода.

Три стихотворения о пейзаже

Пригород

Пейзаж не существует без сосны,
без загорода, грядки и времянок.
Проселок, луг и лес обречены
на белые туманы спозаранок.

Тут красят в синий и зеленый цвет,
кирпично-красным покрывают крыши,
и на соседа щурится сосед:
чей дом прочней и чей участок выше.

В пейзаж врастают ягоды, цветы,
и сажены, и елка, и картофель...
Но вот на первый план выходишь ты,
садишься между мной и лесом в профиль.

Пейзаж не существует без тебя,
без голубого дачного наряда,
без мальчика, что, весь покой губя,
влетел в него со скоростью снаряда.

В него приходят стуки молотков,
и звук пилы, и голоса моторов
с недалекого шоссе, и я готов
собрать их вместе, не боясь повторов.

Пейзаж не существует без забот
о школьной форме и костюмной паре,
без жалобы на высокосный год
с известием о торфяном пожаре.

Пейзаж не существует без меня,
предчувствия, и памяти, и боли,
без дальних стран, настольного огня
и голоса, парящего на воле.

Средняя Азия

Пейзаж, загадка, небо и земля,
торжественные перемены света...
Как намекали эти тополя
на предстоящий поворот сюжета!..

Не я избрал скрипящую арбу,
густую пыль дороги азиатской,—
сам этот край, узнав мою судьбу,
запоминался с жадностью пиратской.

Пейзаж, молчалиник, взгляд издалика,
незаменимый фон воспоминаний...
Зачем твой профиль вывела рука
поверх туманных горных очертаний!

Журчи, арык!.. Скажи мне что-нибудь,
душа моя!.. Кого еще мы встретим
там, вдалеке!.. Гляди, еще чуть-чуть,
и тот пейзаж соединится с этим...

Грибоедов на прогулке

Постигнуть смысл пейзажа
не может трезвый ум.
Весь Летний сад на страже
своих сокрытых дум.

Его хранит решетка,
окружная вода.
Напрасная пролетка
подъехала сюда.

И ты глядишь напрасно,
задумчивый ездок.
Желание не властно
над легким бегом строк.

Но пушка крепостная
ударит за спиной,
и боль пронзит сквозная
о тех, кто за стеной.

Забьется сердце гулко
от горя и стыда...
Так вот зачем прогулка
вела его сюда!

Вот почему, как узник,
неразговорчив сад!..
Пейзаж, пейзаж, союзник,
сочувственник, собрат...

Валентин Сидоров



И опять нахлынуло, вернулось,
И опять в тускнеющей дали
Перед нами плавно развернулась
Голубая летопись земли.

В серебристом зябком полумраке,
Письменами вдруг оборотясь,
Вспыхнули таинственные знаки,
Поплыла торжественная вязь.

Что пророчит клинопись немая!
Что тревожит тишину и гладь!
Понимаем? Нет, не понимаем.
Начинаем только понимать.

За бугром, за каждым поворотом
Все для нас неведомо почти.
Мы коснулись только переплета,
Буквы лишь заглавные прочли...



А мир совсем не замкнут и не строг.
Наоборот: приветлив и доверчив.
Прозрачным светом каждый лепесток
Отчетливо и радостно очерчен.
И не страшится из-под самых ног
Вспорхнуть тебе неведомая птица.
И, понимаешь, если б даже мог,
Ты б не хотел сейчас уединиться.
Полна звучаний тишина полей,
И слышу я в забвении коротком,
Как нарастают шорохи теней,
Как тяжело дышит рыжий муравей,
Как будто спринтер, пересекший тропку...



Спасибо, снег, что ты идешь,
Спасибо, снег, что ты не таешь,
Что, закрывая небо сплошь,
Ты очарованно витаешь.

Спасибо, снег, что не спешишь,
На нас не смотришь с недоверьем,
И что опять объяла тишь
Оцепеневшие деревья.

Спасибо, снег, что все вокруг
Опять полно одним тобою
И что пронизывает дух
Твое дыханье голубое.

Ты вновь царишь на скатах крыш,
Ты заровнял бугры и кручи.
Спасибо, снег, что ты молчишь
И что меня молчанью учишь.



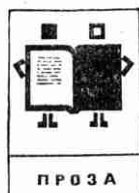
Пусть бой сейчас беззвучен и незрим.
Но от того, что вокруг тебя творится,
Не можешь ты неведением своим,
Как некогда, уже отгородиться.

Еще страшней и тяжелей бой,
Когда они без грохота и дыма.
И мысли светоносные твои,
Как никогда, сейчас необходимы.

Не насыщай сомненьями свой слух:
Что я могу, коль разобраться строго!
Любая мысль, врачующая дух,—
Как это много, беспрдельно много!

Пыланье света, нарастанье тьмы —
И промедленью нету оправданья.
Никто другой, а мы с тобою, мы
Ответственны сейчас за мирозданье.

АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ



ОБМАН

Часть четвертая

ПОБЕГ

ПОВЕСТЬ

I

Бабушка стоит посреди комнаты босиком, в длинной белой рубашке — вылитое привидение. Косички дрожат у нее на плечах — она плачет, но в руке держит ремень.
— По ночам шляешься! — говорит бабушка, стараясь быть грозной.

Сережа обнимает ее, целует, поднатужившись, отрывает от пола.
— Господи! — плачет бабушка. — И пьяный! — Но Сережа лезет в карман, поднимает над головой несколько цветных бумажек — свою зарплату.

Слезы у бабушки просыхают.
— Не знала, об чем и думать, — говорит она, — куда бежать: то ли в морг, то ли в милицию?

Она накидывает халатик, приносит Сереже молоко, хлеб, колбасу.
Сережа жадно ест. Потом ложится на раскладушку, разглядывает цветочки на дешевеньких обоях, которыми бабушка оклеила комнатку. «Как у Пушкина, — думает он. — «Воротился старик, глядь — стоит прежняя избушка, на пороге сидит его старуха, перед ней разбитое корыто...» Много захотел, — издевается он над собой, проваливаясь в сон. — Сыном стать... Брата или сестру...»

Он просыпается от толчков. Ничего не понимая, открывает глаза. Бабушка трясет его за плечо.

— За тобой пришли! — плачет она. — Что наделал-то?

Он встает, подходит в трусах к столу.

Возле двери — молоденький милиционер. За ним — Авдеев и какая-то женщина.

— А! — говорит Сережа, не удивляясь. — Здрасьте-пожалте, гости добрые!

— Он еще и острит! — говорит милиционер. — Давай-ка одевайся!

Сережа натягивает штаны, причесывается, целует бабушку в щеку и говорит ей:

— Ты не волнуйся! Спи! Я просто папаше окна выставил!

— Окна ты выставил не папаше, — говорит милиционер, присаживаясь, — а совсем другим людям.

Другим людям! В Сереже что-то обрывается. Какая глупость! Почему другим?

Сережа молчит, растерянно глядит на бабушку и клянет себя.

— Товарищ сержант, — говорит Авдеев, — но мы же уже договорились с Клавдией Петровной, — он глядит на кивающую женщину, — полюбовно,



Рисунки
Геннадия
НОВОЖИЛОВА.

Окончание. Начало см. в № 8 и в № 9 за 1973 год.

так сказать, миром, я все оплачу, и к мальчику у нас больше нет претензий...

— У вас к нему нет, а у меня есть, — отвечает милиционер, — я, если хотите знать, о вашем же сыне беспокоюсь, хоть вы и порознь живете. Сегодня он окно высадит, а завтра кем станет? — Милиционер постукивает карандашиком, фуражку снять ему и в голову не приходит. — Мы фиксируем, — втолковывает он Авдееву, — все факты хулиганства подростков и, если вот бабуся с ним не справляется, можем путевочку в колонию выписать.

Сереза разглядывает милиционера и никак не может простить себя. И вдруг поражается: но за что же он хотел выбить окно Авдееву? Кто ему этот человек? Сам же говорил: вас нет, не существует! На душе мутно.

— Знаете, — говорит он, — вы меня простите, это вышло случайно, я выпил.

— Ну вот! — хлопает белесыми ресницами милиционер. — Как говорится в худфильме — признание прокурора президенту республики.

Он распахивает блокнот, начинает что-то быстро писать.

— Товарищ милиционер! — зовет к нему Авдеев.

— Мы же договорились, — неуверенно просит пострадавшая Клавдия Петровна, бабушка снова плачет, но сержант их не слышит.

— Значит, вы с ними не живете, — говорит он как бы сам себе, но обращаясь к Авдееву, — с мальчиком одна бабушка. Как фамилия? — Он мельком вскидывает на нее глаза. — Подросток хулиганит в пьяном виде, и уследить за ним некому.

— Погоди! — говорит бабушка. В глазах у нее решимость.

Милиционер перестает писать, снимает наконец фуражку, сурово оглядывает бабушку, не в силах понять, по какой такой причине она сбивает его мысль.

— Погоди! — повторяет бабушка. — Есть еще кому за него заступиться, у него еще отчим имеется.

— Где же он? — удивляется милиционер.

Бабушка суетится, бормочет под нос:

— Сей минут, сей минут! — Потом бросается к выходу, кричит: — Я ему позвоню!

Сереза досадует на бабушку, клянет себя за дурость, за непростительную свою ошибку и объясняет:

— Она же зря пошла, понимаете, отчим со мной не живет, он ушел после смерти мамы, и вообще ведь виноват я...

Милиционер разглядывает Серезу — слушает и не слушает. Потом спрашивает:

— Что пил-то? И с кем?

— Портвейн, — отвечает Сереза, а дальше врет: — на именинах у одного мальчика...

— На именинах, — вздыхает милиционер. В голосе его Сереза не слышит прежней решимости. — В первый раз?

— В первый, — говорит Сереза.

— Если штраф надо, товарищ сержант, — перебивает его Авдеев, — вы сразу скажите, я готов хоть сейчас, все-таки Сереза — мой сын, я обязан...

Гнев душит Серезу: «Все-таки сын!»

— Товарищ Авдеев! — дрожащим голосом произносит Сереза, и отец его испуганно сверкает очками. — Товарищ Авдеев! — зло и настырно повторяет он. — Что вы тут меня защищаете? Что вы все откупаетесь? Я не нищий, я работаю и без ваших забот обойдусь!

Милиционер поднимается, прохаживается по комнате. Сереза не верит Авдееву. Он знает, что Ав-

дееву надо все загладить. Чтоб никто ничего не подумал...

Щелкает ключ в замке. На пороге стоит бабушка. Косички снова развязались и болтаются на плечах. — Не пошел, — произносит она растерянно. — Я, говорит, сплю и все равно с вами не живу. Не отвечаю.

Милиционер останавливается, задумчиво глядит на бабушку, дымит папиросой. Потом подходит к столу, сует в карман свой блокнот и молча выходит. За ним исчезает женщина.

— Эх, ты! — говорит Авдеев с порога и шевелит желваками. Потом плотно прикрывает дверь.

Сереза облегченно вздыхает.

— Глупенькая ты моя, — говорит он бабушке и жалючи, как маленькую, гладит ее по голове.

А бабушка опять плачет.

Постепенно она затихает, и чем тише всхлипывает, тем больше саднит Серезе душу, колет досада на самого себя.

2

Сереза просыпается рано, еще нет шести. Медленно обходит квартиру. Собирает в «авоську» Никодимовы подарки. Альбом с марками. Книжки. Боксерские перчатки. Ласты, трубку, маску. Футбольный мяч. Выводит из угла велосипед.

Он стирает ладонкой пыль с зеркала, глядится в него. Год только... Целый год...

Сереза вспоминает, как свалился, заглядевшись на себя в это зеркальце... Глупый был, совсем пацан.

Из всех Никодимовых подарков Серезе жаль только велик. Да и то не потому, что он ему нужен. На велосипеде он катался в прошлом году, нынче ни разу не сел даже. Просто потому... В общем, ясно. Сереза вздыхает.

Сереза представляет, как вчера ночью стоял сонный Никодим у телефона, в одних трусах, с измятыми щеками, как слушал бабушкины слова, как бегали у него глаза, как сказал он бабушке свое решение. Ясное дело, что Серезе он стеснялся, пацана, потому что говорил ему когда-то совсем другое, а перед старухой стыдиться не приходилось, чтобы раз и навсегда все было понятно. Испугался. Может, и не испугался, а не захотел. Твердо сказал, что отношения не имеет...

Бабушка глядит на него пригорюняясь, но молчит, не возражает. Еще бы! Это ведь ей вчера досталось. Эх, бабушка, добрая твоя душа...

Сереза вешает «авоську» на руль, выкатывает велосипед на улицу. Сначала он ведет его просто. Потом садится.

В последний раз!

Педали радостно поскрипывают, наконец-то они крутятся, потренькивает звонок, когда колеса попадают в выбоины, мягко шуршат шины. Вот так... Все это было, теперь не будет. Это — прошлое.

Сереза не торопится. Делает круг по городу. От их с бабушкой комнатки к дому, где было счастье. Потом к другому, старому, где они с мамой много лет прожили, где было хорошо и покойно. «Интересно, — думает Сереза, — висит ли то объявление на двери: «...а то мозги вылетят!»? И живет ли та сварливая соседка?» Потом Сереза проезжает мимо школы, словно прощается со всем этим миром, миром детства, горестного и счастливого. У Галиного дома Сереза притормаживает, глядявается, вилля рулем, в пустые окна. Наверное, еще спит.

Велосипед едет медленно, нехотя, будто знает:

следующий этап — Никодим. Однокомнатная его квартира, где он теперь живет.

Сережа решительно крутит педали, резко тормозит, втаскивает велосипед на четвертый этаж. Перед тем, как позвонить, снова гладит зеркальце.

Прощай, велик! Передавай привет!... Кому?

Прошлому лету!

Он нажимает на кнопку. Слышит шаги за дверью. Гремит цепочка, на пороге — заспанный Никодим.

— Получите ваше имущество, — говорит спокойно Сережа.

Никодим что-то там лопочет, но Сережа шагает вниз.

Он идет по городу.

Хотя еще утро, солнце горячее, будто близкая печка, слепит глаза, выбивает пот. Август, а как в июле. Время есть, Сережа шагает просто так, без цели и вдруг носом к носу сталкивается с Литературой.

В руках учительница держит бидончик и «авоську», полную всякой снеди: помидоры, огурцы, но главное, арбуз. Арбуз оттягивает ей тонкие руки.

— Сереженька! — обрадованно восклицает Литература. И вдруг умоляет: — Ну-ка, помоги!

После вчерашнего? Как у нее язык поворачивается просить помочь после вчерашнего? Сережа сердито разглядывает бывшую родственницу, он готов отказаться, но вид у Литературы жалкий, усталый, волосы совсем закрывают глаза, а она не может даже откинуть их — заняты руки. Да ведь и не было ее вчера, наверное, у Никодима. Не знает она ничего... Он молча берется за «авоську».

— Сейчас к Никодиму зайдем, — болтает учительница. — Отрежу тебе арбузика. На рынке открывала — уж такой яркий, такой сахаристый!

«Как же, — думает Сережа, — непременно зайду!» А сам понимает: значит, не знает еще ничего. Но что ему за дело? Пусть знает! Донесет вот он «авоську» до подъезда, а там пусть катится...

Сережа шагает, глядя себе под ноги, перехватывает часто «авоську» из руки в руку, молчит, но Литература и не требует от него ответов. Ей носильщик нужен, вот и все.

Она перебирает всякую безделицу — сколько народу на рынке, как все дорого, — и вдруг говорит:

— Сережа, Никодим у вас помазок для бритвы оставил, две майки и тренировочные брюки, хлопчатобумажные, в суете развезжались, понимаешь... Посмотри...

Сережа останавливается. Голова у него начинает кружиться. Все быстрее, быстрее.

— Что? — переспрашивает он. — Помазок и брюки?

— Да, да, — улыбается доброжелательно Вероника Макаровна, — и две майки.

Сереже хочется вдруг спросить ее. Задать один вопрос.

— Я ночью разбил окна людям, — говорит он, топясь, — и бабушка позвонила Никодиму, чтобы он заступился, понимаете? А он сказал: я ничего не знаю, я с ними теперь не живу.

Сережа видит, как вытягивается лицо Вероники Макаровны. Она переступает с ноги на ногу, мучительно думает, что ей сказать: что-то борется в ней, какие-то слова. Наконец успокаивается. Смотрит на Сережу уверенно.

— А что же, — говорит, — он должен был сказать? «Ну, вот и все! — облегченно вздыхает Сережа. — Все ясно».

Он кладет «авоську» на землю, кивает учительнице и убегает.

Он вспоминает тот летний вечер, когда Литература пришла к ним в гости. И маму — напряженную, злую. Да, да, да! Мама была права! Тысячу, миллион

раз! Нельзя было верить. Ни на минуточку. Все представлялась эта Вероника Макаровна. Даже тогда, когда говорила: у нас похожая судьба. Может, и похожая была, да мама никогда бы так не сказала. Не стала бы выгораживать своего сыночка перед своим же учеником.

Сережу душит обида, слезы набегают на глаза.

— Эх, вы! — шепчет он. — Благородные люди!

3

В студии записывают «Трех мушкетеров». Еще вчера Сережа думал об этом с интересом, сегодня все кажется ему глупым, бездарным обманом: эти жирные, старые мушкетеры, с которых градом катится пот, их неумелое брэнчание шпагами, громогласные фальшивые слова.

В разгаре записи совсем не по пьесе с грохотом одна за другой взрываются две лампы. Освещения недостаточно, и режиссер на пульте кричит по радио:

— Осветители! Андрон!

Андрона в студии как назло нет, он выскочил куда-то, и режиссер набрасывается на Сережу:

— Немедленно менять лампы! Никакого порядка! Набрали сопляков!

— Я эти лампы не делал! — кричит Сережа режиссеру и бежит на склад, но теперь куда-то исчез кладовщик. Сережа обегает коридоры, заглядывает во все комнаты, наконец находит его в самом неподходящем месте. Разъяренный кладовщик орет, будто Сережа последний тиран и мерзавец.

— При чем же тут я? — объясняет Сережа. — Ведь запись, простой!

— А при чем я?! — кричит взвинченный кладовщик. — Ну, это занюханное телевидение! Никогда никакого порядка! Уйду!

Назло Сереже и всему свету он копается, пишет через копирку какую-то бумагу, дает Сереже расписаться. Наконец выдает две лампы. Сережа мчится по коридору к студии. Лампы большие, он держит их широко растопыренными пальцами. И вдруг распахивается дверь какой-то комнаты, Сережа шарается к противоположной стене, одна лампа вылетает из его вспотевших пальцев и с торжественным звоном разлетается на мельчайшие осколки. Сережа готов завывать от обиды, от неурядицы, но в дверях, которые распахнулись так неожиданно, стоит Андрон. Он все понимает, кивком головы велит Сереже бежать в студию, а сам мчится к кладовщику.

Режиссер на пульте совсем сходит с ума.

— Скорей, скорей, скорей! — орет он голосом, усиленным динамиком. — Кончается время!

Сережа вкручивает свою лампу, в студии появляется Андрон с озабоченным лицом и еще одной лампой. Вид у него такой, что режиссер молчит: вообще с Андроном лучше не связываться... Лампы вспыхивают, в студии солнечно и ярко. «Трех мушкетеров» начинают записывать снова, пожилые толстяки опять стучат шпагами.

Сережа сидит в своем углу, сжав голову руками, почти в отчаянии.

К нему на цыпочках подходит Андрон.

— С похмелья? — шепчет он и кивает на голову.

Сережа закрывает глаза. Ни о чем не хочется говорить.

После записи они сидят в буфете. Глотают безвкусные сосиски. Пьют лимонад.

— Поскорей жуйте! — шумит на них буфетчица, пожилая тетка с плоским лицом. — Пора уходить!

Вас ведь тут никогда не накормишь, идут и идут, идут и идут!

Сереза видит, как буфетчица считает стопку денег. Целую кучу.

Денег... Много денег.... Его осеняет: «А нужно только триста! Прийти и отдать. Вместе с помазком и этими хлопчатобумажными брюками. Ничего не говорить, отдать только. Или сказать: вот вам ваши игрушки... Как в детстве... Подачки мне не требуются!»

— Андрон,— говорит Сереза,— одолжи три сотни.

Тот крутит пальцем у виска.

— Тебе куда столько?

Сереза говорит ему про размен. Про Никодима и его матушку. Про триста рублей, которыми бабушка соблазнилась и которые дают и унижают его. Про вчерашнее. Про Литературу—как колебалась она, что ответить.

Андрон чертыхается.

— Все в мире разделено на две половины,— говорит он.— В цвете—черное и белое. В морали—высокое и низкое. В характерах—хитрость и простота... Вот ты пацан еще, поэтому простой, неопытный. А твои эти... родственники... Ей же своя рубашка ближе к телу. А справедливость—как бог на душу положит...

Сереза кивает головой. Правильно рассуждает Андрон.

— Но не все так просто,—продолжает Андрон.— Ты трактат Чернышевского читал? Об отношении искусства к действительности?

Сереза мотает головой. Что-то он плохо понимает.

— Слушай сюда!—воскликает Андрон.— Сейчас поймешь!.. Вот в болоте! Лягуш на лягушку глядит, и нет для него никого прекраснее. А меня, может, от вида этой лягушки тошнит. Это теория, понимаешь? Теория, которая нам позволяет глядеть на мир диалектически, потому что все относительно.

— Вы кончите, нет, пустобрехи?—взрывается буфетчица.— И молотят и молотят, вот язык-то без костей!

— Зато у тебя,—говорит Андрон,— язык с костями. Я имею в виду телячий язык и рыбы кости—все в одной тарелке.

— Чистоплюй нашелся!—орет буфетчица.— А ну давай отсюда!

Она кладет деньги в ящик, вделанный в прилавок, щелкает замком, машет руками.

— Все! Закрываю!

Андрон и Сереза идут на улицу. До передачи есть полчаса. Они забираются за кусты в парке, ложатся в траву.

— Итак, исходя из Чернышевского,—продолжает Андрон,—на вещи можно смотреть по-разному. Сейчас ты на родственников этих глядишь, как слабый на сильных. Но вот ты достаем триста рублей, швыряешь им и уже—что?—смотришь на них, как сильный на слабых.

— Это верно!—говорит яростно Сереза.—Очень верно! Но где взять триста рублей?

— Вот это интересный вопрос,—объясняет Андрон.— Уже по Достоевскому. Помнишь, в болоте все прекрасны. А я давно говорю, что вся наша жизнь—болото. Чем меньше в него влезаешь, тем лучше. Но это—другое дело. Итак, теорема: ты в болоте. В болоте?—спрашивает он Серезу.

— В болоте,—соглашается тот.—Да еще в каком!

— Значит, напрашивается вывод: не бойся запачкаться. Все равно в болоте. Ведь, запачкавшись,

ты как бы сразу очистишься: отдашь эти три сотни, швырнишь им в лицо!

— Украсть, что ли?—не понимает Сереза.

— Во брякнул!—поражается Андрон.— Это уж слишком уголовная мера... Ну, продай что-нибудь... Займи до завтра, а сам не отдай... Что-нибудь такое мирное. Аморальное, но не совсем.— Он потягивается в зеленой траве.— Я бы тебе дал,—говорит он,—даже аморально, до завтра, но с обманом. Да ведь нету! — Андрон зевает и декламирует:—«Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...»

— Слушай, Андрон,—спрашивает вдруг Сереза,—а ты кто?

— Как кто? Старший осветитель.

— А еще?—добивается Сереза.—Кто ты в самом деле?

— Натуралист,—отвечает Андрон добродушно.

— Как, как? — не понимает Сереза.

— Ну, на жизнь смотрю натурально. Без всяких прикрас.

4

«Э» то верно,—размышляет Сереза на передаче,—жизнь надо рассматривать без всяких прикрас». Чем дольше он живет, тем больше в этом убеждается. На жизнь надо глядеть трезво, взросло, серьезно. Никто к тебе не придет и не скажет: «Сереза, вот тебе деньги. Пойди, швырни их Литературе. Вместе с их барахлом». Дядя Ваня прав. Жизнь надо самому двигать, а не ждать, пока повезет. Это не сани какие-нибудь, правильно. Деньги! Деньги! Чем больше думает о них Сереза, тем больше уверенности: обязательно! Обязательно надо отдать, и ошибается тетя Нина, которая не считает эти деньги оскорбительными. Очень здорово ошибается! Больше ничего не должно их связывать. Ничего. Ни помазок, ни та подачка.

Серезе не терпится, когда закончатся «Новости». После этого станут крутить детектив, подряд две серии—это два часа, не меньше, и, может быть, если тетя Нина согласится, они успеют к ней сбегать... Делать нечего, он решил занять у нее. Надо только не говорить, для чего.

«Новости» заканчиваются. Сереза поворачивает рубильник, лампы гаснут. Он идет в дикторскую. Тетя Нина сидит спиной к двери, держит в руках гитару.

— Садись, Серезенька,—говорит она ласково и тихо трогает струны.—Как дела? Все хорошо у тебя? С Андроном ладишь? Он забавный дядька, не правда ли? Этаким философом?

— Все хорошо,—отвечает Сереза,—с Андроном нормально...

Тетя Нина начинает играть, и Сереза вздрагивает. Мама! Это мама!

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная.
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...

— А кто,—словно в полусне, спрашивает Сереза,—кто у вас эта звезда?

— Котыка,—отвечает тетя Нина.

— А Олег Андреевич?—спрашивает он.

— И Олег Андреевич,—улыбается тетя Нина.

Сереза проглатывает комочек, подступивший к горлу. Все, как было. И даже ответы такие. Только мама головой мотнула, когда он про отца спросил. «Нет,—ответила она,—только ты». Се-

47

реже ясно теперь, почему она головой мотнула, почему так ответила...

Воспоминания наваливаются на него, давят на плечи. «Что бы, интересно, сейчас сказала мама, — думает он, — что посоветовала бы? Ясно: рассчитаться с Никодимом и Литературой. Но как?»

— Тетя Нина, — говорит Сережа, — одолжите триста рублей.

— У меня нет, — говорит она и удивляется: — Зачем тебе столько?

«И так неудобно, — думает он, — но что делать, спрашивал наудачу, на всякий случай».

— Один обязательный долг надо вернуть, — говорит Сережа.

— Я бы дала, — говорит тетя Нина, — без всяких разговоров, но сейчас нет. Может, терпит месяц? Или давай я перезайму.

Ну нет, чтобы тетя Нина еще занимала! Сережа отнекивается, объясняет, что это вовсе не обязательно, что найдет сам.

Он выходит из дикторской. Остается одно. Понтя. К нему приехал дед-генерал. Дед, наверно, богатый.

Сережа предупреждает Андрона, садится в троллейбус. Понтя дома, но генерала нет, только какой-то старик в шлепанцах на босу ногу и полосатой пижаме смотрит телевизор.

— Пантелеймоша! — говорит Сережа умоляющим голосом. — Попроси у своего генерала триста рублей. Во как нужно!

Понтя растерянно оглядывается, потом шепчет: — Зачем?

— Только не спрашивай, — говорит громко Сережа, — узнаешь потом! Ну, попроси у генерала!

— Ты что думаешь, — вмешивается вдруг старик у телевизора, — раз генерал, значит, миллионер?

— Нет, — объясняет горячо Сережа, — не миллионер, у нас они не водятся, но все же!

Старик качает головой. И тут только до Сережи доходит, что этот старик и есть генерал. У него в самом деле усы. И когда он покачал головой, усам нос погладил — точно так, как Понтя губой шевелил.

— Это вы и есть? — говорит растерянно Сережа. Он пятачки к двери, краснеет. — Тогда извините! — лопочет он.

Старик вскакивает с кресла, глаза его смеются, он забавно, как тараканище, шевелит усам.

— Ну, а если, — говорит он, — я триста рублей найду? Когда вернешь? Через неделю?

Сережа вспоминает Андрона. «Что-нибудь такое... — говорил он, — аморальное, но не совсем». Вот оно, не совсем аморальное, кивнуть, дать слово, а потом не вернуть.

— Ну, через две, — говорит генерал, и Сережа видит Понтино лицо сбоку. Понтя радуется, подмигивает: мол, бери. Но через неделю Сережа не вернет. И даже через две. Может, через полгода.

— Нет, — говорит он, — спасибо. Через две тоже.

— А мне к тому времени уезжать надо, — объясняет старик. — Я ведь, знаешь, хоть и генерал, а пенсионер, деньги на билет потребуются. На дорогу. На кое-какие покупки.

Сережа разглядывает доброго старика. Нет, он не может его подвести. И себя не может. На доброе злым не ответишь — рука не поднимется.

Сережа прощается с генералом и Понтей. Они жмут ему руку. Сережа выходит на улицу. Облегченно вздыхает.

Он улыбается. Ему нужны триста рублей, просто позарез нужны, но как здорово, что он не взял их у генерала. Ведь даже в зеркало сам на себя он не смог бы тогда глядеть.

Сережа едет домой. Бабушки нет. Куда-то ушла. Он открывает шкаф, где хранится одежда, перебирает плечики с мамиными платьями.

Сердце сбывается.

Вот в этом платье мама приходила в больницу, когда Сереже исполнилось четырнадцать. В этом ходила, когда ждала маленького.

Продать мамины платья? Только не это! Даже лучше украсть...

Сережа припоминает: плосколицая, злая буфетчица кладет деньги в ящичек, вделанный в прилавок.

Эти деньги, эта кипа мелькают снова и снова. «Сколько там? — думает он. — Рублей пятьсот. А то и тысяча!»

Он перебирает плечики в шкафу, сдергивает с них свое: недорогой костюмчик, купленный еще мамой, демисезонное пальто, рубашки. Это, конечно, не густо, думает он, связывая вещи в узел, но все-таки. Может, рублей сто?

В комиссионном магазине уже висит табличка «Закрывать», но Сережа подныривает под нее, видит накрашенную тетку.

— Неграмотный? — кричит она. — Уже восемь!

— Тетенька, — умоляюще просит Сережа, — примите вещи, мне деньги очень нужны.

— Всем нужны! — успокаивается тетка. — Но приемщица уже ушла — это раз. А главное — от детей мы не принимаем.

— Я не ребенок! — говорит Сережа.

— Паспорт есть? — обрезает его тетка. — Ну видишь, значит, ребенок.

Он выныривает из-под таблички на улицу, бежит домой. Пора! Скоро кончится этот детектив!

Бабушки все нет. Сережа бросает узел на стол. Кидается к двери. И вдруг останавливается.

Он шагает к шкафу, отыскивает на полке свои перчатки, сует их в карман.

Сердце бьется, словно молот.

Он бежит на студию спокойный и уверенный. Он знает, что надо сделать. Андрон говорил: не совсем аморальное. Надо сделать совсем аморальное. Украсть.

В студии вспыхивают лампы... Тетя Нина усаживается за столик... Операторы двигают камеры...

Сережа сидит в углу и ничего не видит. Его лихорадит предстоящее.

Украсть! Решено!

В конце концов буфетчица не пострадает. Ведь это будет кража. Ее не заставят вносить украденные деньги. Потом, когда он заработает эти проклятые триста, он ей вышлет. Так же, как украдет, — без слов. Уедет на окраину, в почтовое отделение, где его никто не узнает, и отправит перевод без обратного адреса. Впрочем, адрес можно выдумать. И, наконец, если там не триста, а больше, он остальное не возьмет. Оставит.

Операторы снимают наушники, в студии гаснет свет. Сережа прячется в декорационном складе, который рядом со студией и никогда не запирается. Все торопятся домой. Шаги стихают.

Сережа берет шпагу, которой сражался толстый мушкетер, пересекает темную студию, поднимается к буфету, тихо, как кошка, перепрыгивает через прилавок.

Вот он, этот ящик. Внутренний замок. Сережа достает из кармана перчатки, натягивает их, просовывает шпагу в щель, наваливается всем телом.

Острые шпаги с грохотом отламываются.

Сережа прошибает ледяный озноб. Он падает, вжимаясь от страха в пол. У вахтера внизу бубнит радио. Сережа поднимается. Снова просовывает в щель шпагу. Опять наваливается всем телом.



Сжимаясь, дерево под металлом издает странный, едва слышимый звук.

Он отдыхает, просовывает шпагу подальше. Щель постепенно становится шире, шире. Он наваливается снова. Квадратик металлического запора свободен. Планка с отверстием, врезанная в прилавок, больше не держит его.

Удерживая шпагой прилавок, другой рукой он выдвигает ящик. Сердце останавливается. Ящик пуст...

Нет, деньги там есть. Но не те, что он видел днем. Здесь нет кучи, а тонкая пачечка рублевик и мелочь. Мелочи много — ею усыпано все дно, тут встречаются и металлические рубли, но той, той пачки нет. Раздумывать нельзя.

Сережа хватается за деньги, сыплет в карман мелочь. Потом задвигает ящик обратно, достает сломанную шпагу. Прилавок опять накрывает замок. Следы от шпаги видны ясно, но замок закрыт.

Сережа нагибается, подхватывает обломок шпаги, на цыпочках идет вниз, пробирается в студию, затем в декорационный склад. Забрасывает шпагу за теснину фанерных щитов. Обломок кладет в карман. Потом идет к выходу.

На вахте сидит тетя Дуся. Дежурит она по очереди — то на радио, то здесь. Вахтерша разглядывает его приветливо.

— Задержался? — спрашивает она.

— Сегодня две лампы лопнули, — говорит он. — Такой грохот! Менял...

5

Сережа переставляет ватные ноги, в голове пусто.

Он приходит в парк возле студии. Бессознательно находит кусты, за которыми пил портвейн с Андроном. Ложится в траву.

Он лежит ничком. Сухие былинки колют щеки и лоб. Мимо, за кустами, проходят люди. О чем-то говорят. Смеются. Сережа слышит обрывки фраз, и ему кажется, что все рассказывают о нем.

Он вскакивает. Расстилает платок. Достает деньги. Считает их.

Руки трясутся. Он то и дело поглядывает на кусты и от этого сбивается. Снова считает.

Заканчивает в полном изнеможении. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек.

Он заворачивает деньги в платок. Получается небольшой узелок. Кладет его рядом. Опять лежит. Вечерний воздух холодит грудь, земля — спину.

— Украл! — шепчет он. И повторяет с ужасом: — Украл! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Может, если бы он украл триста, пятьсот, тысячу — сколько там было вначале, — его бы теперь сотрясало от страха, от ужаса, от сожаления. К страху он готовился. Он знал, на что идет. Но он украл не триста, не пятьсот, не тысячу. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Мелочью! И в этих ничтожных рублях да еще мелочи заключалось большее, чем страх. Низость! Подлость!

Его сотрясает от унижения. Он хотел украсть, но потом собрался отдать эти занятые таким способом деньги. Деньги были ему нужны — он хотел их взять, вот и все, и хотя это, конечно, преступление, но преступление объяснимое, вынужденное.

Но как он объяснит эти двадцать девять рублей шестьдесят копеек? Даже себе? Как?

Сережа то бежит по улице, то вдруг останавливается, прижимается к столбу, то идет скорым шагом... Куда, зачем, к кому?

Гангстер! Вор! Хорош вор! Мелкий паскудник! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Он вор! Только в кино гангстеры хладнокровны и великопелны, в самом же деле это мерзко, гадко, дерьмово... Зачем он все это сделал? К чему?

Он вспоминает, к чему. Вернуть три сотни Никодиму с мамашей. Чужие должны быть чужими. И навсегда забыть об этих родственниках. Забыть о прошлом. Но что же вышло?

Сережа больше не думает о сумме. Двадцать девять, триста, тысяча — не все ли равно. Он украл.

Сережа вспоминает о маме. Боже! Ведь он делал, помня о ней. Как бы мстя за нее. Мама бы швырнула три сотни Литературе, сомнения нет. Но она не стала бы красть для этого. Нашла бы другой способ достать их.

Взрослым легче, оправдывается перед собой Сережа, им проще найти триста рублей. А кто даст деньги пацану? Добрый Понтин генерал? И то на две недели, не больше, деньги не трава, на лугу не растут, они ведь всем, даже генералам нужны.

«Оправдываешься! — презирает себя Сережа. — Но разве можно оправдываться? Бог со мной, — думает он, — кто я такой в конце концов? Пусть посадят в тюрьму, и дело с концом. Но мама! Все знали тут маму. Сережа сам по себе никто. К нему еще никак не относятся: хорошо относятся к маме, к ее памяти, и он, Сережа, для людей не мальчик, а мамина тень, которую уважают.

Сережа бежит назад к студии. Он стучится в дверь, из-за нее выглядывает незнакомый старик. Ночной сторож. Тетя Дуся ушла!

«Все кончено, — думает он, — теперь уже ничего не поправишь, денег на место не вернуть».

Что делать? Что делать?

Он лихорадочно ходит по улицам. Потом бежит к Гале. Поздно. Она спит. Сережа вызывает ее во двор. Открывает рот, чтобы сказать, и не может. Он молчит, глядит удивленно на Галю, словно не в силах понять, зачем она тут.

Нет, он не может ей признаться. Галю поймет, это ясно, ни словом не упрекнет его, но он не может. Стыдно! Стыдно!

«К Олегу Андреевичу, — думает он, — скорее, скорее! Ведь он угрозыск, самый главный начальник в городе по ловле преступников». Вот он к нему и придет. Признается. Ведь можно же, можно что-то исправить!..

Сережа бежит к тете Нине и опять останавливается. Он как загнанный заяц.

К тете Нине нельзя. Нельзя к Олегу Андреевичу именно потому, что там тетя Нина. Ведь она привела его на работу. Она просила принять, хотя он несовершеннолетний, и добилась своего. Она говорила с ним каждый вечер, когда их дежурства совпадали, и даже пела, как мама: «Гори, гори, моя звезда!»

Что скажет он тете Нине? Вот, я украл? Признаюсь? Ведь на тетю Нину и так будут все пальцем показывать. Она, мол, его опекала. Худо опекала, значит, раз ограбил буфет.

Ограбил! Какое слово!

Сережа стоит, как вкопанный. Потом бежит опять. К реке. К мосту.

Вот здесь, кажется, глубокое место.

Сережа смотрит вниз, в смолистую черноту. Потом достает узелок с деньгами.

Двадцать девять рублей шестьдесят копеек — немного бумажек, остальное железом — булькают в темноте. Камнем идут на дно.

Он вытирает руки о штаны.

Словно выбросил какую-то грязь...

Он чувствует себя выжатым, изнуренным. Но облегчения нет. Напротив, ему кажется, что сделал еще одну подлость: избавился от доказательства, струсил совсем.

Сережа идет, пошатываясь. Хорошо бы умереть! Вернуться на мост, к тому самому месту, откуда бросил он платок с деньгами, кинуться вниз. Пусть думают, что хотят....

Он пересекает дорогу, чтобы вернуться к мосту... Внезапно раздается странный визг, что-то с силой толкает его в бок, он падает на землю, ощущая боль в ноге...

Сережа отплевывается, на зубах скрипит пыль, он чувствует приторный вкус крови, но это не пугает его. Как во сне, он поднимается на ноги, равнодушно разглядывает рваные брюки... К нему бежит человек — большая, темная тень. Наверное, надо удирать, но Сережа стоит. Ему все равно.

Запахавшийся человек хватается за плечо, молча оглядывает. Сережа видит — это летчик. Аэрофлот. Форменная фуражка, голубая рубашка с крылышками над карманом.

— Разбился? — испуганно спрашивает летчик. Голос у него трубный, низкий. Наверное, таким голосом можно свободно с самолета на землю кричать. Услышат.

Сережа молчит.

— Что же ты так, а, милый? — гроыхает авиатор. — Ведь я же тебя растоптать мог — крутой поворот, красный свет для пешеходов, и вдруг ты под колеса.

Он радуется, что Сережа жив, тащит его к машине, впахивает в вишневого цвета «Жигули». Рвет с места.

— Сейчас, сейчас! — говорит он. — Ранки промоем, брюки зашьем, все в ажуре будет. Не плачь! Но Сережу колотит. Ему не хватает воздуха, грудь разрывается, плечи трясутся.

— Потерпи, милый! — умоляет летчик и спрашивает: — Очень больно?

— Нет, — отвечает Сережа.

— Что же так плачешь? — спрашивает он озадаченно.

— Мама! — вырывается из Сережи крик. Вот только сейчас, только теперь, только сию минуту он понимает, что случилось. — Мама умерла! Понимаете?

Летчик молчит, «Жигули» летят по пыльному асфальту, а Сережа плачет навзрыд, плачет тяжело, без слез. Все, все, все, что было, все, что видел он и отчего страдал, — это же не отдельные происшествия. Не случайные факты! Всему этому есть общее имя. Вот оно: мамина смерть!

Смерть! Мамина!.. Мама умерла — вот что произошло. И только поэтому происходит все остальное! Машина тормозит, летчик ведет Сережу по ступеням какого-то дома, нервно звонит, им открывает женщина в стеганом халате, охает, провожает в кухню, тащит таз с теплой водой, промывает Сережу ранку на колене, смазывает йодом...

Ранку нестерпимо щиплет, это приводит Сережу в себя. Он больше не плачет. Его не колотит. Опять наваливается равнодушие.

Летчик приклеивает к коленке большой лист пластыря, объясняя, что пластырь не простой, а особенный, бактерицидный, он уничтожает всех микробов в ранке, не дает ей нагнаиваться. Сереже безразлично — даст или не даст. Он идет, прихрамывая, умываясь, послушно снимает штаны. Пока жена летчика зашивает их в комнате, Сережа раз-

глядывает огромного мужчину, занимающего почти всю кухню. У него толстый нос, большие толстые губы, брови растут кустами. Боже мой, поражается Сережа, да ведь это тот Герой — тогда, давным-давно, он вручал ему грамоты, и кубок, и часы. Доронин!

— Ну что же, — говорит летчик, — раз так, давай знакомиться. Меня зовут Юрий Петрович.

— А я вас знаю, — говорит Сережа. — Вы Герой. Вы мне давали награды во Дворце пионеров.

— Я тоже тебя помню, — отвечает Доронин. — Ты хотел стать летчиком. — Он хмурится. — А мама недавно умерла?

— Совсем недавно, — отвечает Сережа. — Это она все хотела, чтоб я летчиком стал. Говорила, отец мой — летчик, а он, оказывается, никакой не летчик... Я пойду, — говорит, волнуясь, Сережа. Мысль о краже подавляет его: он больше ни о чем не может думать.

— Без штанов? — удивляется Доронин. — Сядь. Это быстро.

Властный, рокошующий голос останавливает Сережу.

— Вы на «кукурузнике» летаете? — спрашивает он, лишь бы спросить.

— На «АН-2», — отвечает Доронин.

— Раньше немцев сбивали, а теперь на «кукурузнике» летаете, — говорит с упреком Сережа.

Летчик опускает голову, тербит толстый нос, потом неожиданно говорит:

— Значит, мама хотела, чтобы ты стал летчиком?

— Все равно, кем быть, — отвечает Сережа, — чем меньше горка, тем легче с нее падать. И вообще...

Он вспоминает Андрона. Все эти мечтания. Кому они нужны?

— В каком классе? — строго прерывает его Доронин.

— Работую, — отвечает Сережа. Уточняет: — Осветителем на телевидении.

— Вот так работа! — удивляется летчик. — Лампочки включать да выключать!

Летчик исподлобья разглядывает Сережу.

Женщина в стеганом халате приносит зашитые Сережины брюки, он одевается, идет с летчиком вниз, опять садится в «Жигули», слушает вкрадчивый рокот мотора, показывает дорогу.

— Вот что, парень, — говорит вдруг Доронин. — А кто в тебя все это напихал?

— Разве не правда? — усмехается Сережа.

— Ересь! — громогласно рыкает летчик. — Слышал такое слово? Ересь — это все! С такой философией в гроб ложиться да помирать!

— Я бы хотел, — задумчиво говорит Сережа.

— Между прочим, — зло говорит Доронин, — у меня тоже нет ни отца, ни матери. Даже бабушки нет, я детдомовец. А так, как ты, никогда не ныл, не распухался.

— Вам легче, — говорит Сережа, — вы Герой.

Летчик молчит, опустив голову.

— А летать бы хотел? — неожиданно спрашивает он.

— Нет, — усмехается Сережа. — Надоела мне вся эта болтовня. Прощайте!

Он выскакивает из машины, бежит к дому.

— Какая квартира? — кричит ему вслед Доронин.

— Ну, четвертая, — врет Сережа. — А вам зачем?

— Будь здоров! — кричит летчик и срывает с места свой автомобиль, будто хочет взлететь.

Сережа идет домой, молча ест ужин. Бабушка что-то шьет, не глядя на него. Потом он умывается, ложится спать, закрывает глаза.

И вскакивает.

Как же? Он забыл? А кража! Ведь надо что-то

делать. Что-то соображать. До утра осталось немного. Плосколицая буфетчица придет на работу, увидит следы от шпаги, не найдет денег, и... начнется!

Бабушка поглядывает на Сережу поверх очков, смешно опуская нос.

— Что? — говорит она. — Забыл чего? Или примлилось?

— Примлилось, бабушка! — говорит он. — Такое примлилось, и не выговоришь.

Он глядит на нее, разглядывает свою добрую бабушку, не думающую, не ведающую ни о чем, смотрит на мамину маму и думает, что, кроме нее, признаться некому.

Некому, нельзя, да что там говорить!.. Он глядит на бабушку глазами, полными слез, и произносит:

— Бабушка! Я деньги украл!

Она хихикает, покачивает головой, не отрываясь от шитья, потом испуганно вздергивает очки.

7

Сначала бабушка не верит, и Сереже приходится ей рассказывать все по порядку, шаг за шагом. Каждую мелочь.

Как велела Литература разыскать помазок, майки и хлопчатобумажные штаны. Как он мотался по городу, бегал к генералу и в комиссионку. Как сунул в карман перчатки и шпагой открывал ящик...

Бабушка, наконец, верит. Закрывает руками уши. Кричит:

— Молчи! Молчи!

Сережа молчит.

— Надо вернуть! — говорит бабушка, бросается к шкафу, достает вчерашнюю Сережину зарплату, лихорадочно пересчитывает бумажки.

— Где она живет, эта буфетчица? Пойду, брякну в ноги!! Подой стану целовать! Неужели не простит? — обессиленно опускает руки. Спрашивает сама себя: — А ежели не простит? Под суд? — Она мотает головой. — Нет! Не отдам тебя! Аню отдала, тебя не отдам! Сама виновата, дура жадная, погналась за деньгами. Трудно жить, трудно жить. Прожили бы, зато в отдельной квартирке. — Бабушка плачет, качает головой, вспоминает Олега Андреевича, вскакивает, чтобы бежать к нему, к тете Нине за защитой и помощью, но сама себя судит: — Нельзя их сюда впутывать, не по-христиански, они и так сколько для нас сделали.

Глаза у нее то вспыхивают, то туманятся.

— Может, не найдут еще? — спрашивает она у Сережи с надеждой, будто он ответ какой-то может. — Ты ведь в перчатках, как по кино, следов-то не осталось.

Следов не осталось. Он уверен, что и шпагу не найдут за штабелями декораций. Но ведь видела его вахтерша, тетя Дуся эта. Он, последний выходил. Можно, конечно, отпереться, но очень неловко соврал ей про лампы. Все знают, что лампы еще днем меняли.

— Не выйдет ничего! — вздыхает Сережа, говорит про вахтершу.

— Бежать! — всплескивает руками бабушка. — Уехать тебе надо. Немедленно! Завтра.

Сережа разглядывает бабушку, как ненормальную: бежать, эх брякнула! Он не Дубровский — по лесам скрываться. Но потом кивает. Не так уж она стара и несообразительна. Варит, да еще как!

— Двадцать девять шестьдесят! — ершится она. — Разве это деньги, чтоб за них мальчонке жизнь ломать! Ничего! Не разорятся! Не такие деньги, чтоб долго искаться, не найдут и успокоятся, замки покрепче навесят.

Говоря это, бабушка то смеется, то плачет.

— В случае чего все на себя приму, только ты уезжай, слышишь! — плачет она. — Пусть меня садят, если им приспичит! За тридцатку!..

Бабушке жалко себя, свою старость за эти несчастные двадцать девять шестьдесят, но еще больше жалко Сережу, бестолкового сироту, она заливается, и, как всегда, на плечах у нее вздрагивают седые косички, словно не старуха, а старая девчонка в чем-то провинилась и горько плачет.

Они не спят всю ночь, обо всем договариваются, как два заговорщика, — обо всех мелочах, и Сереже порой кажется, что все это не жизнь, а тот самый детектив, который он пропустил, бегая к Понте и в комиссионку. Что бабушка и он — главные действующие лица, которым и самим неизвестно, что произойдет через сутки, но они полны решимости бороться до конца, не сдаваться и не отступать, что бы ни случилось...

— Значит, так, — повторяет бабушка еще раз, чтоб и самой не забыть и Сереже напомнить. — Первое дело — Дуся. Платок она мне вязала, при Ане еще, радио охраняла. Я-то ее помню, вот она бы помнила... Это главное, — говорит она. — Потом увольнение, затем вокзал. Давай-ка записывай адрес.

Сережа послушно пишет, бабушка укладывает в рюкзачок вещи, кладет деньги во внутренний карман курточки, прищипливает его булавкой, наставляет Сережу, чтоб берегся жуликов.

Он невесело ухмыляется:

— Чего мне бояться, я сам жулик!

Бабушка опять плачет, в который уж раз за эту длинную ночь. Сережа угрюмо молчит: и страх и волнение как бы выболели в нем.

Утро вползает серое, пасмурное.

Сережа и бабушка завтракают быстро, сосредоточенно. Он пишет заявление. Кладет его в карман. Все решено, приготовлено, теперь надо действовать. Но они тянут. Минутная стрелка ползет медленно, лениво. Порой кажется, она стоит.

— Бабушка, — вдруг спрашивает Сережа, — вот тогда, давно, при маме, ты почему-то не любила меня... и всегда ворчала на маму.

Бабушка глядит в окно, глаза ее от серого утра на улице кажутся светлыми, словно выцветшими.

— Все мне казалось плохо, все не так, — отвечает она тихо. — Ты — вроде как безотцовщина при живом-то отце, а Аня... мама плохо жила, ничего не хотела, вроде как и живет и нет. — Бабушка поворачивается к Сереже. — Нам, старым, — говорит она, — все кажется, что счастье в семье, в доме, в родне. У ребенка отец должен иметься, у жены — муж... — Она молчит, перебирая поясок. — Да вишь, как выходит...

Сережа смотрит за окно, на низкие, набухшие дождем облака и думает, что они с бабушкой хоть и по-разному рассуждают, но про одно: про маму, про то, как было и как могло быть, про счастье и его обманчивость... Кажется, такая поговорка есть: где найдешь, там и потеряешь...

В девятом часу они выходят из дому и у подъезда сталкиваются с Галей. У нее испуганные глаза.

— Что случилось? — спрашивает она. — Ты вчера какой-то странный был... не в себе!

— В себе! — вздрагивает Сережа. Они с бабушкой договорились врать. Целый день врать сегодня. Но Гале?.. Бабушка глядит на Сережу пристально,

ждет, видно, хватит ли у него силенок на уговор? Хватит, бабушка, не бойся! — Да вот, — весело продолжает он, — сегодня уезжаю в другой город, поступлю в ремеслуху. Очень хорошее училище, готовят механиков широкого профиля. Там у меня братан троюродный.

— Хочешь уехать? — растерянно говорит Галя. — Не сказав? Вдруг?

Сережа прячет глаза. Ну что ей ответить?

— Ты заглядывай, — приглашает Галя бабушка, отесняя Сережу, — заходи, не стесняйся. Письма от Сережи будем читать. Чай пить.

— Зайду! — вежливо говорит Галя, а сама ошалело смотрит им вслед.

Бабушка держит Сережу за руку, словно маленького, крепко вцепилась. Потом отпускает. Охает:

— Ну, началось!

Началось!

В отделе кадров бабушка говорит за Сережу, не дает ему рта раскрыть, чтобы не врал.

— Я сама говорить буду, — приказывала бабушка по дороге. — Мне, старой, греха не страшно. Ты только головой кивай да молчи.

Сережа кивает головой, ему подписывают какие-то бумаги, приходится ходить в разные комнаты, и всюду, как тень, с ним идет бабушка.

«Тетя Нина! Только бы не встретить тетю Нину», — думает Сережа и трусливо оглядывается.

Подписей требуется немного, все удивляются, что Сережа работал так мало, но, вежливо выслушав бабушкины объяснения, кивают головой, соглашаются: да, учиться надо, по крайней мере, осветитель — не профессия, действительно, а Сережа еще молодой, только начинает.

Ему жмут руку. Желают успехов. От этих пожеланий у Сережи кружится голова, ему душно, стыдно, но он молчит. Хорошо, хоть отдел кадров в комитете один, для радио и для телевидения, и не надо идти на студию, где можно встретить Андрона, режиссеров, ассистентов, помощников, операторов, которые все уже знают Сережу и неплохо к нему относятся.

Где можно встретить буфетчицу с плоским и злым лицом...



Сережа стоит у окна, в узком проходе. Больно тычут его углы чемоданов, трут железными застежками рюкзаки. Но он ничего не чувствует. Он смотрит вниз, на бабушку, прижавшую ко рту ладонь.

Они глядят неотрывно друг на друга, потом перрон движется в сторону — поезд трогается плавно, почти незаметно, и бабушка бежит вслед за окном, а когда бежать сил не хватает, останавливается и крестит издали Сережу.

Серый вокзал, станционные склады с грязно-коричневыми крышами и черными заборами быстро убегают назад, зато все, что вдали, — старое кладбище, заросшее березами, дымящие трубы ТЭЦ, коробки новых домов, — стремительно торопится вперед. Земля кружится перед ним, и Сережа думает, что она походит на огромную, невероятных размеров музыкальную пластинку, только записаны на ней не звуки, а жизнь...

Электропоезд тянет вагоны сильно и ровно, Сережа забивается в уголок, поворачивается спиной к пассажирам и неожиданно засыпает.

Странное дело: он видит не сон. События минувших суток так подавили его, что и во сне он не выключается из этого бесконечного происшествия, а только повторяет, повторяет события с неумолимой, беспощадной точностью...

Вот ему выдают свидетельство об окончании восьми классов, трудовую книжку. Вот бабушка заводит невинный разговор о вахтерше, которая — молодец какая! — вяжет шерстяные вещи, ненароком как бы выведывает, где живет вязальщица, и они идут, почти бегут к дому вахтерши тети Дуси — ведь она может уйти, времени одиннадцатый час, надо торопиться!

Тетя Дуся дома, моет пол, задрав подол, смущается, увидев чужих людей, долго не может разобраться, кто они, наконец узнает Сережу, здороваются с бабушкой, уверяя, что хорошо ее помнит, хотя по глазам видно: не помнит.

— Дусенька, — плачет бабушка, — ты Анечку мою знала?

— Знала, как же, очень хорошо, — кивает растерявшаяся, ничего не понимающая тетя Дуся, — и на похоронах была. — Она сморкается.

Бабушка падает на колени. Подбородок беззвучно трясется, губы дрожат, слезы светлым градом катятся по щекам.

— Дуся! — говорит она. — Христом-богом молю! Обещай, что поможешь, что не скажешь! Не для себя прошу! Ради Ани сделай! Ради ее памяти!

Бабушка горько плачет, вахтерша поднимает ее с колен, но не может: бабушка толстая и тяжелая, — и тогда тетя Дуся сама начинает плакать.

— Чувствую, что беда какая, — говорит она. — А разве же можно в беде не помогать?

Бабушка поднимается, говорит Дусе про маму, про Никодима, про младенца. Они снова плачут в два голоса, а Сережа сидит на стуле совсем вытравленный, ему уже и не стыдно даже.

Бабушка рассказывает про Никодима и Литературу, про размен, про эти злополучные триста рублей, про помазок и хлопчатобумажные штаны, которые наказала принести учительница, и вахтерша охает, качает головой, ужасается, опять плачет.

— Это надо же, — говорит она, — какие люди, какие люди!

— Еще не все, — горестно вздыхает бабушка. — Теперь самое главное.

Тетя Дуся глядит на бабушку расширившимися глазами, переводит взгляд на Сережу, берет ее руками за виски.

— Милый ты мой, — говорит она Сереже, — и что ж ты удумал! Да разве можно, такой грех! Сказал бы, кому можешь. По десятке да двадцатке насоблюди бы эти сотни. Народ же вокруг...

— Дело сделано, — задумчиво произносит бабушка и просит: — Дуся, матушка, век не забуду, прими грех; скажи, что ушел он со всеми...

— Приму, — успокаивает ее вахтерша. — Что я, не баба, жалости у меня нет? Не томись, бабушка, вот тебе крест. — Тетя Дуся истоиво крестится, плачет, обняв бабушку, потом добавляет: — Да и буфетчица эта, Тонька, такая зараза, что не жалко. Обсчитывает да обмеривает, веришь ли, и никто не видит, интеллигенция кругом!

Они опять плачут, теперь уже успокоенно, облегченно, и бабушка говорит вахтерше про свой план, про Сережин побег, то есть отъезд.

— Верно это, — подумав, соглашается тетя Дуся. И спрашивает бабушку: — Чему он тут научится, при лампочках-то?..

...Лампочки вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают. Сережа открывает глаза. За окнами — гроза. Не-

бо до самого края занавешено лохматыми тучами, с которых срываются корявые молнии. Дождь плещет в стекло...

Сережа озирается, видит вагон, дремлющие лица напротив. Он откидывает голову, разглядывает круглый рычажок в стене, машинально его задевает. И вдруг...

Вдруг все молнии из всех туч сразу, в одно мгновение падают вниз. Окно озаряется слепящим синим светом, потом гаснет и вспыхивает вновь. Сережа сжимается. Ему кажется, это какой-то бред, галлюцинация, он слышит голос мамы:

Теперь осторожно мы с тобой и с тобой
Зерна за рядом ряд.

Радио! Да это радио, спохватывается он. Тот самый черный рычажок. И мамин голос. Сережа захлебывается от спазмы — он и плачет и смеется сразу. Стихотворение про гранат! Радио! Запись на пленку.

Сережа стискивает руками горло, напрягается, чтобы не прослушать, не упустить ни одного слова. А мама говорит, и в голосе ее скрытое волнение, и тайная радость, и сила, и счастье.

Струи толкнутся под кожей,
Ходят, переливаются...
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг,—
Это с гранатом случается.

Сережа почти не дышит, взгляд его провалился сквозь стенку вагона, сквозь дождь и тучи, в неизвестное, где ничего нет. Он кивает в такт маминим словам, соглашаясь с ними, любя каждое придыхание, каждый звук этого голоса.

Терпенье и нежность — прежде всего!
Верхние зерна — что?!
Надо зерна
Суметь
Достать в глубине,
В середине размять их здорово...
И прокусить кожуру,
И ртом
Глотками сосушими пить потом,
В небо поднимая драгоценный плод
И
Запрокинув голову!

Голос умолкает так же неожиданно, как возник, и это потрясает Сережу не меньше. Он лихорадочно крутит рычажок динамика. Но там слышен лишь сухой треск. Мужской голос передает последние известия.

Сережа обессиленно откидывается назад. Слезы стоят в глазах. Он вздрагивает всем телом.

Сережа озирается. А может, ему почудилось? Все дремлют, никто не слышал... Никому нет дела до каких-то стихов... Хотя нет. Вон седая женщина внимательно смотрит на Сережу. Он улыбается ей.

— Это моя мама читала! Вы слышали?

Женщина улыбается, кивает головой.

— Артистка? — спрашивает она.

— Лучше! — отвечает Сережа. — Диктор!

Он отворачивается к окну, смотрит, как молнии врезаются в землю. И вдруг замирает.

«Но разве же можно, — думает он, — пить сок из граната, и смеяться, и просто жить, зная, что ты украл? Что обманул, убежав?»

Он вопросительно смотрит на динамики. Но мама молчит. Чей-то другой голос бубнит про уборку картошки.

Мама! Она бы сказала...

Сережа опять вспоминает тот день.

Они сидят на матрацах в новой квартире, пьют вино, и мама смеется все время. И удивляется, плача. «Неужели, — говорит она, — это все мое? И ты, и ты, и этот дом?» Она не верит! Она удивляется!

Она была счастлива, как никогда в жизни!

Поезд приходит рано утром. Незнакомый, большой город вползает в вагон долго, как бы нехотя. Потом оглушает. Грохотом трамваев. Большой, цветастой толпой. Глянцевыми огромными лужами на маслянистом асфальте. Дружно взлетающими стаями голубей.

Сережа подходит к милиционеру, протягивает ему бумажку с адресом и, пока тот объясняет, как добраться, с любопытством, будто впервые, разглядывает форменную фуражку, мундир, золотистые пуговицы.

Вот человек, который сама справедливость. Даже тут, в другом, большом городе, можно сказать ему: я такой-то, ограбил буфет за много километров отсюда, и он изменится в лице и ответит куда следует, потому что справедливость — везде справедливость, в любом городе она одинакова.

Эта мысль Сережу гнетет. Он отходит от милиционера, садится в трамвай, едет, а сам думает, что все это бабушкина наивная выдумка. Может, она и права, история эта загложнет, забудется; про него, живущего в другом городе, не вспомнят — и все будет хорошо, о'кэй!

Хорошо? И он забудет? И никогда в жизни не вспомнит?..

Трамвай весело мчится по широкому проспекту, окаймленному высокими домами, ныряет между ними, катится мимо старых деревянных домиков, потом опять едет по новой улице.

Колькино училище как раз напротив остановки, но он туда не идет, а спрашивает про общежитие.

У Кольки при его появлении глаза лезут на лоб, потом он узнает, что Сережа приехал к нему и жить и учиться, тащит его к директору, но Сережа упирается.

— Погоди, — говорит он, — сперва расскажи про свою «ремеслуху».

— Никакая это не «ремеслуха», — говорит Колька. Он все еще ошарашен, но и безмерно доволен. К этому прибавляется некоторое пижонство, оттого что живет он в большом городе, и гордость за училище — ПТУ. Он объясняет: — Мы «пэтэушники». Гляди, у нас какие классы... А мастерские... А спортзал...

Он водит Сережу по коридорам, блистающим, как больничные, тычет пальцем в алые вымпелы, висящие на стенах, в кубки, матово сверкающие в глубине застекленных шкафов.

— У нас, знаешь, — торжествует Колька, — как в суворовском училище! Дисциплина — раз! Самообслуживание — два! Три — самоуправление! А главное — кодекс чести, слышал? В какой школе есть? А у нас — кодекс! Если кто-нибудь что утащит — хоть ложку! — судим и выгоняем, понял?

— Как «судим»? — холодеет Сережа.

— А так! Общее собрание — это наш суд.

Суд! И тут суд! Везде кара, везде наказание. Глупости все это, никуда не сбежишь!

Сережа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые, чужие парни размахивают кулаками, кричат хором: «Выгнать! По-зор!»

Позор! Конечно, позор! И никуда от него не деться. Вот пойдут они с Колькой к директору. Тот спросит: «Работал?» «Работал!» — ответит Сережа. «Давай трудовую книжку. Характеристика где?» Трудовая книжка — вот она. А характеристики нет.

Обещали позже прислать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила: надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что...

Бабушка говорила: «Молчи. Врать я сама буду, старая грешница». Но вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы. Будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает.

Врать. Надо врать.

А вообще-то, в чем дело? Почему там, дома, врал бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял, как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она...

Сережа потеет, покрывается пятнами. Колька тащит его в столовую, ругает себя:

— Я, дурак, гляжу — ты зеленеешь, давай рубай, а то без жратвы-то куда?

Сережа вяло тыкает вилкой в котлету, есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнает его. Как он переменялся! Тогда — год с лишним уже! — был деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Сережей, наверное, рисовался... А теперь блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться — тогда не случилось, авария, потом, зимой, не до этого. Может, теперь...

— Здорово, — спрашивает Сережа, — влетело тебе за трактор?

— Еще как, — вздыхает Колька, — отец драл да драл, драл да драл! Его самого-то чуть прав не лишили...

Сережа рассказывает про мамин голос в поезде.

— Мы твою маману всегда слушали, — говорит Колька. — По ее голосу утром в школу бежишь. Когда мороз, слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь: тетя Аня, ну, давай накинь по-родственному градусов пять!

Сережа смеется. Про маму ему думать всегда хорошо. Только вот... Зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела? Для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изоврался, обманывает, так ведь это для того, чтобы скрыть подлое... Благородного обмана не бывает.

Спать они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали, у некоторых практика — Колька же проходит ее здесь, в городе, на большом заводе.

Они тушат свет, но уснуть Сережа не может, воцарится на новом месте, скрипит пружинами.

— Ты не врешь? — спрашивает неожиданно Колька. — Не врешь, что учиться приехал? Ты же на летчика хотел?

— Хотел, да расхотел, — отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку: — А ты про отца моего знал?

— Слышал, — отвечает Колька, — он же разбился...

— Кто говорит? — напряженно спрашивает Сережа.

— Да все в деревне. И отец.

Сережа облегченно вздыхает. Он распутывает свои мысли, как узел.

Отца нет, думает он, вернее, есть только Авдеев, но про него — про того, придуманного — хорошо говорят и помнят по-хорошему. Значит, выдуманный мамой, несуществующий человек все-таки существует? И пусть Сережа уничтожил в себе эту легенду, рассыпал, как песочный домик, — отец-летчик живет собственной жизнью в других людях, независимо от Сережи... Придуманный мамой отец продолжает быть, и, чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем, объяснять: это неправда, летчика-героя нет, есть просто Авдеев...

Сережа вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Колька уже храпит, как тот трактор «Беларусь», который он стукнул о березу.

Значит, все-таки может быть благородный обман? И может быть подлый.

Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него. Ведь если бы с ней самой такое случилось, небось, давно призналась.

Сережа вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича. Представляет: вот известно про буфет. Неужели же не догадаются, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке. Допытываются, в чем дело.

Бабушка не скажет. Будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет, потому что Сережа — ее внук.

Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть лжи, вранья, обмана.

Что он, безответный, несмышленный щенок? Да он же совсем взрослый! Если бы не беда эта, уже и в комсомол вступил. А он тут мечется. Не может разобраться в самом себе. Не может мужества набраться правду самому себе сказать.

Сереже душно, он сбрасывает скомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и, чем больше думает, тем становится тяжелее.

Он вспоминает Доронина. Тогда ему показалось обидным — летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал: разве можно так распускаться?

И действительно: разве можно?

Разве можно прятаться за плечи взрослых, надевая бог знает что? Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно лгать?

Сережа садится. За окном светает.

Мамин обман простителен. Он стал жесток только после ее смерти. Если бы она была жива, обман этот существовал бы всегда. И он не мог бы осудить его, не зная о нем.

Его обман другой. Его нельзя таить. Этот обман не может существовать всегда. Потому что, обманув раз, можно обмануть и два. Можно сделать свою жизнь сплошным обманом.

Врать про отца, выдуманного героя. Врать про себя, про свою порядочность и честность.

Сережа встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак.

Пишет тупым карандашом на куске желтой бумаги:

«Колька! Прощай! Я должен вернуться!»

10

Поезд тянется еле-еле. Стоит у каждого столба. И часы! Часы у всех остановились. Через каждые десять минут Сережа спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас?

— Мальчик! — возмущаются пассажиры. — Ты уже надоел!

Надоел! Он и сам себе надоел.

Он первым выпрыгивает из вагона. Несется на привокзальную площадь, к троллейбусной остановке. Влезает в троллейбус, радостно поглядывает на знакомые улицы. Он едет к Олегу Андреевичу. Пусть бабушка узнает потом. Пусть не волнуется понапрасну.

В милиции он находит дверь, за которой сидит Олег Андреевич. Олег Андреевич поднимает брови, удивляясь, улыбается, говорит:

— Ну и шутница твоя бабушка. Говорит, уехал.

— Уже приехал, — отвечает Сережа и добавляет: — Олег Андреевич, буфет я ограбил.

Сережа рассказывает подробно, как было дело, и Олег Андреевич тускнеет, задумывается, смотрит в окно, стучит ручкой по столу.

— Тогда все понятно,— произносит он наконец.— А отъезд вы с бабушкой придумали, чтобы подальше быть?

Что скрывать, Сережа кивает.

— Дела-а,— задумчиво говорит Олег Андреевич и вдруг спрашивает: — Зачем же ты вернулся? Зачем рассказывать мне? Ведь если бы ты не рассказал! У тебя полное алиби! Кража произошла вчера... хотя постой-ка... Вчера тебя действительно не было. Каким поездом ты уехал? Билет сохранился? А сколько ты денег взял?.. Ну, дела! — поражается Олег Андреевич, берет телефонную трубку, крутит диск, говорит: — Семенов! Срочно!

Приходит пожилой милиционер, толстый и растрепанный, с печальными глазами, поглядывает подозрительно на Сережу. Олег Андреевич объясняет:

— Вот грабитель явился. С повинной. Но он утверждает, что взял двадцать девять шестьдесят. А не шестьсот...

Сережа даже подпрыгивает:

— Какие шестьсот!

— Вот такие,— отвечает Олег Андреевич.— Буфетчица заявила, что ограбление было: вчера и что взяли шестьсот.

Олег Андреевич и пожилой дядька окутываются черным дымом, Сережа чувствует, что он погиб, причем погиб каким-то странным, невероятным образом, о котором не думал, не предполагал.

— Зачем тебе столько? — спрашивает пожилой милиционер.— Мотоцикл хотел купить?

— Что вы издеваетесь! — кричит Сережа.— Мне надо было триста. Чтобы отдать им, поняли! Чтоб не унижаться! Вместе с помазком! Со штанами!

Сереже не хватает воздуха! Боже мой, думает он, зачем я бросил в реку эти деньги? Я бы им показал сейчас, сколько там было. Впрочем... Он неожиданно снижает. Ведь он хотел взять триста. Кому какое дело, что там оказалось мало. Он же все равно украл. Много или мало, какая разница!

— Ладно! — говорит он устало.— Пусть шестьсот!

— Ничего не понимаю,— пожимает плечами растрепанный толстяк.— То отрицается, то признается.

— Погоди, Семенов,— останавливает его Олег Андреевич и велит Сереже: — Ну-ка, давай билеты. Сережа послушно вынимает их.

— Так,— довольно говорит Олег Андреевич.

— Билеты можно достать,— уныло замечает Семенов.

— Верно,— улыбается Олег Андреевич,— достать можно. Кто тебя видел там, в другом городе?

— Колька! — вяло отвечает Сережа.

— Вот это дело,— ухмыляется Семенов.— Фамилия, имя, адрес?

Сережа понуро объясняет. Стидища-то какая. Теперь Кольку станут таскать. Комендантшу в его общежитии — у нее они спрашивались ночевать. Каких-то людей в чужом училище, которым Колька Сережу показывал, как брата представлял...

— Ну, а деньги-то? — спрашивает Олег Андреевич.— Те, что взял, истратил?

Сережа мотает головой. Рассказывает про платок. Про мост. Снова клянет себя, зачем выбросил.

— Тебе везет,— говорит Семенов и предлагает Олегу Андреевичу.— Иду, ладно? Звоню в ОСВОД.— Потом поворачивается к Сереже.— Место покажешь?

Они едут втроем в милицейском «газике», и Олег Андреевич подробно расспрашивает про Литературу, про размен, про доплату, на которую соблазнилась бабушка.

Сережа рассказывает про то утро, про прощание с великом, про ласты и боксерские перчатки, про «авоську» с тяжелым арбузом... Он кусает губы.

— Успокойся! — велит ему Олег Андреевич.— Слышишь, Семенов?

— Ничего, парень! — оборачивается растрепанный толстяк.— Ты вот зря скис! Зря на такой шаг пошел, озлобясь! Я понимаю, ненависть тебя захлестнула, но ты не маленький, должен знать: не все люди добрые. Да и не должны быть все! Добро ведь только рядом со злом разглядеть можно. И отчаиваться нельзя. Тебе жить да жить... Привыкай к тому, что встретишься с дрянью еще не раз. От дряни не киснуть надо, не отчаиваться — воевать с ней!

Олег Андреевич треплет Сережу по плечу, улыбается ему.

— Слышишь,— говорит он,— что следовательно Семенов тебе говорит? А он на этом деле зубы съел.

На мосту они выходят, Сережа ведет к тому месту, где бросил платок. Внизу тарыхтит катер с аквалангистом.

— Холодна водичка,— говорит, вздрагивая, Семенов и спрашивает: — Что будем делать, если не найдут?

— Хитер же ты, бестия! — смеется Олег Андреевич.— Спрашиваешь, а сам лучше меня, на сто ходов вперед, все уже разложил, коли Сереже поверил.— И спрашивает: — Поверил?

Семенов подходит к Сереже поближе, заглядывает ему в лицо, говорит неожиданно:

— Ответь, пожалуйста, милый друг, мне на один вопрос. Как ты из училища уехал? Тебя кто надоумил или сам?

— Надоумил,— отвечает Сережа.— Мама. Я ее голос услышал! — Глаза у него наполняются слезами.— Помните, она стихи читала? Про гранат? Они записаны на пленку. И пленку вдруг включили...

Они молчат.

— Эх, милый! — говорит Семенов негромко.

Вода вскипает от пузырьков, из глубины появляется аквалангист, его подхватывают с катера.

Аквалангист снимает маску, достает изо рта дыхательный шланг и поднимает над головой маленький комочек.

— Один ноль,— говорит Семенов и вновь разглядывает Сережу.— Крепись, милый, раз выбрал честность,— произносит он.— Не так это легко и просто. Придется тебе и потерпеть и пострадать...

11

И вот суд.

Маленькая светлая комната. Зеленые стены. Ряды стульев, сколоченных вместе, словно в кино. У задней стены — длинный, как для президиума, стол, покрытый зеленой материей с черными пятнами. За столом женщина с усталым лицом и короткими волосами. Это судья. Еще две женщины рядом — заседатели.

Сережа сидит вместе со всеми. Хотя он подсудимый, а для подсудимого есть особое место за деревянной загородкой, судья его туда не зовет.

Хриплым голосом она читает бумагу, где записано все, как было, потом просит Сережу встать, подойти поближе, спрашивает, верно ли она прочтала.

Сережа кивает.

— Сергей Воробьев,— говорит она заседателям,— сам сообщил о краже. Необходимо отметить, что благодаря заявлению буфетчицы Селезневой, сделанному ею в корыстных целях, на Воробьева вооб-



ще не падало подозрения. Однако он глубоко почувствовал свой проступок и явился с повинной в органы милиции. Что же касается Селезневой, на нее заведено особое дело.

Женщины кивают, соглашаясь с судьей. Сереже разрешают сесть, он отворачивается от зеленого стола и видит сосредоточенные, напряженные лица.

Исстрадавшуюся бабушку. Галю с округлившимися глазами. Тетю Нину, которая в волнении тербит платок. Олега Андреевича в строгом парадном мундире. Растрепанного Семенова...

Странно, но Сережа не чувствует стыда. Не осталось ни капельки. Только волнение.

Будто перед ним река, большая река — широкая, с быстрым течением. Он вошел в эту реку, плывет через нее, и все знают, что ее проплывают только взрослые. Но он плывет, ему нужно ее переплыть. А эти люди стоят на берегу, мучаются, страдают, переживают. Каждый хотел бы ему помочь, но это запрещается правилами. Он плывет сам. И они могут только смотреть.

Сережа садится.

— Адвокат есть? — спрашивает судья.

— Адвоката нет, — говорит, поднимаясь, Олег Андреевич, — адвокатом в этом деле стал сам Сережа Воробьев.

Олег Андреевич проходит на середину комнаты, смотрит на крайние стулья, где сидят Литература и Никодим. Пришли. Могли бы не приходиться, но пришли, похлопали Сережу по плечу, сказали пустые слова, отсели в сторонку, чувствуя неприязнь остальных. Свидетели. Подтвердили, что доплатили триста рублей. Расписались под бумагами, а теперь вот сидят, наблюдают.

— Я не могу защищать Сережу, — говорит Олег Андреевич. — Он украл, сделал это преднамеренно, и, по собственному его признанию, только случайность спасла его от большего преступления: в кассе осталось двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Но остановимся на точной сумме, которая была ему нужна. Почему именно триста рублей? Почему остальные деньги, если в кассе будет больше, он брать не хотел и собирался позже вернуть буфетнице и нужные ему триста? Каков умысел и какова личность виновного — вот главные вопросы этого дела.

Олег Андреевич говорит сдержанно, кратко, строго. Он рассказывает про маму, про Сережу, про долгое счастье, про размен и доплату...

— У мальчика нет родителей, — негромко говорит судья. — В таких случаях мы предлагаем помощь, выясняем, способен ли опекун обеспечить правильное воспитание и может ли обеспечить материально.

— Не отдам! — вдруг кричит бабушка. — Не отпускай!

Судья поднимает руку, успокаивая ее.

— Но я хорошо изучила дело, — продолжает она медленно, — и, хотя это противоречит моим обязанностям, предлагаю такой вопрос не ставить. — Она молчит, чуть хмурясь. — Однако мой долг, — строго говорит судья, — заставляет сказать и несколько неприятных слов. Олег Андреевич защищал Сережу Воробьева. Разобрав это дело, я понимаю, что мальчик оказался во власти обстоятельств, подняться выше которых у него не было ни сил, ни житейского опыта. Но разве это прощает Сережу? Мои слова обращены к тебе, Сережа. Ты совершил преступление. Маленькое или большое, не это важно. И ты б не совершил его, если бы верил друзьям. Друзья у тебя есть. Они сидят здесь...

Судья собирает бумаги, выходит, следом за ней идут заседатели и секретарь. Тихо. Все молчат.

И вдруг открывается дверь. На пороге Андрон. Его глаза растерянно бегают, он кого-то ищет. Находит — идет к Сереже, сжавшись, опустив плечи.

— Сергуня, — говорит он. — Ты вот деньги тогда искал. Трех-то сот у меня нету, возьми хоть полста. Он протягивает красные бумажки. Сережа улыбается ему одними глазами: «Эх, Андрон, путаный человек, спасибо тебе», — а вслух говорит:

— Теперь уж не надо. Теперь я сам должен.

Краешком глаза Сережа видит, как встает с крайних стульев Вероника Макаровна, как крадется на цыпочках к двери, покрывшись бурыми пятнами, хотя сейчас ведь перерыв и можно ходить смело. За ней выходит Никодим. Сережа смотрит им вслед с усмешкой, оба они кажутся ему какими-то... неудачниками, что ли. Ему даже жалко их — учительницу, ковыляющую на тонких каблучках, и серого, невзрачного Никодима. Чего хотят они, что им нужно вообще?

Судья и ее помощники возвращаются.

Все встают.

Судья объявляет, что Сергей Воробьев приговаривается к одному году наказания условно.

— Неправильно! — растерянно говорит Андрон. — Дайте лучше мне, старому дураку!

Сережа думает, судья сейчас возмутится, отругает Андрона, но она разводит руками.

«Вот и все, — опустошенно думает Сережа, — вот и все».

Кончился обман...

12

Обман кончился... Что теперь?

В тишине всхлипывает бабушка.

— Чего дальше-то? — говорит она. — Может, обратно в училище? Там все же Колька...

— Или в школу? — предлагает Галя.

Сережа сидит, повесив голову. Он чувствует, что-то произошло. Слово он после приговора судьи внезапно заразился проказой — есть такая неизлечимая болезнь. И его все жалеют. Выдумывают срочно глупые лекарства. А он-то, дурак, думал, все будет наоборот. Он сразу поправится. Вылечится от обмана. Засмеется освобожденно, вздохнет легко, побежит бездумно по улице, как когда-то прежде...

Странно все-таки устроены люди. Вот только что друзья ему речку переплыть помогали. И знали, к чему он плывет. А когда доплыл, смущенно молчат. Видно, уж так всегда.

Какая бы правда ни была, если за нее год дадут, не обрадуешься.

Он поднимается.

— Раз меня осудили условно, это значит, поставили условия. Слово в задаче, — задумчиво размышляет Сережа, — даны условия, надо найти ответ. Вот я и не хочу, — он оглядывает всех внимательно, — не хочу, чтобы этот ответ нашли вы. Хочу сам...

Он медленно идет к выходу. Плотно притворяет за собой дверь. Выходит на улицу.

«Вот и все, — думает он. — Теперь надо жить дальше...»

В сущности, он только повторяет то, что, всхлипывая, сказала бабушка, но тогда это говорила бабушка. Теперь думает он.

Он думает сам и не хочет, чтобы кто-нибудь думал за него.

Сережа глубоко вздыхает и чувствует на плече тяжелую руку.



13

Он открывает глаза. Перед ним стоит летчик в синей болонье и форменной фуражке. Герой-летчик Доронин! — Что же обманул? — спрашивает он строго. — Сказал, четвертая квартира...

Сережа опускает голову.

— Ну ладно, — говорит летчик, — хватит хныкать! — В голосе его — едва слышимая ирония. — Смотри вперед.

Он хлопает Сережу по плечу, идет к машине, которая стоит в стороне. И вдруг у Сережи начинается бешено колотиться сердце. Он срывается с места и бежит к «Жигулям».

Это как в школе. Отвечаешь урок, который отлично выучил, и сердце бьется — от уверенности, от предчувствия. Вот закончишь сейчас, и тебе поставят пятерку. Уверен в этом. От этой уверенности все тело становится легким, и солнечно на душе.

Сережа бежит к машине, распахивает дверцу и говорит:

— А вы зачем приезжали?

Ведь не может же Доронин просто так его искать. Летчик улыбается. Толстое лицо его становится добрым от морщин, бегущих к вискам. Он тербит свой нос, растягивает толстые губы, включает двигатель.

Сердце колотится, а летчик молчит.

Сейчас что-то скажет. Хорошее. Просто замечательное. То, что ждет Сережа.

Но резко сжимается сердце.

— Подождите, — говорит Сережа, меняясь в лице, — я вначале вам должен... Мне дали год условно!

— Не имеет значения, — отвечает летчик, разглядывая Сережу. В глазах его бегают искорки.

Сейчас, сейчас... Сейчас он скажет...

Сейчас он скажет что-то такое, что изменит всю Сережину жизнь... Всю жизнь!

Жизнь эта не будет без облаков, как не бывает без облаков небо.

Но — помните? — ведь это к облакам струятся от земли невидимые воздушные потоки. Они поднимают в высоту модели, планеры и людей.

Юнна Мориц



Озаренье

Коровье стадо жмется к перелеску,
В осенние ныряет вороха,
Какему-то особенному блеску
Открыв ворота в глубь и верха.
Там светит солнце, там скользит по лужам

Восточный ветер с яблоком в зубах,
Там до упаду мы с тобою кружим,
Взойдя в словарь, как в Горный
Карабах.

Теснины камня сглажены потоком,
Но вены яшмы, яшмы потроха
Полны угроз, присущих только

строкам
Из драгоценных вымыслов стиха.
Как перебежки антилоп в ущелье,
Ведущем прямо на альпийский луг,
Обрывки мыслей нас приводят к цели,
Настолько дышит правдой каждый звук.
В просторных гранях горной пирамиды
Осенний образ мира отражен,
Он катит мимо волны Атлантиды,
Светила и подводы с фуражом.
Не он ли в поле зрения и слуха
Дождями насыщает корни рош
И силой человеческого духа
Поззии физическую мощь!
Не там ли он склоняет лес

раздеться,
Где озера лазурное яйцо
В гнезде земли отложено для детства,
Для вечности, имеющей лицо!

Соловью

О соловей, нельзя — не обезличь,
Не обескровь искусством сладкогласным
Жарозню, где для нас румянят дичь
Огнем и соком, замыслом и маслом.
Мотив харчевни, где хрустит салат,
И кость и кисть ментола в листьях

травки —
Не вздумай на хрестоматийный лад
Вымарывать в период поздней правки.
Душа и плоть искусства — не кристалл,
А вечность, запечатанная в соты,
Любой, кто каплю для нее достал,
Заполнил исполнинские пустоты.

О соловей, сотруженик, собрат!
Как мощно плавных восков мягкотелость
Переливает чувствам аромат
И духу обеспечивает целость!
Иначе для чего вокруг чела,
Какие мысли скрытые читая,
На крыльях путешествует пчела,
Пчела Колхиды, чисто золотая!

К другу

Странной страсти стройный дух,
Струнный образ дружбы нежной,
Не оставь мой взор и слух
Ни зимою белоснежной,
Ни осеннею порой
В комьях вечности сырой,
Ни на гребнях летней пыли,
Темной, словно дух в бутылки,
Ни — тем более — весной
В пору гнили и расцвета, —
Не оставь и будь со мной!
Все, что хочешь, дам за это,
Сдвину гнет с твоей души,
Дам урок одушевления,
Отучу скучать в глуши,
Так же прочие явления
Рассекречу, например:
Связь меж рифмой и луною,
Солью мысли и волною,
Между тьмой и глубиной, —
Так возьми граненый мел
И к доске иди за мною.
Через ровно семь годов
Будет к этому готов
Мой ребенок белоснежный.
Взор и слух его прилежный
Спросит мяса и плодов.
Не оставь мое дитя,
Сладко завтракать, летя
Над равниною безбрежной.
С высоты не будь с ним сух,
Странной страсти стройный дух,
Струнный образ дружбы нежной.

Июль

На мельнице, где чмокает вода,
Уснуть стараюсь, но постель тверда,
И мысли не смягчают жест ладони.
Луна сладчайшая плывет в плодовой кроне,
А выше — изумрудная звезда
На облачной груди блестит в кулоне,
Такие же вращаются в короне.
Ничто не причиняет им вреда —
Ни холода, ни зной в небесном лоне.
Июль — макушка лета, говорят.
Фонтанчиками света брызнул ряд
Полей и гряд, возделанных и зрелых.
Волна маслянистая лоснится в лилиях белых,
Где пчелы бронзовые в воздухе парят,
Кружась медлительно на крыльях
загорелых,

Как ангелов упитанных отряд.
Цветы от поцелуев их горят,
Плоды румянятся на вертелах и стрелах.
Благоуханье грандиозных благ
Родство внедряет в гору и в овраг,
Диктуют песни травам и дубравам.

Укропным и ореховым приправам
Обязан острый вкус подземных влаг,
Где почва и огонь вступили в брак
И пир готовят дружеским оравам.
В подземной кухне медь грозит расплавом,
Там жарят лук и варят портулак.
Немыслимо отречься от страстей,
Когда пропитан этим до костей,
И пахнут мысли этим сладким чадом,
И зренье жадное весь день толчется

рядом,
Ныряя в омут этих новостей,
На дне, где дремлет ямка со снарядом.
Так знай, что зря окрестность мучишь

взглядом!
Мой след простыл. Июль в холмах сластей
Пронесет мимо вазу с виноградом.
Я крепко сплю средь вороха сетей
На мельнице, любимице детей,
Где звездный свет свисает шелкопрядом.

Колыбельная

Холод. Утро раннее.
Стирка в умывальнике.
Спит мое желание
В голубом свивальнике,
Спит мое мечтание,
Плод воображения,
Вот ему питание —
От стихосложения,
Вот ему летание,
С миром сочетание,
Лица очертание
С бликом выражения.
А мне — мытье, катание,
В поджилках трепетание
Да с песенкой топтание —
До головокружения.
А в глубь — ожидание
Родства и продолжения
В чертах изображения.
За это обладание
Любое съем страдание,
Минуя унижения.
Плачь, мое мечтание,
Плод воображения,
Вот тебе питание —
От стихосложения.
Кушай, моя деточка,
Кушай, мое солнышко,
Кушай, моя веточка,
Кушай, мое зернышко.



Живого чувства родненький птенец,
Как много снега и как мало зерен!
Давно бы превратился в леденец
Любой, кто был бы так же беспризорен.
А ты в тени, в январском холодке
Растешь и птичьей грудкой розовеешь.
Январь, январь, январежка в руке.
Захочешь быть — любую тьму развеешь.
Сперва с трудом и без труда потом,
Настроив горло, свернутое трубкой,
Как над живым, над неживым кустом
Ты, словно вечный, запоешь, мой хрупкий.
Я вижу этот золотой зажим,
Скрепивший голос твой с январской тучей, —
Живому чувству мы принадлежим

И в самый худший день, как в самый
лучший.

Перебирая серебро колец,
Летят по небу зимние прохлады,
Оттуда смотрит сверху вниз птенец
И шлет свои младенческие взгляды.



Полночный холод кислорода.
Созвездий медный купорос.
Перед окном зажгла природа
Спираль раскаленных роз.

Тропа далекая пустынная,
Безлюдна, ни души на ней —
Лишь тень, чье тело слишком длинно
Для человеческих теней.

Я узнаю осанку Музы.
Шаги распевны по слогам,
И розы, разрывая узы,
Во тьме плывут к ее ногам.

Серьезен крупный взор богини,
Сосредоточены уста.
Пройдя насквозь, она покинет
Могучий замысел куста.

Но честно освещают грозы
Прогулку Музы в облаках
И темно-красный сверток розы
В ее натруженных руках.

Ведро земляники

Цветов белизна голубая в стеклянной воде.
Багровый кустарник заката в небесной
теплице.

Ведро земляники бурлит за спиной, а под
ним —
Треножник, огонь золотистый в чугунной
петлице.

Ребенок, щенок и котенок в обнимку
лежат,

Едят землянику и сахар стеклянный
грызут с наслаждением.

Опомнись! Пора земляничные пенки
снимать,

Спускаться на землю, покончить пора
с наваждением.

Бросаю перо, осторожно снимаю ведро,
И пуд земляники в стеклянной полощется
речке —

Одни земляники толпятся на детских
стеклянных трусах,

Другие — на сладкой фланели зажгли
именинные свечки.

Я думаю мысли свои и слагаю слова,
Ведро земляники при том отжимая
покруче, —

Все легче и легче, все проще и проще
живу,

Все лучше и лучше, и вряд ли бывает
нам лучше.

Ребенок, щенок и котенок скулят
перед сном,

В стеклянных слезах — две стеклянных
луны над поляной,

Цветов белизна голубая в стеклянной воде,
Ведро земляники в саду на веревке

стеклянной,
И отзвук стеклянный, что лучше не будет
нигде.



Дж. Д. БЕРНАЛ

РАССКАЗЫ ДЛЯ МИСТЕРА ПОЛЕВОГО



НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТИХ НОВЕЛЛАХ

Этот номер нашего журнала выйдет в дни, когда в Москве будет заседать Всемирный конгресс миролюбивых сил — самая представительная ассамблея народов из всех, какие когда-либо собирались на нашей планете. Конгресс будет работать в условиях небывалой в послевоенное время разрядки международной напряженности; одним из важных моментов этой разрядки стали переговоры Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с Президентом США Ричардом Никсоном, заключенные соглашения о сотрудничестве, о предотвращении ядерной войны. Как метко написал один американский публицист, в атмосфере наступившего потепления начали таять не только нагромождения «холодной войны», но и подводная часть ее айсбергов.

В эти дни человечество с благодарностью думает о всемирном движении сторонников мира, миллионы участников которого вот уже более двух десятилетий ведут нелегкую, неустанную борьбу за мир на нашей старой планете, за мирное сосуществование государств с различными социальными системами, решительно говоря «нет» войне и «да» политике мирных переговоров. Во главе этого движения стояли и стоят виднейшие люди, чья деятельность увенчана Международной Ленинской премией «За мир и дружбу между народами». Среди тех, кого мы с особой благодарностью вспоминаем теперь, — знаменитый британский физик, профессор Джон Д. Бернал (1901—1971), принявший когда-то из рук Жюлио-Кюри жезл председателя Всемирного Совета Мира. Бернала нет среди нас, но в дни конгресса «Юность» печатает его биографические новеллы, до сих пор нигде еще не опубликованные.

История этих новелл своеобразна. Когда-то, теперь уже давно, задумав книгу «Силуэты», я обратился к нескольким моим друзьям по движению сторонников мира с просьбой рассказать о своей жизни, о своей деятельности. Бернал отказываться отказался. И довольно резко. Не люблю, не умею, не хочу занимать вас своей персоной, заявил он, но, увидев мое озоршение, пообещал ответить на мои вопросы письменно из Лондона.

Все мы знали, какую огромную научную работу ведет великий физик в своем институте. Знали, сколько времени отнимает у него руководство движением сторонников мира. Насчет обещания его я подумал только: вежливый народ англичане. Но каково было мое удивление, когда по прошествии времени из Лондона пришел толстый пакет с вложенной рукописью, озаглавленной «Рассказы для мистера Полевого», — очаровательные новеллы из жизни Бернала, им самим и написанные: о его детстве, о раскрытии структуры воды, о его участии в обороне Лондона, где он был главным научным консультантом штаба противовоздушных сил, и, наконец, о высадке в Нормандии, известной операции «Оверлорд», в научной разработке которой профессор принимал деятельное участие.

Думается, что дни конгресса миролюбивых сил, на котором будет сосредоточено внимание, без преувеличения говоря, всего человечества, — лучшее время для того, чтобы предоставить на страницах «Юности» слово одному из славнейших организаторов движения сторонников мира.

Октябрь 1973 года.

БОРИС ПОЛЕВОЙ

НАЧАЛЬНЫЙ ТОЛЧОК

Было это давно. Я рос в срединной, захолустной части Ирландии, где о науке знали очень мало, где и не пахло наукой. Хорошо помню, как всколыхнуло городок появление первых автомобилей: проводились какие-то гонки, и народ высыпал на улицу смотреть.

Я знал, что есть такая вещь — наука, но имел о ней самое смутное понятие; с помощью науки, слышал я, люди дознаются до всего. Первым толчком в науку послужило мне происшествие с сестренкой. Мне тогда шел шестой год, она же была совсем малышкой-ползунком и загнала себе иголку в колено, и та обломилась под кожей. Дело нешуточное, выход один — везти девочку в ближайший большой город, Лимерик, отстоящий от нас милях в тринадцать. Меня, маленького, разумеется, не взяли, но рассказали мне потом, что привезли ее в больницу, а там есть чудесный просвечивающий аппарат — рентген, и врачи сделали снимок, увидели тень от иголки и извлекли эту иголку. Я поразился: что за рентген такой и как же он просвечивает?

Должно быть, от него, подумал я, свет настолько яркий, что проходит через тело насквозь и тенями обозначает кости. В яркий летний день загордишься рукой от солнца, а оно розово просвечивает сквозь пальцы, и проступают как бы тени костей. Значит, и рентген, решил я, — это свет бо́льшей силы. Задача состояла в том, как такой свет получить.

Карапуз я был весьма привилегированный, мне разрешалось читать в постели. В те времена мы зажигали вечерами свечи, но для чтения у меня стояла керосиновая лампа. И я додумался, что если взять самые-самые белые из книг и окружить ими лампу так, чтобы осталась только небольшая дырочка для света, и подставить под этот усиленный свет руку, то рука просветится и очертятся кости. Я тогда не знал физику, а главное, экспериментатором тогда был никудышным. И все это прилаживание и громозджение книг кончилось тем, что только я приложил руку к дырочке, как вся постройка рухнула со страшным грохотом, сбила лампу со стола, стеклянный резервуар ее разбился, и керосин растекся по полу. Но не вспыхнул. Шум всполошил отца, и, прибежав снизу, он увидел весь разгром — с облегчением и с яростью. С облегчением, поскольку дом я все же не спалил, а с яростью, поскольку лампа разбилась. До сих пор помню, какую трепку задал мне отец (в те далекие времена это было в обычае). Но он лишь крепче вбил в меня решимость дознаться, что такое рентген и как его устроить.

Я сказал уже, что наука была для меня смутным понятием. Яснее оно стало примерно год спустя, когда мне было около семи. У нас среди книг стояла хрестоматия, и в самом конце там была запись лекций, читанных Фарадеем для детей в Королевском институте восемьдесят или больше лет назад. Что такое Королевский институт и кто Фарадей, я не знал, но меня привлекло заглавие: «Химическая история свечи». Уж свеча-то вещь мне известная! А что химии не знаю — что ж, может, и так эту историю пойму. И вот прочел я «Историю свечи», и она захватила меня. Язычок свечного пламени, а сердцевинка у него темная, потому что там горячий газ, и это можно доказать, задув свечу, — газ тогда задымит и запахнет... Но сильнее всего меня пленили странные

слова «кислород» и «водород» — названия вещей, о которых я никогда не слышал. И там рассказывалось даже, как их получить.

С кислородом дело выглядело сомнительно, потому что для его получения требовались реторты и другая невиданная и неслыханная аппаратура, а текст был к тому же без картинок. Верней будет заняться водородом, решил я. Вчитался в указания. «Взять разбавленной серной кислоты и смешать с гранулированным цинком во флорентийской склянке». Смысла этих наименований я не знал, но, как бы ни было, в аптеке, наверно, достать можно. И, аккуратно списав названия, я пристал к маме: мне для опыта надо, напиши, пожалуйста, аптекарь, чтоб отпустил. Мама, разбиравшаяся в науке еще меньше моего, — она и фарадеевой «Истории свечи» не читала, — послушно написала записку, и аптекарь выдал мне просимое — и зря, конечно, потому что в руках у меня очутилась бутылочка с купоросным маслом, то есть с концентрированной серной кислотой, которая могла причинить немалый ущерб и мне и всему дому. Меня, однако, спасло слово «разбавленная» — значит, надо воды долить. Я и долил воды в кислоту. Последовал первый сюрприз, продемонстрировавший мне весомость науки. Кислота вдруг нагрелась, почти закипела. Я порядком струхнул, но на этом чудеса кончились, жидкость остыла, и я подумал: ну, вот и ничего страшного.

Оставалась проблема «флорентийской склянки». Что это за склянка, было неизвестно, но в буфете у нас стояла длиннорлая старая бутылка, оплетенная соломой и, судя по этикетке, содержавшая прежде вино из Флоренции. (Это была бутылка из-под кьянти.) Ничего ближе к «флорентийской склянке» мне не найти, подумал я. А родство здесь действительно близкое, ибо прототипом теперешних кобл послужили винные бутылки, изготовлявшиеся флорентийцами сотни лет тому назад.

Но теперь возникал вопрос, где проводить опыт. Мама держалась разумного правила: «В доме — никаких опытов». Так что оставалось экспериментировать на заднем дворе. Там торчал старый пенёк, и на нем я решил установить свою «флорентийскую склянку». За приготовлениями прошло время, наступал вечер. Дело было зимой, стало уже смеркаться. И пусть, а все равно поставлю опыт, решил я и, крепко трусая, высыпал во флорентийскую бутылку цинк, а сверху налил кислоты — и ничего не произошло. Абсолютно ничего! Цинк лежит себе в бутылке, залит кислотой, и все. «Чего другого было и ожидать, — подумал я. — В хрестоматии множество всяких историй, сказочных и шуточных, и это одна из сказок или шуток. Выдумки и враки вся эта наука!»

Надо было идти ужинать, затем спать; хоть я и был горько разочарован, но не окончательно еще потерял надежду. Перед сном, решил я, пойду гляну напоследок. Вскользнул украдкой во двор — там, конечно, ничего было уже не разглядеть, стояла темень, но я помнил примерно, где пенёк, и направился туда. Не видно ни зги, а взглянуть надо же. И, достав из кармана коробок, я зажег спичку, поднес. Грохнул великопленный взрыв, бутылку разнесло вдребезги!

Я стоял не очень близко к пню и отделался в основном испугом, только несколько капель серной кислоты брызнуло на руку. Но тут уж я совершенно убедился, что наука не враки. И вот эти два случая, вместе взятые, и были для меня начальным толчком в науку, хотя в Ирландии стать ученым было тогда делом непростым, и много еще минуло лет, прежде чем я уяснил химическое действие серной кислоты и осознал, что посвящу себя исследованию строения кристаллов посредством рентгеновых

лучей. По странному совпадению позднее я работал лаборантом в лондонском Королевском институте — как встарь Фарадей, и в том же подвале, где и он когда-то.

2

СТРОЕНИЕ ВОДЫ

Работать как исследователь я начинал у сэра Уильяма Брэгга в Королевском институте, где занимался структурой разнообразных кристаллов. Затем я переехал в Кембридж и через несколько лет заинтересовался там работой Хопкинса; ученый этот — почти что основоположник биохимии — поднимал вопросы, на которые структура кристаллов, по-моему, способна дать ответ. Особенно заинтересовало меня вещество, являющееся основой всего живого, — белковое вещество. Но, чтобы понять строение белка, надо было прежде структурно понять нечто еще более общее всему живому, то, в чем возникает жизнь, — я говорю о воде.

А именно вода, эта древнейшая из всех стихий (Фалес считал, что мир сотворен из воды), вечно ставила в тупик физиков и химиков. Хотя в известном смысле вода — типичнейшая жидкость, но при ближайшем рассмотрении она оказывается весьма отличной от наших представлений о нормальной жидкости. Многие из этих ее отличий имеют для нас громадное значение.

К примеру, естественно бы ожидать, что, когда жидкость переходит в твердое состояние, то ее частицы располагаются тесней и вещество делается тяжелее, плотнее; многие жидкости так себя и ведут, скажем, большинство металлов при затвердевании. Но с водой происходит как раз обратное. Охлаждаясь, вода уплотняется, но точка наибольшей плотности находится в районе 4°C , а ниже этой температуры вода становится несколько легче. Замерзая же, она делается еще — и намного — легче и образует лед, плавающий на поверхности воды. Понятно, что вся география, да и биология тоже, перевернулась бы вверх тормашками, если бы вода не обладала этим аномальным свойством — если бы все реки и пруды замерзали не сверху, а со дна.

Мы так свыклись с этим свойством, что оно вроде бы само собою разумеется. А тем не менее объяснения ему не было. Да и взять другое свойство воды, еще обыденней: почему вода вокруг нас — жидкость, а не газ? Молекулы ее очень невелики — атом кислорода и два атома водорода. У сероводорода, H_2S молекула намного тяжелее, однако сероводород — газ; между водяными же молекулами, легчайшими из малых молекул, силы сцепления почему-то достаточны, чтобы при обычных температурах вода была жидкостью. Химики обходили это затруднение с помощью довода, что вода — жидкость не обычная, а ассоциированная. Молекулы ее ассоциируются, объединяются в большие, дигидрольные молекулы и т. п. Для меня как физика все это звучало весьма туманно и неудовлетворительно, и я чувствовал, что для понимания роли воды в живом веществе необходимо существенно уточнить ее структуру.

Я все еще думал над этим вопросом, когда поехал в 1932 году с группой английских физиков и химиков в Советский Союз, чтобы принять там участие в научных дискуссиях. Часть времени мы провели в Москве, часть — в Ленинграде. До этого я приезжал уже однажды в Советский Союз, но теперь впервые вошел в тесный контакт с советскими учеными; дол-

жен сказать, что для всех нас этот контакт послужил большим творческим стимулом. Особенно сильное впечатление произвели на меня работы профессора Френкеля, чья смерть в 1952 году была такой утратой для физики. Мы с ним обсудили многие из проблем твердого и жидкого состояний, которые его особенно занимали. Но понятно, что пребывание в Советском Союзе было так заполнено встречами, посещениями, осмотрами, что у нас просто не было возможности и времени для разработки фундаментальных теорий. И все же такая возможность в конце концов представилась, причем именно в Советском Союзе.

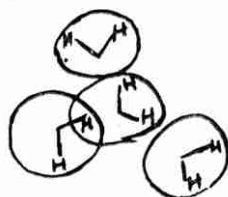
Наш визит близился к концу; мы уже все увидели, истратили все деньги, оформили все документы, чтобы выехать в самый последний момент, исчерпав полностью возможности визита, и вернуться в начале октября к преподаванию в Кембридже. Прибыли мы из Англии морем, в Ленинград, а возвращались воздушным путем из Москвы. В Московском аэропорту, лишь недавно тогда открывшемся, расписание полетов отличалось суровостью. От нас потребовалась явка в аэропорт к четырем часам утра. Так что возникла проблема, как бы не проспать. Возможно, русский человек решил бы ее очень просто: не стал бы вообще ложиться. Я, однако, ухитрился раздобыть будильник — единственный, кажется, во всем Институте физики — и благополучно им разбуженный, вовремя прибыл в аэропорт, но обнаружил там, что улететь нет никакой возможности. Все было окутано густым осенним туманом, и неизвестно было, когда он разойдется. Оставалось одно — ждать. А для ожидания в те времена не было предусмотрено никаких удобств. Негде было поест, негде посидеть, оставалось лишь ходить взад-вперед в тумане и надеяться, что он рассеется. А если не рассеется, то нас ожидали немалые заботы: смена маршрута, переоформление выездных документов, добывание еще какого-то количества рублей и сотня других затруднений, неминуемо связанных с перемной планов. Но как бы ни было, надо было чем-то занять время ожидания, и, прохаживаясь у аэродрома, мы с профессором Р. Х. Фаулером, ныне покойным, повели разговор о том о сем и в конце концов свернули на научную тему. Больше всего прочего нас занимал туман, нас окружавший, и естественно, что о нем и пошла речь. Туман состоит из воды, из водяных капелек размером в какую-нибудь тысячную долю миллиметра, и странно прежде всего то, что, образовавшись, эти капельки затем уж не крупнеют, иначе бы туман, разумеется, превратился в дождь; однако туман обычно в дождь не обращается, упрямно продолжает быть туманом, и капельки его оседают медленно — до неопределимости медленно.

Итак, речь у нас шла о воде, и профессор Фаулер, большой знаток термодинамики, но не очень сведущий в структурных вопросах, попросил меня объяснить структуру воды, как я эту проблему понимаю. И тут-то я задумался над нею заново — в свете наших московских дискуссий. Меня вдруг осенило, что, быть может, ключ ко всей природе воды в структуре самой молекулы. Хотя обычно мы обозначаем молекулу воды как H_2O , не уточняя, как размещены в ней атомы водорода, но проще всего, конечно, расположить их на бумаге так: $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ — то есть на прямой линии. Однако водяная молекула подобным образом построена быть не может, ибо при такой структуре молекула, содержащая два положительных атома водорода и отрицательный атом кислорода, была бы электрически нейтральна, не обладала бы определенной направленностью, моментом. А вода обладает весьма сильным электрическим моментом, и этим, возможно, объясняются ее особенности. Та-

кой электрический момент может образоваться, только если оба атома водорода примыкают к кислороду с одной и той же стороны:



Мелькнула мысль, что именно такое «однобокое» расположение частиц водорода и способно объяснить чрезвычайно ажурный способ межмолекулярного сцепления в воде:



и эта особенность молекул воды должна лежать в основе известного правильного расположения их в кристаллах льда.

Структуру льда раскрыл за много лет до того мой старый учитель, сэр Уильям Брэгг. Он обнаружил, что каждую водяную молекулу льда окружают четыре других, образуя тетраэдр (треугольную пирамиду). Как именно размещены там атомы водорода, он не мог установить, да и никто тогда не мог. Сперва предполагали, что атомы водорода размещены посередине между атомами кислорода. Однако, если мы предположим, что атомы водорода размещаются не между атомами кислорода, а в н у т р и их, тогда каждая водяная молекула окажется совершенно естественно связанной с четырьмя другими молекулами: с двумя свяжут ее собственные атомы водорода, а с остальными двумя — водородные атомы соседних молекул. И тогда парадоксальный факт, что лед легче воды, получит объяснение. Если та или иная группа связана только с четырьмя другими группами, то обычно возможен ряд различных способов расположения, поскольку структура по своей рыхлости напоминает скорее кружево, чем плотно упакованную дробь или горох (где каждый атом окружен восьмью или двенадцатью соседями. — Р. Е. Д.). А нам известно уже кое-что о таких кружевных структурах — известно по структуре кварца, которую раскрыл Гиббс в лаборатории, где я незадолго до этого работал.

Кварц — общераспространенная форма двуокиси кремния — кремнезема, в котором каждый атом кремния тоже соседствует с четырьмя другими — у каждого атома кремния четыре соседних с ним атома кислорода, и каждый кислородный атом связывает два атома кремния. Существует несколько возможных способов такого размещения, и один из них весьма отчетливо выражен в кварце; а кремнезем из вулканических пород — тридимит демонстрирует нам другой способ размещения. Любопытно, что строение тридимита сходно со строением льда.

Кварц структурно плотней, тяжелей тридимита. И мне подумалось, что если вода сходна по структуре не с тридимитом, а скорее с кварцем, то понятно тогда, почему она тяжелей льда. Я развил эту мысль и многие другие в течение тех часов, что мы прохаживались взад-вперед. Собственно, за всю нашу поездку это было единственное незанятое время — ходи, думай, говори, все равно делать больше нечего. А я склонен думать и говорить на ходу, и, как видно из последующего, иногда это дает неплохие результаты. В этот раз все бы разговором и кончилось, не будь моим собеседником Фаулер. Я уж

не помню, до какого момента довел изложение, как вдруг, словно по волшебству, туман рассеялся, зашестел погожий октябрьский день, и хотя утро давным-давно миновало — беседовать мы начали в четвертом часу ночи, а сейчас было четыре часа дня, — но самолет вылетел. Он доставил нас недалеко, в Кенигсберг (теперь Калининград). Но так или иначе, а отъезд наш состоялся и теория родилась. Фаулер сказал мне: «Непременно изложите на бумаге». (Мне это как-то не пришло самому в голову.) Письменное изложение оказалось делом очень скучным, но полезным. Занявшись им, я обнаружил, разумеется, что порядочный процент светлых мыслей, осенивших меня в это мглистое утро, нуждается в существенной переработке и упрочении, что рассуждения требуются одеть в математический наряд. Но основная идея не поколебалась, и в итоге через несколько месяцев наша с Фаулером работа о структуре воды вышла в свет. Как ни удивительно, вот уже третий десяток лет теория держится. И до сих пор я думаю, что вряд ли она возникла бы, если бы не стимул пребывания в СССР и не этот лишний проведенный там денек.

Вторая часть моего рассказа — о том, как, оттолкнувшись от исследования структуры простых веществ, я занялся структурой самых сложных — белков. Произошло это два года спустя. Проблема структурного анализа белков и теперь еще не решена, мы начинаем лишь проникать в ее суть. А в те годы она была почти полностью загадкой. Значение белка было уже общепризнано. Энгельс говорит о жизни как о способе существования белковых тел. И белки эти — вещества невероятной сложности, с десятками тысяч атомов в каждой молекуле — представляли неустрашимую проблему и для химиков и для кристаллографов. Белки — вещества кристаллические, они рассматривались как таковые еще в начале девятнадцатого века; было обнаружено, что многие простые семенные экстракты дают, поставив, очень хорошие кристаллы. Кристаллы гемоглобина (кровяного красящего вещества) известны издавна. А когда современный, вооруженный рентгеном кристаллограф видит кристалл, он тут же стремится раскрыть его структуру — хочет, поместив в рентгеновскую камеру, получить на снимке дифракционную картину. Можно уверенно предположить, что с 1913 года, со времени открытия Брэгга, многие уже пытались получить рентгенограмму белков, но совершенно безрезультатно. Белковые кристаллы — прекрасные с виду кристаллы, с плоскими гранями и острыми ребрами — вместо картины, отражающей кристаллическую решетку, давали на снимке мутное пятно. Я чувствовал, что в этот странный результат требуется внести ясность. Но у меня не было кристаллов. Хотя мне и случалось порой увидеть под микроскопом мельчайший кристаллик белка, но действительно годных кристаллов не попадалось. Я часто слышал о хороших белковых кристаллах, но всякий раз оказывалось, что кристаллы растворились или выброшены, что их уже нет.

У белковых кристаллов отмечена и другая странность, дававшая повод утверждать, что они, собственно, вовсе не кристаллы. Дело в том, что они нарушают основной закон кристаллографии — о постоянстве углов между гранями кристаллов. В белковых кристаллах угол способен меняться: иногда он острый, иногда тупой. Кристалл то так, то этак расширяется, сжимается в различных направлениях; многие поэтому считали, что имеют дело с лжекристаллами, мнимыми кристаллами, и, стало быть, не удивительно, что снимок не дает желанного результата. Я же продолжал держаться мнения, что результат достигим, и твердил об этом встречным и поперечным во всех лабораториях, где я бывал,

но сам не ждал, что из этих разговоров выйдет толк. Однако толк вышел.

В нашей первой поездке в Советский Союз (в 1931 году) участвовал молодой химик Глен Милликэн — альпинист, парень очень предприимчивого склада. К большой нашей печали, он позднее погиб при восхождении. Было крайне трудно обуздывать его туристские порывы, он то и дело пропадал куда-то, но в критический момент всегда оказывался налицо... Он был так мило напорист, что ему почти всегда все удавалось. Ярый любитель странствий, Милликэн путешествовал обычно налегке, с одним рюкзаком. Как-то он со своим рюкзаком отправился из Москвы в Ленинград ночным экспрессом, не делаящим в пути остановок. В те годы ездить было сложно, Милликэн ехал в жестком общем. Приняв меры предосторожности — застопив рюкзак за стойку полки, — он подмотал его под голову и уснул. Ночью вскинулся — рюкзака нет! Кто-то стащил, перерезав рюкзачный ремень бритвой. Другие отнеслись бы к пропаже философски, махнули рукой, но не Милликэн. Он поднял на ноги проводников, обошел, обыскал с ними весь поезд от первого вагона до последнего, тревожа среди ночи пассажиров. Переполоха было много, но рюкзака — ни следа. Однако Милликэна это не обескуражило: раз в вагонах нет, сказал он, значит, надо искать на вагонах. И через окно взобрался на крышу. Там действительно рюкзак нашлся: вместе с другими краденными вещами оказался привязан к вентилятору. Этот эпизод хотя и не имеет отношения к белковым кристаллам, но говорит кое-что о человеке, который мне их раздобыл.

Лето 1934 года Милликэн провел в горном походе в северной Лапландии. Возвращаясь через Стокгольм, он задержался там в лаборатории Сведберга, великого создателя ультрацентрифуги, позволяющей определять размеры белковых молекул. Разговаривая с кем-то из сотрудников и по своей привычке бродя взглядом по лаборатории, Милликэн заметил, что на стеллаже наверху что-то блеснуло. «Что в той склянке?» — поинтересовался он. Никто не помнил уже, взглянули на ярык. Там оказался пепсин — пищеварительный желудочный фермент, которым занимался в свое время Павлов. Этот пепсин давно стоял на полке, позабытый, и достоялся до кристаллизации, причем кристаллы образовались не микроскопические, а крупные, издали заметные глазу. Милликэн вспомнил, что мне нужны хорошие кристаллы, и попросил несколько штук. Ему извлекли оттуда несколько кристаллов, опустили в пробирку, залили пепсиновой жидкостью из склянки, и Милликэн сунул пробирку в карман. В Кембридже он напрямую явился ко мне и вручил пробирку с кристаллами. Я крайне обрадовался и подумал: «Ну, теперь добьюсь рентгенограммы!» Вынув один кристалл, я поместил его в рентгеновскую камеру, сделал снимок. И ничего на снимке не увидел — ровно ничего нужного мне! Сейчас-то я не сомневаюсь, что, пристально всмотревшись, я заметил бы кое-что; но я не знал тогда, во что и всматриваться. Велико было мое разочарование. Ведь на этот раз налицо все требуемое. Есть кристаллы; кристаллы вызывают дифракцию рентгеновых лучей; дифракции не обнаружилось. Что-то, значит, у меня не так. Что же именно? Разве лишь то, что я вынул кристалл из его естественной среды. Мелькнула мысль, что надо исследовать кристалл в жидкости, где он растет. Выбрав тоненькую, чуть ли не волосного просвета пробирку, я принялся выуживать этим странным сачком — вернее, черпаком — один из кристаллов. Зачерпнул его вместе с жидкостью, закупорил пробирку, сделал снимок — и, к моему изумлению и восторгу, получил прекрасную дифракционную картину...

Это явилось лишь началом очень длинной истории, но уже начало показало, что белковые молекулы обладают вполне правильным пространственным порядком. Теперь, когда мы знаем это, десятки исследователей пытаются разрешить загадку расположения атомов. Дело это долгое, продвигается оно усилиями многих. Мы в нашей лаборатории помогаем двигать его, решать проблему расположения атомов в кристалле. Но не о том мой рассказ. Я хотел только проиллюстрировать, как возникают научные открытия. Может показаться, что это целиком вопрос удачи, случая, и — в известном смысле — так оно и есть. Но, как в притче об отце, сыновьях и зарытом среди поля золоте, удача приходит лишь тогда, когда знаешь, где искать, и когда ты готов копать без устали и не теряя надежды.

3

ИСТОРИЙКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

На время войны я полностью оставил свою обычную научную работу и занялся практическим применением науки к различным аспектам военного дела. Вначале деятельность моя сводилась к мерам защиты от немецких воздушных атак. Да и сама война тогда сводилась к тому, что на Англию сыпались немецкие авиабомбы, и моей задачей было, изучив их действие, по возможности ослабить это действие.

С бомбами взорвавшимися делать было нечего. Но очень много было и таких авиабомб, которые сразу не взрывались. Во-первых, сюда относились неисправные бомбы, то есть неспособные взорваться, а во-вторых, бомбы замедленного действия; через сколько часов они взорвутся, было совершенно неизвестно. Отличить второй разряд бомб от первого, разумеется, крайне трудно, в дни «блица»¹ много зряшных хлопот доставляли сообщения о бомбах, которые оказывались на проверку неспособными взорваться или уже взорвавшимися, а иногда никакой бомбы не оказывалось вообще. С другой же стороны, случались и трагедии из-за того, что о бомбе не сообщили. К тому времени я уже немного набил руку на авиабомбах и стал как бы разъездным консультантом по всякого рода невзорвавшимся бомбам. Приводимые ниже историйки — просто эпизоды из моей тогдашней практики.

Помимо прочего, я проводил тогда во всех районах Лондона беседы о том, как отличить бомбу замедленного действия от неспособной взорваться и как определить, взорвалась ли бомба, глубоко зарывшаяся в землю. Свои беседы я, бывало, иллюстрировал наглядными примерами, благо их хватало вокруг в те времена большого лондонского «блица».

Работы, разъездов в связи с этими бомбами у меня было по горло, и я даже имел однажды случай убедиться, что мои наставления дают какие-то плоды. Я и сейчас отлично помню этот случай. Большое кирпичное здание, занимавшее целый квартал, попало под бомбы. Одна из бомб разрушила крыло дома — все десять этажей сверху донизу, но другие части громадного здания остались стоять. Всех жильцов эвакуировали; когда я прибыл на место, там находились только уполномоченный ПВО и офицер службы обезвреживания невзорвавшихся бомб. Уполномо-

¹ Речь идет о массированных налетах немецкой авиации в 1940—1941 годах во время «битвы за Англию».

ченный встретил меня, повел по зданию и неожиданно спросил, взглядевшись:

— Вы тот самый профессор, что проводит беседы о бомбах?

— Тот самый, — подтвердил я.

— Ну вот, а я, как увидел бомбу, сразу подумал: «Надо действовать, как профессор говорил».

И интереснее всего, что он в самом деле запомнил мои указания, и правильно запомнил. В частности, та бомба, которую он обнаружил невзорвавшейся в одной из комнат, относилась к типу бомб, как правило, не имеющих взрывателя с замедлением, и, вспомнив это, он не испугался бомбы и даже оттранспортировал ее вниз. Я обычно брал с собой фотоаппарат, чтобы снимать интересные аспекты бомбежек. Мы обошли уже здание, как вдруг уполномоченный спросил, не угодно ли мне мороженого. Был сентябрь, погода стояла жарковатая, мороженое пришлось бы кстати, но отчего это он заговорил о мороженом? Он объяснил, что сегодня у них к обеду мороженое, а теперь всех эвакуировали, и оно осталось — сто порций, а есть некому! «Все равно пропадают, хоть вас угощу». Мальчишкой я бы счел, пожалуй, что моего аппетита вполне хватит на сотню порций, но теперь, увы, смог осилить всего лишь одну. Затем я спустился вниз и увидел, что бомба лежит на ручной тележке, а между офицером и моим фотоаппаратом идет жаркий спор. Служба обезвреживания бомб и Гражданская оборона — два разных ведомства, и, естественно, каждая из сторон считала, что право на информацию о бомбе принадлежит ей. У этого спора, решил я, нездоровая окраска, поскольку все мы стоим рядом с бомбой, а я отнюдь не разделяя неколебимой уверенности уполномоченного в том, что моя оценка бомбы безошибочна. В конце концов, незаметно сфотографировав бомбу, я отправился восвояси.

У второй истории конец тоже счастливый (а иначе некому было бы эти истории рассказывать). Она связана с одним из лондонских вокзалов. Как-то во время довольно сильного дневного налета я сидел в штабе противовоздушной обороны. Поступали сообщения о бомбах, падающих на Букингемский дворец, на речные доки, — валяющихся повсюду. Затем доложили, что на одном из главных вокзалов обнаружена невзорвавшаяся бомба! «Сидеть зря нечего, — подумал я, — поеду-ка взгляну, что за бомба, что с ней делать». И отправился вдвоем с моим верным фотоаппаратом и, преодолев уличные завалы и заграждения, очутился на площади перед вокзалом. Там собралась, конечно, большая толпа: люди спешили выбраться из Лондона, а вход на вокзал был прегражден огромными воротами. Как же нам туда пройти? Тот, кто воздвигал ворота, не учел средневекового правила, что в них должна быть предусмотрена калитка для выборочного допуска. Потребовалось человек шесть полисменов, чтобы, преодолев напор толпы, приоткрыть ворота и пропустить нас. За воротами все было мне знакомо, я не раз бывал здесь еще в детстве, тогда вокзал казался мне огромным, и поездов в нем казалось без счета. Я направился прямо к особе настолько вельможной, что с трудом верилось в ее существование, — к начальнику вокзала. Он вместе со всеми вокзальными служащими пребывал в глубоком бомбоубежище. Меня встретили вопросом:

— Вы по поводу бомбы?

— Да, я из Гражданской обороны, — ответил я.

— Ну, слава богу. Вы нас научите, что делать.

— А где эта бомба? — спросил я.

— На первой платформе, — ответил начальник вокзала. — Она упала и не взорвалась, я остановил все поезда, а как дальше быть, мы не знаем.

— Что ж, пойду взгляну, — сказал я.

Вышел на перрон и в конце первой платформы действительно увидел большое углубление на месте, где бомба вошла в землю. Но я заметил характерное почернение по краям и несколько осколков и смог незамедлительно установить, что это вовсе не бомба, а разорвавшийся зенитный снаряд; воронка от него была в самом деле схожа по размерам с ямой от бомбы. Понятно, что никакого вреда снаряд причинить уже не мог, и, весело вернувшись к начальнику вокзала, я имел удовольствие сказать ему:

— Можете снова пускать поезда, тревожиться не о чем, это всего-навсего разорвавшийся снаряд.

Еще одна история, пожалуй, тривиальнее всех прочих, но случай тот меня позабавил. Нас особенно интересовали различные новые бомбы и новые взрыватели, и когда приходила откуда-нибудь весть о необычном немецком гостинце, то я выезжал на место для личного ознакомления, поскольку знал, что информация из вторых рук редко обходится без искажений. И вот пришло сообщение о бомбе странного типа. Она упала в отдаленной части Англии, но у меня была машина, и погожим днем я отправился туда. Однако, не доезжая, уперся в опущенный шлагбаум, охраняемый полицией. Я предъявил пропуск, сказал, что хотел бы взглянуть на бомбу, и в ответ услышал:

— О нет, к сожалению, этого нельзя, это воспрещено. Сюда должно прибыть очень важное должностное лицо для осмотра бомбы, и у меня строжайший приказ не допускать никого к бомбе до его прибытия.

— Хорошо, — сказал я, — а когда лицо прибудет?

— Ожидаем через полчаса, — ответили мне.

— Что ж, — сказал я, — подожду. — И стал ждать. Прождал полчаса — безрезультатно. Еще подождал — опять попусту. «Все это очень мило, — подумал я, — однако я теряю время из-за чепухи».

— Очень жаль, — сказал я, — но дольше ждать не могу, ехать надо.

И, отъехав, я дал небольшой крюк, затем пролез сквозь две-три живых изгороди, как следует осмотрел бомбу, сделал нужные снимки и вернулся к себе в штаб. А там секретарша встречает меня словами:

— Надеюсь, я угодила вам своим распоряжением относительно бомбы?

— Каким распоряжением? — спрашиваю.

— Я велела, чтобы никому не разрешали осматривать бомбу до вашего прибытия туда.

Да, долго бы пришлось мне дожидаться самого себя!

4

ВЫСАДКА В НОРМАНДИИ

5 июня 1944 года — канун

Как бы вскользь, мимоходом простились. Дорогой в Лондон — все спокойно и буднично. На утреннем сборе ничего необычного. Я справился у капитана — метеосводка неблагоприятная. Неужели отложат на день? Или же отменяет вообще? Решил заняться своей повседневной работой. Но тут звонок от коммодора¹: «Отправляемся через пять минут». Сели в машину; выезжали уже из ворот, ко-

¹ Военно-морское звание; выше капитана первого ранга, но ниже контр-адмирала.

гда я хватился карт и вернулся за ними. Утро пасмурное, скверное.

Миновали Хайндхед и Питерсфилд, и движение на дороге заметно усилилось; все больше и больше транспортных колонн; вот и опустевшие площадки, где два дня назад стояло столько танков и орудий.

Приехав в штаб, мы разделились; я пошел к П., обсудил с ним, на что мне обратить особое внимание на месте. Поговорил также со штурманами, корабельщиками, а главное, с офицерами разведслужбы. Собственно, доделать теперь мало что можно: даже свежая информация, полученная мной по проводам, уже бесполезна — вовремя передать ее командованию экспедиционных войск не успеют.

Мы с П. решили пройтись. Штаб наш — палаточный и барачный лабиринт, так тщательно укрытый, что идешь и кажется, будто вокруг обыкновенное, хорошо ухоженное поместье — лес, луга, искусственное озеро. Мы вышли за черту городка — там известные южноанглийские холмы, и видно море, где стоит десантная армада, отплывающая вот-вот. Мглисто, свинцовые тучи, перемежающийся дождь. Огромное скопление судов, но на фоне туч и моря оно кажется очень небольшим. Мы прилегли на траву и занялись оценкой шансов на успех в различных пунктах высадки. По мнению П., ехать мне в Нормандию отчасти глупо, я и сам это чувствую. Мне трудно обосновать разумность своей поездки, ведь я не смогу повлиять на происходящее там, смогу лишь намотать кое-что на ус для будущих десантов, которые, возможно, не состоятся никогда. Но в то же время чувствую, что мне надо туда непременно, что не прошу себе, если не буду при этом.

Мы не спеша вернулись в штаб. Работа шла там теперь оживленной. Я направился в «артиллерийскую» комнату, поизучал на картах план артиллерийского огня. Подошло время обеда. В салоне, за рюмкой, познакомился с обоими нашими офицерами-метеорологами. В известном смысле, они тут ответственнее всех — на основании их сводок отдан приказ приступить к операции. Пить метеорологи не стали. Мы поговорили на метеорологическую тему — о методах определения рабочей точности прогнозов путем «взвешенного усреднения» различных факторов: ветра, облачности, высот и т. д.

Теперь экспедиционные силы уже далеко в море. Вошел радист. Он крайне удивлен. «Они уже вполне в пределах досягаемости, а немцы еще не обнаружили их». Все очень тихо и мирно — и нервы натянуты. Я составил по разделам перечень всего, что мне надо будет выяснить на месте; дел больше не было, и в полночь я лег спать.

6 июня — день «Д»

Спалось плохо — все время мысль о том, что происходит по ту сторону Ла-Манша. «А господа, что в Англии сейчас в постелях нежатся...» (Шекспир, «Генрих V»). В четыре часа утра окончательно проснулся. Перекинулся словом с П. Он сходит узнать, нет ли существенных новостей. Затем вернется за мной в спальню. П. ушел и все не возвращался. В 4.30 я тоже встал, оделся. Лег в постель я штатским человеком, теперь же старательно и весьма плохо замаскировался морским офицером. Мне надо теперь помнить, что без головного убора не полагается пройти даже из спальни в главное здание!

Я поднялся в «артиллерийскую». Абсолютно ничего нового. Первый оперативный эшелон уже, вероятно, обнаружен немцами, но еще не обстрелян. Самолеты уже вылетели, из-за непогоды эффект от них будет, наверно, весьма слабый, хотя придано нам их больше, чем ожидалось. Но плохую погоду компенсирует явная внезапность вторжения.

Наступил час «Ч» — время высадки десанта. Там уже, должно быть, высаживаются, а мы все еще ничего не знаем. Задержка отчего-то. Орудия не введены в действие... Но тут начали приходить вести: хорошие, плохие, так себе, — однако пятьдесят процентов добрых вестей, а это превосходит наши ожидания. Огонь немецких береговых батарей, согласно донесениям, очень слаб. Стали поступать сообщения о высадках, но крайне скупо и с большими паузами. Некоторые из донесений кодированы, на расшифровку уйдет время. Дел пока не густо, можно сесть за завтрак — плотный, настоящий флотский, из трех блюд. Затем пришли еще новости: в трех по крайней мере пунктах побережья высадка проведена успешно, захвачены плацдармы. В четвертом закрепиться не удалось; из пятого нет никаких сообщений, и это скверно, поскольку там труднейший участок. Но, в общем, у нас прямо дух захватило. Дела явно шли намного лучше, чем мы смели надеяться. Суда доплыли без помех, нет ни воздушных контратак, ни значительных вражеских сил.

Сообщения снова замедлились, стали поступать по чайной ложке. Мы с П. вышли прогуляться у озера, поговорили о хлопотах, которые доставляет нам, ученым, специфика военного флота. Зелеными полями мы прошли к развалинам древнего монастыря и к странному старому особняку с заглушим садом, заросшим сорной травой. Потом вернулись, и в последний раз перед отплытием я сел за обеденный стол. Вошел коммодор, я отдал честь — впервые в жизни! Вышли во двор, поехали в порт. Прибыли туда рано, за полчаса до отправления. Прошли по артиллерийскому полигону. Все кругом удивительно мирно. Затем мы поднялись на торпедный катер, пришвартованный к стенке. Капитан коммодору знаком. Коммодор знал еще его отца!

На мостике всем нам было не уместиться. Я пристраивался и так и этак — то ненадежно вставал на лесенке, зависая на поручнях, заглядывая через плечи моряков, то садился на нижней ступеньке, глядел за корму. Расчеты заняли свои места, люди легли или присели за укрытия на палубе. Переход оказался тяжелый. Капитан раздал гайосин — таблетки от морской болезни; отлично помню, как С. испытывал их два года назад.

Проплыли мимо многих давно знакомых зданий и вышли из гавани в море, держась пока берега. Следом, тоже на большой скорости, плыли четыре сторожевых катера, точно четыре птицы, чертящих воду белопенными крыльями. Волны швыряли наш катер из стороны в сторону, подымали на гребень и обрушивали вниз, взметая потоки пены. Нечего было и думать уберечься от брызг, но нас это не беспокоило — бодрила быстрота движения. Мы начали обгонять конвой второго эшелона: сотни самоходных танко-десантных барж и прочие суда; мы проносились мимо них, переваливавшихся на волнах. Когда вышли на середину Ла-Манша, ветер усилился, но мы не шли, а летели по бурной волне. Нас то захлестывала, обдавала брызгами одна волна за другой, то наступала передышка на минуту-две.

Стало проясняться, сперва отдельными просветами, а затем все небо очистилось. Вышло солнце, и под солнцем, на ветру, на волне плыть стало совсем весело. Экипаж катера состоял из молодежи, самому

старшему было, по-моему, не больше двадцати двух. Мы все были возбуждены, но переговариваться могли только на языке жестов — так оглушителен был рев машины и грохот волн.

Мимо нас плыли уже обратные конвои, мы вглядывались в суда, ища следов участия в бою. Нескольких судов шло на буксире, на других виднелись пробоины от мин, но само уже их возвращение означало успех, означало, что Дьепп¹ не повторится. Как запомнились мне тогда битые и мятые танко-десантные баржи — те немногие, которым удалось вырваться из Дьеппа!

Небо голубело теперь сплошь, только на южном горизонте высокая облачная гряда, и над Францией тучи. И тут я увидел узенькую серую полосу — Францию, которую не видел четыре года. Затем стали обозначаться корабли. Повсюду вокруг крейсера, линкоры, грузовые суда, транспорты-танконосцы и сотни других. Берег уже ясно очертился — берег, так прочно врезавшийся в мою память. Я столько раз вглядывался в него на картах и фотоснимках, что мне известен каждый его участок. Дальние колокольни Лонга и Люка; величаява звонница Берньера, высящаяся над лесами; водонапорная башня над Курселем; холм Мон-Флери и Вирский маяк. Селение Ривьер с детским санаторием, а за ним, в другой низине, — Арроманш, где я побывал десять лет тому назад. В Арроманше еще ведут бой — видны время от времени слабые вспышки; ближе взморье застлано дымом пожаров: грохочут орудия больших кораблей, но обстрел ведется вразброд. Снаряды падают за мысом Монтрие.

Небо опять заволокло, волна по-прежнему высокая. Наше штабное судно еще не прибыло, и мы подплыли к кораблю командования. Улучив минуту, когда катер подняло на волну, мы по шторм-трапу вскарабкались на борт. Расставание с катером еще резче подвело черту, чем расставание с Англией.

Война не война, а на большом корабле всегда своя особая атмосфера. И, окунувшись в нее, попав в это тепло и свет, я тут же ощутил, как я промок и озяб. Но с меня незамедлительно стащили куртку, провели в кают-компанию, и вот я уже пью у стойки отличные, недоступные в других местах напитки и здоровуюсь с офицерами, знавшими меня как штатского и удивленно косящимися на мой военно-морской камуфляж. Коммодор нашел свободную каюту. Затем сели обедать за весьма обильный стол. Нам сообщили последние новости, что взморье занято, противник отеснен за холмы, но плацдарм невелик еще, а от американцев никаких известий. Было девять часов вечера. Кто-то проговорил: «Речь короля». Король обращался по радио. Я подошел поближе. На единственном незанятом стуле расположился корабельный кот; я присел на краешек. Странная, с запинками, речь продолжалась; трудно было поверить, что за окном — середина двадцатого века. Зазвучал гимн, офицеры довольно небрежно встали «смирно».

Вернувшись в каюту, я занялся своими записями. Вдруг раздалась сирена, я надел шлем и вышел на палубу. Небо теперь было в сплошных тучах, начинало темнеть. Сверху доносился знакомый гул самолетов, все корабли вели зенитный огонь. Красивые фонтаны с треском били в небо, трассирующие красно-огненные струи взметались и опадали, хлопаясь и перекрещиваясь.

— Готовы без конца палить трассирующими, — заметил один из офицеров. — Такой прелестный фейерверк. А иначе бы, наверно, вовсе не стреляли. Ладно, пусть тешатся. Противнику, правда, ущерба никакого, но нам-то приятно.

Начали падать бомбы, негусто и далеко — на берегу. Снова гул самолетов; к своему удивлению, я обнаружил, что у меня стучат зубы. Не то чтобы я поддавался осознанному страху, но действовала эта корабельная отрезанность — на суше под бомбами было бы легче. «На корабле я заперт, как в темнице, на узника готовый обвалиться» (Джон Донн).

Мимо меня проходили матросы-пожарники; к пожарным тревогам я и на суше привык. Затем опять все стихло. Я пошел назад в каюту и в дверях столкнулся с инженер-механиком, только что вернувшимся с берега и считавшим каюту своей. Оспаривать его права я уж никак не стал бы и возвратился на палубу как раз к очередной сирене. Когда тревога кончилась, я направился в каюту забрать вещи и порасспросить инженер-механика о том, что он видел на берегу. Потом тихонько вошел в каюту коммодора и лег, не раздеваясь, на боковую скамью. Теперь было совсем тихо, на корабле волна почти не ощущалась, но уснул я с трудом.

7 июня

Встал, как и накануне, в пятом часу утра и вышел на палубу. Серело предрассветно. Ветер вроде бы убавился, но повернул теперь к северу и подымал волну. Я стал прогуливаться по палубам; в 5.30 ко мне присоединился коммодор. Я сказал ему, что если хотим попасть сейчас на берег, то надо отплыть не позже 5.45, иначе отлив помешает. Коммодор подошел к вахтенному офицеру узнать насчет катера. Я же пошел в каюту за всеми нужными вещами и только повернулся выходить оттуда, как вдруг рвануло, грохнуло, запахло дымом. «Прямое попадание, — подумал я, — и где-то тут рядом». Действительная, а не воображаемая опасность как-то даже взбодрила меня. Я вышел на палубу: бомба угодила в носовую часть, футах в тридцати. Минуты не прошло, как пламя поднялось уже до верха мачты.

Ветер относил пламя назад, на меня, через тамбур сходного люка. Я мысленно прикинул: попадание пришлось не весьма для нас удачно. Стоим носом к ветру, он гонит пламя на корабль, и у огня все шансы распространиться. На море сильная волна, вряд ли удастся благополучно спустить шлюпки — к тому же их почти наверняка не хватит на всех. Я, пожалуй, один здесь на борту без спасательного нагрудника, окрещенного моряками «Мей Уэст»¹. А ведь я достал себе отличный нагрудник, но забыл его в штабе. Пришла на память статистика бомбежек: из каждых трех кораблей, пораженных бомбой, на одном разгорается пожар; вспомнились обгорелые остовы судов в порту Триполи. Но это не пугало, думалось об этом просто, как о непреложном факте.

Забегали пожарные группы, подтаскивая шланги. Пробежал мимо офицер с небольшим ручным огнетушителем. Опять послышался гул самолетов, и ожила повсюду зенитная пальба. Самолеты шли высоко в небе, это были, без сомнения, наши «спитфайры». Но бомбежка взвинтила у всех нервы, и стрельба велась уже без разбора.

¹ Имеется в виду высадка британского десанта в Дьеппе летом 1942 года.

¹ Мей Уэст — известная американская киноактриса.

Через очень короткое время пламя стало, однако, снижать. Я подошел поближе. На краю палубы лежал, привалившись к поручню, один из зенитчиков, без сомнения, мертвый — явственно была смертная бледность, искаженность лица, — а еще и десяти минут не прошло с момента падения бомбы.

Пламя уже почти угасло. «Инцидент, я думаю, исчерпан, — сказал подошедший ко мне командор. — Надо ехать на берег». Он окликнул проходящий катер, и мы спустились по мотавшемуся на ветру шторм-трапу. Накануне вечером я видел, как сгружали целый дивизионный штаб — от генерала и вплоть до капрала-сигнальщика, — спускали в катер без особых церемоний, на леерах. Но на мне морская форма, а морякам положено самим спускаться. Выбрав момент, когда катер сблизился с бортом, я прыгнул и, к счастью, не промахнулся. Это был, собственно, не катер, а донельзя странный американский бот — нечто ревущее мотором и бросающее качкой во все стороны. У нас был выбор: либо лежать в трюме, не высовывая носа и ничего не видя, либо же высунуть нос — и тут же окатит волной, как из ведра. Коммодор, одетый в полную форму, долго ухитрился остаться сухим, но под конец нахлынула неожиданно высокая волна и промочила его насквозь.

Мы с трудом подвигались к берегу. Кругом тихо — стрельба вся прекратилась. Суда стоят на якорях. Несколько катеров и амфибий в движении. Берег виден теперь яснее — поселок Ривьер, дюны обширного Ёртоского болота. На берегу нагромождение танко-десантных барж, застрявших на отмели. У рулевого приказ — к берегу не причаливать, и он весьма неохотно вел свой бот к земле. Еще на глубоководье мы вдруг застряли, сев на что-то: возможно, наткнулись на подводное препятствие, но, скорее, это была затонувшая баржа или сухопутная машина. Освободились мы не сразу. Вокруг виднелись другие потерпевшие аварию суда. Мы поняли, что до берега добираться сможем разве что вплавь. Пробовали окликать грузовики-амфибии, но они проходили слишком далеко от нас или же направлялись от берега. Оставалось одно: возвращаться на корабль. Теперь мы плыли прямо против ветра, очень медленно. Нас било волной. На душе у нас стало тяжело. В такую погоду практически невозможно будет доставлять на берег снабжение и подкрепления атакующим частям.

Вернулись мы на корабль часа через два. Подняться на борт было еще труднее, чем вчера. Оба судна качало, оставалось мало что увидеть, да и не попадешь туда — слишком сильная волна, катерам теперь не подойти к борту без риска столкновения. Общество в кают-компанию собралось смешанное: генерал и при нем полковник; американский майор и старший командор. У моего командора понемногу поднялось настроение, он принялся рассказывать забавные истории, и, не долго думая, мы сели играть в покер — не на деньги, а на выпивку. Капитан любезно делал вид, что не замечает нарушения порядка. В душе все мы чувствовали, что непогода решает судьбу всей операции, — фортуна явно поворачивалась к нам спиной. Неужели наступал исторический реванш за 1588 год?.. Я вспомнил, как метеорологи жаловались

на «целый стусок циклонов, какого не бывало в июне на памяти живущих». Плохая погода продлится до среды, и в среду днем, возможно, переменится, но полагаться на это нельзя...

Но тут, словно по волшебству, непогода кончилась. Тучи ушли, ветер упал, море почти сразу же успокоилось. На корабли, на береговые леса и поля пролился яркий, сильный свет солнца. Вся стоянка как бы встряхнулась и ожила. Транспорты-танконосцы двинулись выгружаться. Пошли к берегу грузовые суда. Море закишело мелкими суденышками. Коммодор отправился на торпедном катере с докладом. Я же вместе с майором-американцем снова поплыл на берег, и на этот раз моя попытка увенчалась успехом. Грузовик-амфибия доставил нас напрямик на место, высадив на землю Франции как раз в одном из тех пунктов, рельефом которых я так часто занимался, историю и геологию которых знал уже досконально.

У майора был слегка растерянный вид. Ему требовалось сейчас добраться в штаб корпуса, мы пошли с ним от берега вместе. Военная полиция нас не окликала. Картина вокруг была неправдоподобная. Неровная шеренга застрявших десантных барж; вереница боевых машин, идущих на холмы; там и сям побитая и разбомбленная техника, брошенные танки. Разного рода десантные службы разбивают палатки, посты, обозначают их флажками. Военные полисьмены регулируют движение. Ряды лежащих трупов, прикрытых одеялами. И солдат какой-то — успел раздобыть свой первый сувенир, пару деревянных сабо.

Мы шли по пыльной дороге, ведущей от взморья; здесь видны были следы сильной бомбежки, артобстрела. Развалины домов напомнили мне Плимут. Мы стали подниматься на холм. Первые увиденные нами жители были крестьяне в синих блузах, молчаливые, почти угрюмые. Я не отметил и следа того энтузиазма, с каким встречали нас в Триполи арабы и даже итальянцы. Прошла женщина и улыбнулась, но еле заметно. Дома на холме меньше подверглись разрушениям, крылечки увиты розами, но на розах пыль, повсюду пыль — дорожная и от бомбежек. Улицей идут двое: мужчина средних лет с женой. У мужчины интеллигентный вид. Местный учитель, должно быть.

— Bonjour, monsieur, — поздоровался я. Мы немного поговорили.

— Я пять лет ждала этого дня, — сказала жена.

— Вы произвели на нас впечатление мощи, какого немцы никогда не производили, — сказал муж. — Немцы бежали поспешно, бросая все — продукты, свиней, даже кур своих и кроликов. Вчера их было тут сорок солдат, а сейчас — никого. В последние дни нам приходилось несладко — на деревню упало много бомб, десятерых жителей убило.

— Надеюсь, что на этом война для вас кончится, — сказал я. Они учтиво поддакнули, но без особой убежденности.

Немного погодя я очень вежливо заговорил со встречными монашенками, но наткнулся на ледяную и немую добродетель.

Майор сел на попутную машину. Я пошел дальше один, прошел еще деревню и на скрещении дорог увидел непохожих на французов людей, сидящих вокруг памятника павшим. Я не сразу понял, что это пленные, — сидят себе под охраной немногих сидящих сбоку конвоиров-автоматчиков. Немецкая толпа эта в своей серо-зеленой форме выглядела разнородно: мелькали восточноевропейские или азиатские лица; вид у всех был хоть и оторопелый, но свежий — сражаться им пришлось явно не больше нескольких часов.

¹ В 1588 году английским флотом была разгромлена испанская «Непобедимая армада», потерявшая много судов во время шторма.

Я направился на поиски немецкой береговой батареи, пошел по тропинке, по-видимому, свободной от мин, но она уперлась в колючую проволоку, в очередное минное поле. Пройдя через зеленеющую пшеницу и осмотрев воронки по пути, я вышел на другую тропку, где встретил солдат. Они справились у меня, не заминировано ли тут. Я спросил их, где расположена батарея, и сержант вызвался проводить меня. Я знал, что он ведет меня не к той батарее, но, не желая обидеть, пошел с ним. Он расспрашивал о ходе операции; у них у всех я отметил жадный интерес к новостям. Я несколько удивился, встретив наконец солдат, живо интересующихся ходом войны, которую они ведут.

Я осмотрел батарею, сделал снимки. Пехота сплошной лентой поднималась от берега по тропе. Во всем чувствовалось теперь оживление, убыстренность. Становилось жарко, я был слишком тепло одет, но сбросить с себя ничего не решался — не хотел ронять достоинство офицерской касты. Из солдат же многие шли раздетыми.

Сойдя по соседней тропке на взморье, я встретил нашего штабного офицера, прибывшего сюда с первым эшеломом. Мы постояли с ним на дороге, поговорили. Виднелись кое-где минные поля, проволочные заграждения — все это весьма напоминало английские оборонительные сооружения 1940 года, но выглядело даже как-то менее внушительно. На той стороне рва валялась убитая корова, окостенело и нелепо задрав ногу.

Неожиданный выстрел, треск черепицы; вероятно, неприятельский снайпер, но сказать наверняка нельзя, внимания особого никто не обращает. Позднее я узнал о снайперах несколько больше. Очевидцы делились впечатлениями, один из присутствовавших офицеров делал подробные записи. Он хотел составить общую картину всего; надеюсь когда-нибудь прочесть его рассказ.

Идти дальше было нельзя — там взрывали прибрежные мины, чтобы расчистить подходы. Все пряталось при этих гулких взрывах, столь знакомых мне по полевым испытаниям, и, простясь с офицером, я направился вдоль берега. Вот и заграждения, бревенчатые скаты, ежи — все это я так часто видел, всматриваясь через лупу в аэрофотоснимки, и наносил затем на карту. Я подошел взглянуть поближе. Там усердно работала команда по расчистке заграждений. Добровольцы взбирались на столбы, обезвреживали мины. Они пожаловались мне на опасный беспорядок: работа работой, но разве это справедливо — создавать взрывную волну в то самое время, как они тут с минами возятся. Я сфотографировал их за работой, чувствуя себя тоже не слишком уютно — я ведь сам находился не дальше от мин, чем они. Однако вряд ли взрыватели у мин настолько уж чувствительны.

Время от времени слышался слабенький свист, и мы прятались по укрытиям, но прятались обычно лишь после взрыва, чтобы уберечься от падающих с неба осколков и обломков.

Поток сгружаемой техники то густел, то прерывался. Начальник пункта высадки сказал, что дела еще невпроворот. Слишком мало выделено людей. Они мне рассказали, как проходила высадка десанта. Лейтенант, молодой крепыш, был ранен при штурме в плечо, но ему забинтовали кое-как, и он остался в строю. Эти приятные и сметливые парни сделали мне ряд толковых замечаний относительно того, как улучшить оснащение; я пообещал сделать что смогу. Если опять станем когда-либо высаживать десант, нам придется серьезнее заняться разграждением: слишком много тут кругом десантных средств, подорвавшихся на минах или напорвавшихся на препятствия.

Пока мы разговаривали, снова двинулся поток техники. Один солдат заметил что-то в песке, остановил окриком танк и вытащил прямо из-под него мину. На взморье в изобилии виднелись донные мины. Встречались тут и скрытые мины-ловушки; если бы не остерегавшие меня солдаты, я почти наверняка наткнулся бы на которую-нибудь. Неподалеку продолжали подрывать препятствия, в воздух взлетали увесистые куски стали. Мы укрылись за севшими на песок баржами. Солдаты пили суп из консервных банок; меня угостили взбадривающими таблетками, весьма действенными, и спросили, что нового. Чувствовался живой, но лишенный тревоги интерес. Я поделился с ними своими — уже староватыми — новостями.

Кругом все опять стало тихо — ни оружийного огня, ни самолетов. Я пошел взглянуть на немецкий дот. Пушка, нанесящая нам при штурме такой урон, лежала теперь разбитая у дота, и на ней сушили мокрую одежду. Это напомнило мне 1939 год и белье, развешанное на линии Зигфрида. А фортификации здесь убогие; я и раньше не слишком верил в Атлантический вал, но сейчас меня так рассердила глупая неряшливость постройки, что прямо хоть пиши в организацию Тодта¹ и требуй увольнения виновных! Дот взяла штурмом пехота, понесла при этом довольно большие потери. У немцев же убитых очень мало, но пленных взято порядочно.

День медленно клонился к вечеру. Я направился к тому участку взморья, где мной был предсказан торфяной и глинистый грунт. Так и есть! Именно там, где в семнадцатом веке находился Абель. Именно там, где в неолитическую эпоху напластовался этот грунт поверх глины последнего ледникового периода. И в грунте этом, как мухи в янтаре, уязвля все виды техники, кроме «джипов»: и танки, и грузовики, и даже трехосные амфибии. Одни сейчас вытаскивались, другие снова застревали. «Всегда одно и то же», — подумал я. — Пусть я прав, пусть даже знаю, что прав, но нет во мне беспощадной напористости, необходимой, чтобы убедить других в моей правоте и заставить их сделать по-моему. Все это так не нужно, всего этого барахтанья в грязи могли бы избежать, когда бы не считали, что мои возражения чисто теоретического и статистического свойства, и людям практическим можно от них отмахнуться».

Придя на условленное место встречи с американским майором, я не застал его там и не спеша направился вдоль взморья, очень широкого и плоского в этот час отлива. Миновал еще несколько групп немецких пленных, гуськом грузившихся на суда. Снова встретил у воды начальника пункта высадки. Уже вечерело, движения на берегу отмечалось мало. Не на чем было и отплыть. Но тут мы увидели грузовик-амфибию в полумиле от нас. По лужам, мимо побитых барж, мы побежали туда. Прилив заливал уже отмели. Машина как раз входила в воду, но мы крикнули водителю, он остановился, взял нас на борт.

Амфибия доставила нас на командное судно, откуда — после нескончаемого ожидания — мы на боте добрались до нашего корабля.

Вечер был славный, тихий, сулил погоду еще лучше нынешней. Я ощущал необычную радость: несмотря на всю сумятицу и неумелость, здесь что-то наконец делается, и все, кого я ни встречал, так бодры и радушны, и чувствуешь — они двигают дело не просто по долгу службы, а по собственному своему стремлению.

В кают-компанию сел с нами офицер, обошедший и объехавший сегодня всю линию фронта. Он рас-

¹ Немецкая военно-строительная организация.

сказал, чем заняты сейчас различные войсковые соединения; к северу от Кана, сообщил он, начинает развиваться контратака. Масштаб войны все еще очень мал: за один этот летний день на попутных «джипах» и пешком офицер обошел весь фронт. Час спустя он отбыл обратно в Англию с докладом. А покамест пятеро нас здесь осведомлены о событиях второго дня на втором фронте лучше, чем кто бы то ни было. Долгий это был день, полный перемен и контрастов, бездействия и деятельности, ветра и солнца. Сегодня ночью у Люфтваффе¹ реальный шанс уничтожить с воздуха наше сосредоточение на берегу и суда на стоянке. Но, хотя зенитная стрельба уже началась, мне было все равно, сон свалил уже меня на койку.

8 июня

Ничего с кораблем не случилось. В пять утра меня разбудил вестовой, принесший чашку чая. Отменно, как все дни, позавтракав, в 5.45 мы отправились на катере объезжать весьма официально корабли с поручением от старшего командора. Прибыв на первое же судно, мы учтиво осведомились, спокойно ли прошла на судне ночь, и в ответ услышали: «Нет, не совсем. Четверо убитых, двадцать раненых».

Утро было мирное, красивое; солнце сквозило через облака, утренний ветер начинал подергивать рябью стеклянно-гладкую воду. Стоянка спала — суда неподвижны, берег пуст.

Мы подплыли к другому командному судну, вставшему на якорь в виду Берньера. Нас с полковником оставили тут дожидаться попутной амфибии. Но десантные амфибии еще не отправлялись на берег. Продав некоторое время напрасно, мы заметили неуклюжую баржу — малый танконосец, идущий к берегу с тяжелым грузовиком на борту. Мы окликнули баржу, она взяла нас. Теперь мы плыли к берегу над подводными Берньерскими скалами — теми самыми, которые так спешно наносились на карту полмесяца назад.

Плыли медленно. Утреннюю тишину вдруг нарушила отрывистая дробь выстрелов, блеснули вспышки огня из домов и берньерской церкви. Там происходила какая-то стычка. Позже нам рассказали, — не знаю, правда ли это, — что в Берньере были сброшены парашютисты в подкрепление немецким снайперам; в частности, они засели в знаменитой норманнской колокольне, господствующей над всей местностью. Выбить врага, не разрушив городка, будет трудно. У низа колокольни уже зияет дыра от снаряда.

Мы осторожно шли к берегу. Несколько судов уже торчало на скалах — громадных, смутно маячащих под водой скоплениям водорослей. На носу матрос мерил футштоком глубину: шесть футов, пять, четыре фута, шесть, четыре, три — и тут же мы напоролась на скалу. Баржа с трудом снялась, попятилась назад. Я сказал старшине-рулевому:

— Мне эти скалы немного знакомы. В отлив ни за что здесь не пройдете, лучше подождем, пока вода подымется на фут, на два, я смогу указать тогда проход.

Отошли подальше, остановились. Мне не ждалось. Исчезала всякая надежда увидеть Берньерское взморье во время отлива. Теперь я уже не смогу проверить высоту скал и расположение подводных

зарослей. Через двадцать минут мы опять тронулись. Я указал курс:

— Правьте на церковь, но, учитывая ветер, возьмите слегка правее.

Старшина странно взглянул на меня, одетого в морскую форму. Он ожидал не сухопутных слов, а флотских: «держаться на церковь», «право руля»... Мы медленно шли вперед. При мне не было морской карты, я мог лишь приблизительно и смутно определять положение, и через несколько минут мы опять сели на скалу! На этот раз что-то заскрежетало, и, когда старшина дал задний ход, один из гребных винтов сломался. Мы все же снялись, но плыть к берегу становилось все трудней. Ветер свежел и, ударяя в широкий верх грузовика, все время сбивал баржу с курса. Мешало также сильное течение. Нам потребовалось почти два часа, чтобы одолеть эту милое расстояние, но наконец мы пристали к песчаному твердому пляжу, и грузовик вывез нас на берег. Кроме нашей баржи, никто в эту малую воду не рискнул пройти скалы.

Мы подъехали к пункту высадки десанта. Бой за Берньер, видимо, закончился, но нам сказали, что в городке полно снайперов. Меня тянуло взглянуть на церковь, но для этого не было ни малейшего военного резона, а ведь глупо подставлять себя под пулю из любви к норманнской архитектуре. Так что мы занялись осмотром береговых оборонительных укреплений. Доты тщательно замаскированы, но сооружены весьма плохо. Внутри у некоторых такой вид, будто немцы еще минуту назад были здесь, — все их снаряжение валяется нетронуто, даже стоит невыпитая бутылка вина. Видимо, наши опасаются тут минсюрпризов — и я тоже ни к чему не прикоснулся! В береговом заградительном вале проделаны проломы, и здесь прошли танки, по этим вот мостам, наведенным через рвы; вот еще заграждения, и снова десантная застрявшая техника.

Мы поговорили на берегу с солдатами. Они рассказали о бое в Берньере, о том, что восьмеро из снайперов оказались француженками, одетыми в немецкую форму; их без промедления расстреляли. Правда ли это? И если правда, то какие были у этих женщин мотивы — политические? Или же любовные?

Мы направились взморьем на запад. Позади, в заливных лугах между церковью и дюнами, танкитральщики расчищали местность от мин, и видом и действием напоминая сеноворошилки. Но взрывается вдруг мина, черная целена дыма застилает танк — и сходство кончается.

Миновали дзот, сооруженный из бревен и песка, — на японский, пожалуй, образец. Уже близился полдень.

Стояла полная вода, и на берегу кипела деятельность. Причаливали и разгружались огромные понтоновые плоты, битком набитые техникой и людьми. Все наличные десантные средства — от танконосных барж до грузовиков-амфибий — доставляли на берег свою долю груза. Сойдя на сушу, солдаты осматривались, осваивались; кто поопытней, рыл щель от налетов, сушил мокрую одежду, варил обед. Прислонясь к телеграфному столбу у железнодорожной ветки, гардемарин писал домой первое письмо. Поодаль продолжалась расчистка побережья от мин; там то и дело взрывы и дым.

Мы подошли к Курселю, порядочных размеров городку с небольшим портом. Курсель славен устрицами. Опять доты, причем некоторые построены солидней, в «тодтовском» стиле. У входа в гавань — весьма продуманная система крытых траншей и огневых точек, защищенных противотанковым рвом. Траншеи ведут к блиндажу, — видимо, здесь был

¹ Немецкий военно-воздушный флот.

командный пункт. Разрушения заметны в большинстве домов. Они тут не разбомблены, как наши лондонские, а пробиты снарядами — сотнями снарядов. Сквозь зияющую в стене брешь видна офицерская столовая. Немцы здесь обосновались с комфортом: к камину пристроили красную кирпичную плиту, оборудовали стойку; на стойке в несуразном соседстве — бутылка из-под шампанского и стакан, доверху налитый молоком. В стороне — рояль, струны искривлены осколками. На стенах, рябых от осколков, нацистские плакаты: орел с земным шаром в когтях, на шаре — свастика; слева надпись — «В победу наша вера», справа другая — «В верности сила и честь».

В порту тишина. Витрина рестораника по-прежнему приглашает к устрицам и креветкам. И устричные отдели уцелели — вон они, за высокими проводочными заборами... В бухте уже разгружаются баржи. Все вокруг тихо и мирно — напоминает Ирландию.

Прошли немного дальше, и полковник наткнулся на старых друзей — судового священника и еще нескольких офицеров, — с которыми не виделся со времени отбытия на азиатский фронт. Вспомнили общих знакомых. Полковник стал объяснять, почему в джунглях были у нас не успехи. Новоприбывшие идут там сразу в бой — под японские воинственные вопли. А надо настраивать бойцов на то, что в джунглях война необычная, полная опасностей и страхов.

Поодаль четверо солдат прислонились к старой садовой стене у бреша, пробитой снарядом. В проломе стены видно, как другие роют в саду окопы, разбивают палатки. Солдаты предостерегли нас, что идти вверх по дороге опасно, в лесу еще хватает снайперов. Решив спуститься на взморье, мы опять перешли через речку и направились болотом, изрытым воронками от бомб. Во рву увидели лежащий танк, экипаж стоит около. Офицер-танкист рассказал нам:

— Пробиваться здесь было туго, дюны сплошь в невидных издали заграждениях, а с холмов за дюнами — минометный огонь. Пробились и увидели, что тут затоплено, но прежде головной танк плюхнулся во взорванный кульверт за речкой. Местные жители очень помогли нам. Показали, где шлюз, чтобы воду спустить. Мы нагребли на танк земли, щебня, пошли дальше. А во рву я потому застрял, что он под водой был незаметен.

Мы прошли через дюны на взморье — на узкую теперь, в какой-нибудь десяток футов, полосу, и от этого она казалась еще гуще заполненной людьми и техникой. Стали разыскивать коменданта пункта высадки — мы не прочь были отплыть на его «джипе» — амфибии. Но потом рассудили, что мы тут всего лишь наблюдатели, а коменданту «джип» нужен для дела. Дождались попутной баржи, доставившей нас на ближайшее командное судно. Там знакомый офицер из штаба сказал мне, что переправиться на наш корабль удастся не так скоро, и пригласил пока подкрепиться в кают-компанию. Нам горой навалили тушенки с горохом. Стали расспрашивать, как идет сражение на суше, и мы проинформировали, не ругаясь за точность. Взамен нам рассказали, что нового на море. Так мы делились новостями под нечастый аккомпанемент артогня. Но тут судно вздрогнуло — гораздо сильнее, чем от орудийного залпа. Оказалось, что невдалеке десантная баржа подорвалась на mine.

Мы вышли на палубу, понаблюдали проходящие суда — в основном это были теперь десантные транспорты и грузовые торговые. Потом нас переправили на другое командное судно, стоявшее в нескольких милях. Там мы, к нашей досаде, обнаружили, что

катер на корабль только что отошел, а другой попутный ожидается через два с половиной часа. Я спустился в офицерский салон, попытался сделать кой-какие записи, но в салоне было тепло, душно, слепались глаза. Вернулся на палубу, услышал сирену воздушной тревоги. Орудия соседнего крейсера бухали теперь чаще, другие корабли тоже обстреливали сушу интенсивнее. Из-за холмов поднялся вдруг огромный столб черного дыма, подобно джину в сказке, — вспучиваясь, заполняя небо. Чей это нефтесклад горит, было неясно. Я заметил, что артобстрел направлен влево, чуть повыше взморья. Признак нехороший: накануне немцы были оттеснены от этого участка на десяток миль. Потом мы узнали, что немцы танковым ударом почти достигли побережья, прежде чем удалось их отразить.

Мы вернулись на свой корабль только вечером. Мне предстояло отбытие в Англию. А не хотелось, я как-то сжился уже с местом, с его военными контрастами — с мирным бытом взморья и грозной опасностью за холмами.

Отбыл я на том же торпедном катере, который доставил меня в Нормандию. Обратный переход был тише. Пасмурно, дождь временами. Я стоял на палубе, куда не смерклось, — глядел на конвои идущих к фронту судов. Но их было меньше вчерашнего, и подчас море вокруг было пустынно, лишь на горизонте виднелись дымы.

Сыро, темно. Я сошел в штурманскую рубку, там парень лет двадцати прокладывал на карте курс через проходы в минных полях. Хотя начало слабей, чем в тот раз, но стоять удавалось с немалым трудом: катер внезапно взбрасывало, с дребезжанием кидало вниз, опять вверх, опять вниз... В рубке у меня завязался разговор с пожилым инженер-капитаном. Я рассказывал — и, кажется, чересчур многословно — о ранних днях войны и о теперешних научных новшествах. Он прислушивался с интересом и пониманием.

И это последняя оставшаяся в памяти картина: ярко освещенная клетушка рубки, разостланные на столе морские карты, а кругом — шум волн и рев машины.

Я задремал стоя.

Потом на море стало тише. Я выглянул: мы проплывали уже мимо Фортов и несколько минут спустя подошли к пристани.

Перевод с английского О. СОРОКИ
под редакцией академика Н. В. БЕЛОВА.

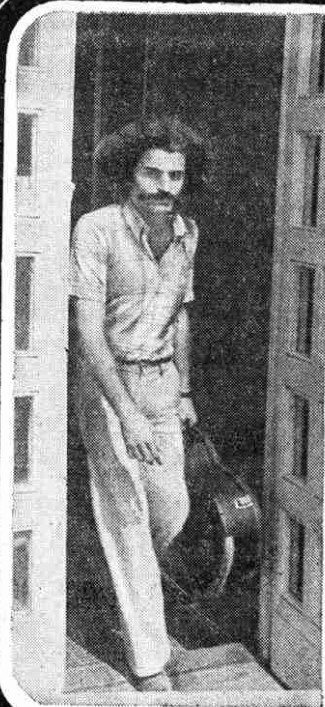


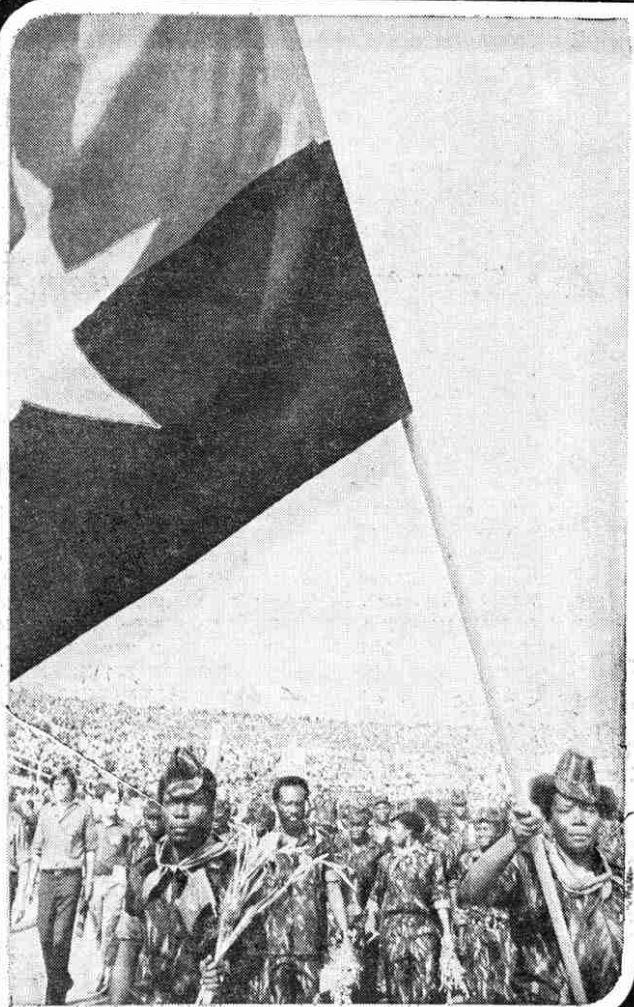
БЕРЛИНСКИЙ ПОЛИЭКРАН

**Ю. ЗЕРЧАНИНОВ
В. СЛАВКИН**

Фото:

Т. ВАЖЕНОВА.
И. ГРИЧЕРА.
Ю. ЗЕРЧАНИНОВА.
О. ИВАНОВА.
Ю. СОМОВА.





Х Всемирный фестиваль молодежи и студентов... 25 тысяч юношей и девушек из 140 стран собрались в Берлине и провели под девизом фестиваля

«За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!» сотни политических мероприятий: манифестации солидарности с народами Индокитая, митинги в поддержку борьбы арабских народов, национально-освободительных движений в Африке, Азии, Латинской Америке... Более двух тысяч делегатов принимали участие в работе центра «Молодежь и студенты обличают империализм».

Каждый день фестивальной программы был подтверждением памятных слов из послания, с которым Леонид Ильич Брежнев обратился к участникам фестиваля: «Молодое поколение в наши дни, чувствуя свою долю ответственности за судьбы мира

и лучшее будущее человечества, активно включается в борьбу за то, чтобы всем народам была обеспечена возможность заниматься созидательным трудом в условиях прочного мира и международной безопасности».

В заявлении, которое приняли представители ведущих и — что характерно для этого фестиваля — различных по своим политическим взглядам молодежных организаций, единодушно выражалась готовность участвовать в подготовке и проведении Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве.

Мы публикуем репортаж Ю. Зерчанинова и В. Славкина, наших специальных корреспондентов на Берлинском фестивале.

Этот репортаж складывается из разговоров с представителями различных стран и континентов, молодых людей, несхожих по своим судьбам, политическим убеждениям, образу жизни...

Но они приехали в Берлин с единым стремлением — совместно бороться за мир и за счастливое будущее нашей планеты.



стадион «Молодежь мира». Торжественное открытие фестиваля. Шествие делегаций. В зеленой партизанской форме на стадион выходит колонна Анголы. С трибун отчетливо видно, что революционное знамя Анголы несет совсем юная девушка (см. фото, стр. 75). Она ступает под знаменем уверенно и горделиво.

Встретиться с этой девушкой нам удалось лишь на третий день фестиваля. Разговор происходил в здании одной из берлинских школ, где в дни фестиваля жила ангольская делегация.

— Прошу вас, называйте меня Жи... Меня, конечно, зовут по-другому, но мы все, члены ангольской делегации, должны быть на фестивале инкогнито. Нам возвращаться на родину, продолжать борьбу за полное освобождение Анголы от португальцев, и ни к чему тем, против кого мы боремся, знать наши имена.

— А какое вы лично участие принимаете в борьбе? — Мне 18 лет. В декабре прошлого года я тайно перешла на освобожденную территорию Анголы и вступила в партию Народное движение за освобождение Анголы. Сейчас я работаю в школе учительницей португальского языка, естествознания, истории и географии. Это и есть моя партийная работа, мое участие в национально-освободительном движении. У меня нет специального образования, я кончила только лицей, но у нас в Анголе каждый грамотный человек должен учить других. Нам как можно скорее нужны образованные люди. В фестивальных концертах национальной программы Анголы я читаю стихи председателя нашей партии Агостиньо Нето. В поэзии Нето ярко выражены наши идеалы, то, ради чего мы все боремся и живем.

Жи читает нам стихи по-португальски. Уже в Москве мы нашли русский перевод этих строк в книжке Агостиньо Нето «С сухими глазами», вышедшей в 1970 году в библиотеке «Огонька».

Творить,
Смесь над издевательством и злобой,
Воспитывая твердость в слабых
И пробуждая силу против силы
И стойкость в неуверенной крови,
Творить,
Творить с глазами сухими!
Творить,
Творить сиянье звезд
Над молотом войны,
Спокойный мир — над детским плачем,
Мир над пролитым потом,
Над слезой раба.
Над ненавистью мир творить, —
Творить с глазами сухими!

(Перевод Лидии НЕКРАСОВОЙ.)

— У нас в Анголе сложная ситуация, и в этой ситуации надо быть очень сконцентрированным, стойким, беззаветно преданным делу человеком... Я еще молодой член партии, но я научусь всему.

— А почему именно вам поручили нести национальное знамя на открытии фестиваля?

— Я не спрашивала...

— Мы хотели, — заговорил вдруг на ломаном русском языке один из руководителей ангольской делегации, который в течение всего разговора сидел в отдалении, но с которым Жи консультировала каждый свой ответ, — мы хотели, чтобы все обратили внимание на то, что женщина в нашей стране должна иметь равные права с мужчиной.

— Жи, мы видели на открытии, как вы высоко по всему стадиону пронесли ваше знамя. Ангола шла

одной из первых, поэтому вам пришлось почти три часа стоять потом на стадионе под палящим солнцем и ждать официального открытия... Не тяжело было?

— Что вы! Мы все партизаны, и мне приходилось носить кое-что потяжелее... А к палящему солнцу я привыкла с детства. Да и знамя Анголы я несу не впервые. Я уже несла его 4 февраля этого года на параде в Браззавиле. Мы тогда отмечали двенадцатую годовщину начала вооруженной борьбы ангольского народа за независимость. Это было первый раз со времени моего ухода из дома, когда я пожалела, что нет рядом моих родителей. Мама порадовалась бы за меня...

— Вы скучаете по родителям?

— Я думаю, когда мы освободим Анголу, я буду жить в том же городе, где и мои родители, но отдельно от них. Не потому, что я боюсь их обременить, а просто у меня своя жизнь, свои заботы, а у родителей свои...

— Вы не замужем?

— Нет, нет!.. Рано еще. Быть женой тяжело. Я еще молодая...

— В таком случае позвольте, Жи, задать вам несколько шутливый вопрос. Почему вы считаете, что заниматься политической деятельностью, нести знамя на параде вам не рано и по силам, а выходить замуж еще пора не пришла?

Жи смеется.

— Быть женой иногда тяжелее, чем нести знамя. А если говорить серьезно, пока я молодая и сильная, я хочу отдавать всю себя без остатка своему народу, делу освобождения Анголы. И еще я хочу учиться. Мне очень понравилось в Берлине, и теперь я мечтаю приехать сюда еще раз и поступить в университет.

2

Шествие фестивальных колонн завершают хозяйка праздника — молодые граждане Германской Демократической Республики. Закон о молодежи, принятый в 1964 году в ГДР, гласит: «Доверяй молодежи и возлагай на нее ответственность». И все, кто носит членский билет Союза свободной немецкой молодежи, все юноши и девушки республики блистательно справились с доверенной им ответственнейшей задачей — превратить Берлин в дни фестиваля в столицу юности мира.

Слово одному из первой тысячи (по полю под флагом ГДР шла тысяча юношей и девушек, но право участвовать в фестивале завоевали еще триста тысяч!), слово Вольфгангу Нордвигу, который зажег, как вы помните, фестивальный огонь (см. фото, стр. 74). Нордвиг — олимпийский чемпион в Мюнхене по прыжкам в высоту с шестом. Нордвиг — инженер по автоматическим линиям на заводе «Карл Цейс» в Йене (имея диплом высшего технического училища, он теперь заочно занимается на физфаке Йенского университета). Нордвиг — член национального фестивального комитета ГДР.

Вольфганг Нордвиг — о спорте, о своем понимании личности:

— Как бы рекорды? Сначала посылаю вперед сердце, а затем лечу к планке сам... Я считаю, что спорт развивает личность. Он укрепляет волю, пробуждает хорошее честолюбие, учит коллективизму, ответственности. Спорт доказал мне, что человек может добиться большего, чем он думает. Особенно я ценю тех, кто добивается больших спортивных успехов, но не замыкается в сфере спорта. Человек, который ничего не хочет знать, кроме спорта, не может развиваться как личность.

Вольфганг Нордвиг — о фестивале:

— Надеюсь, что мы создали самые благоприятные условия, чтобы наши гости смогли познакомиться с нашей страной, смогли увидеть, как мы живем, как развиваем наше социалистическое общество. Мы показывали, что мы есть, кто мы есть и кем мы становимся. Хорошо, что фестиваль открылся в тот момент, когда трезвый разум осознает себя, свою силу. Идея мирного сосуществования одержала в последнее время огромные победы. Благодаря усилиям прогрессивных сил всего мира была, например, остановлена агрессия империализма во Вьетнаме. Успех, который обязывает к дальнейшей борьбе и молодых всего мира.

Обращаясь на открытии фестиваля к его участникам, Первый секретарь ЦК СЕПГ, председатель Национального фестивального комитета ГДР Эрих Хонеккер сказал: «Яркое пламя, которое только что зажег Вольфганг Нордвиг на стадионе «Молодежь мира», возвещает о всемирных идеях и мощи фестивального движения».

3

Нойес Штадтхаус. Конференция «Роль молодежи в охране окружающей среды». Делегат Швеции сообщает о том, что американские заводы выпускают химикаты, которые признаны губительными. Однако американские бизнесмены продолжают сбывать эти химикаты в некоторые африканские страны...

— У нас только одна земля! — восклицает юный швед.

Делегат Франции высмеивает тех, кто клянет прогресс и науку и ищет спасения, обращаясь к литературе в духе Руссо. Француз заявляет, что всему виной — гонка за прибылями и что надо навязать западному обществу новую экономическую логику, чтобы действительно сохранить окружающую среду.

На трибуне — советский делегат Нина Пичугина. Она рассказывает о тех конкретных и плодотворных методах охраны среды, которые использует наш комсомол. Нине долго аплодируют, но она возвращается на свое место растерянная: ей кажется, что она почти ничего не успела сказать.

Кандидат биологических наук Нина Пичугина работает в Институте экологии растений и животных Уральского научного центра Академии наук СССР. Она секретарь комсомольской организации института, член Совета молодых специалистов при ЦК ВЛКСМ.

— Как поживают ваши березки? — спрашиваем Нину, зная, что тема березы — ее коронная тема.

— А что вы думаете? — говорит она. — Лет десять назад специалисты считали березу «сорняком», а теперь, в условиях менее чистой среды, выяснилось, что там, где хвойные гибнут, береза, которая каждый год сбрасывает листву, выживает.

— Где — там?

— Вблизи некоторых промышленных предприятий, к примеру. У нас, в Свердловске, я занимаюсь сейчас изучением влияния промышленных загрязнений на окружающую растительность. Я выбрала ряд пушистых и ряд бородавчатых берез, растущих на разном удалении от промышленной зоны, и слежу за ними.

— Простите, а чем пушистая береза отличается от бородавчатой?

— Ну как же! Листья бородавчатой березы более гладкие, имеют на зубчик больше...

— Вы выросли в городе или в селе?

— В селе. Мой папа — агроном.

— Значит, если даже все деревья на нашей земле погибнут, береза, быть может, выживет?

— Здесь, на конференции, мы решили создать постоянный комитет, который к следующему фестивалю отчитается о работе по объединению усилий молодежи всех континентов в защиту окружающей среды. А если сидеть сложа руки, то и береза не выживет.

4

Университет имени Гумбольдта. Центр «Молодежь и студенты обличают империализм». На дискуссии о методах борьбы с империалистической пропагандой среди молодежи, с попытками духовно разложить молодое поколение, Вера Кубичева, корреспондент журнала «Новое время», знакомит нас с Артуром Хосе Позрнером — рыжим бразильцем в гипюровой черной рубашке.

Энергично пытаемся изыскать язык, на котором могли бы вести разговор, наконец Вера, спасая нас, просит говорить только по-русски, а уж она позаботится о переводе. Теперь бразилец смущенно приносит Вере долгие извинения за свой дурной английский язык. Эти языковые волнения объяснимы: Артур оказывается нашим коллегой, и к тому же он пишет сейчас свой первый роман.

Артуру 33 года, он журналист-борец, разоблачающий несправедливость диктаторского режима, захватившего власть в его стране. О жестокостях этого режима было рассказано на пресс-конференции бразильской фестивальной делегации. Свыше ста лет тюремного заключения — таков общий срок, к которому приговорены те молодые бразильцы, которым удалось приехать в Берлин. Пятнадцать тысяч бразильцев вынуждены жить в политической эмиграции. Среди этих пятнадцати тысяч и Артур Позрнер. Литературный еженедельник, который он издавал, в 1966 году был закрыт, а сам он был лишен политических прав и арестован. Едва ему удалось вырваться из тюрьмы, он уехал в Алжир и написал книгу «Алжир. Путь к независимости».

— Это единственная книга об алжирской революции на португальском языке, — говорит Артур. — Мне известно, что патриоты Анголы и Мозамбика читают ее, и я горжусь этим.

— В университете Гумбольдта объявлена встреча, посвященная памяти Че Гевары. Вы будете участвовать в этой встрече?

— Конечно. Пусть эксперимент Че в Боливии закончился неудачно, но можно только восхищаться человеком, который оставил министерский пост, чтобы с оружием в руках умереть за свои идеи.

— Что за роман вы сейчас пишете?

— Моя последняя журналистская книга была посвящена роли молодежи в бразильской политике, а сейчас я решил попробовать себя в беллетристике. Могу лишь сказать, что действие романа происходит в бразильской тюрьме, где сидит мой герой.

На груди у Артура — костяной амулет, оправленный серебром: рука со сжатым кулаком.

— Этот амулет, — рассказывает Артур, — мне вручила моя няня, старая негритянка, когда я покидал Бразилию. Она сказала, что он будет охранять меня от злых духов. У нас есть такая поговорка: «Я не верю в духов, но тем не менее они существуют».

— Охраняет вас амулет?

— Как видите, злые духи не помешали мне, например, приехать на фестиваль. Я не сниму этот амулет, пока не возвращусь в Бразилию, избавленную от голода, неграмотности, угнетения.

Театр «Фольксбюне» на Люксембургплац. Закончился очередной тур фестиваля политических песен. Со своей гитарой из театра выходит француз Жан-Луи Кайя (см. фото, стр. 74).

— Нам понравились ваши песни. Может, поговорим немного? Вы сейчас свободны?

— А может, встретимся вечером в нашем национальном клубе? Я буду снова петь...

Вечером он снова пел о встречном ветре, с которым схожа песня поэта — песня, как встречный ветер прямо в лицо старому миру. Потом Жана-Луи сменили мимы, а он спустился с эстрады и присел за наш столик. Мы разлили бургундское и выпили за милую Даниэль, жену Жана-Луи. Она уже успела нам рассказать, как несколько лет назад она оказалась в одном из клубов молодежи Марселя, где должен был петь Жан-Луи, и когда он вышел на сцену и она увидела его загнутые ресницы, то подумала, что он будет петь что-нибудь нежное... А теперь Даниэль восхищенно слушает злые, колкие песни Жана-Луи и говорит, что таких людей, как Жан-Луи, мало: тем высоким идеалам, к которым он обращается в своих песнях, он никогда не изменяет и в повседневной личной жизни. Даниэль преподаёт французский язык. Как и Жан-Луи, она член Коммунистической партии.

Спрашиваем Жана-Луи:

— Какие песни вы пели в тот вечер, когда вас впервые слушала Даниэль?

— Песни протеста. Как всегда. Все мои песни — это как бы разговор вслух с самим собой. Я задаю себе вопросы. Что я собой представляю? Что мы все в нашу эпоху, в наших условиях, собой представляем? Чего мы хотим достичь? Одним словом, своими песнями я борюсь за человека, борюсь против всего, что человека калечит. Я думаю, что песня протеста должна быть окрашена интенсивно, должна дополнять политическое действие.

— Когда вы написали свою первую песню?

— В шестьдесят девятом году, когда мне было семнадцать лет. Я учился тогда в лицее, изучал экономику. Родители хотели, чтобы у меня была серьезная специальность. Вот я и изучал экономику.

— Кто ваши родители?

— Отец — певец. И мать — певица. Но они были типичными шансонье — пели песни, которые модны и которыми можно наверняка заработать деньги. Их долго пугало, что со своими песнями я никогда не стану звездой. Мы прежде спорили до хрипоты, да и теперь спорим, но гораздо спокойнее. Родители уже на пенсии и гордятся теперь, что я не захотел стать обычным шансонье.

— Но коммерческого успеха ваши песни не имеют, не так ли?

— Я выступаю обычно в домах молодежи, в рабочих клубах. Под буржуазную аудиторию я не подлаживаюсь — это главное. А зарабатываю я действительно лишь немногим больше, чем Даниэль.

— А кто вам нравится из признанных французских шансонье?

— Конечно, Брассанс. А также Лео Ферре, с которым я близко знаком.

— Знаете ли вы советскую песню?

— Меня привлекают песни Окуджавы, их настроение.

— Как вы думаете, насколько песня протеста воздействует на окружающий мир?

— Буржуазный дух не врожден, а приобретен...

— Вы собираетесь написать песню о Берлинском фестивале? Есть ли у вас уже какая-нибудь идея?

— Есть. Представьте себе, что от всех, кто собрались на фестивале, родились дети. И о таких детях, уже живущих в целиком справедливом мире, осуществившем прекрасный девиз нашего фестиваля, я и попробую написать песню.

Клуб советской делегации на Унтер-ден-Линден. Второй этаж. Кафе «Калинка». Угощаем квасом двух датчан, которые пришли в наш клуб за книгами о советской молодежи, за фестивальными плакатами.

— Ну, каков русский квас?

— Хорошая продукция, — отвечает Ларс Шельде. — Я могу об этом судить, все-таки я сам работаю на пивном заводе в Копенгагене.

— Кем вы там работаете?

— Простым рабочим. Ведь у меня нет никакой квалификации, и пивное дело я совсем не люблю.

— А зачем работаете?

— Деньги нужны. Я оказался без денег. Раньше учился в университете и получал стипендию, а потом бросил. Проучился четыре года на отделении социальной этнологии и бросил.

— Почему?

— Не понравилось преподавание. Профессора реакционные. Марксизм не преподают... Никакого социального момента. Сейчас у меня все нормально: я работаю, занимаюсь политической деятельностью и личными делами.

— Что вы подразумеваете под личными делами?

— Любовь. Мне 25 лет, я не женат. Неженатому человеку удобней жить. У меня есть две любимые девушки... (Ларс секунду думает.) Или даже три. Я их люблю. Мне с ними интересно, они все разные... За чем выбирать из них одну?..

— А не боитесь ли вы, Ларс, что в один прекрасный момент каждая из этих девушек выберет себе по одному парню, и вам не останется ничего, кроме как погулять на двух свадьбах... или даже на трех?

— Ну что же!.. Я не расстроюсь. Быть может, я и сам когда-нибудь женюсь, когда захочу ребенка, а пока я убежденный холостяк! Вообще у себя, в Дании, мы боремся за большую свободу в семейных отношениях.

— А что значит это «большая свобода»?

— Взять, к примеру, меня, — вступает в разговор второй датчанин, Пауль Андерсен. — Мы, например, с женой четыре года живем вместе, у нас ребенок, но мы расписались только в этом году. Нам это было удобно. У нас платят большое пособие матери-одиночке. Это было подспорьем в нашем семейном бюджете.

— Почему же вы все-таки расписались?

— Меня взяли в армию, а жене военнослужащего платят еще больше, чем матери-одиночке. Мы и расписались.

— Кто вы по профессии?

— Я учитель. Преподаю в школе историю. Мне тоже двадцать пять. Сейчас я отбываю воинскую службу, работая санитаром в госпитале.

Мы снова обращаемся к Ларсу Шельде:

— Ларс, вы сказали, что работаете на пивоваренном заводе и это вам не нравится. Как же вы представляете свою будущую жизнь?

— После фестиваля я вернусь в Данию и попробую стать журналистом. Я скопил некоторые деньги и могу себе позволить поэкспериментировать.

— О чем же вы хотите писать?

— Меня интересуют проблемы развивающихся стран. Мы с Паулем состоим членами группы, кото-

рая собирает средства в помощь молодым африканским государствам, борющимся за свою независимость. За два с половиной года мы собрали 400 тысяч датских крон. Смотрите, вот наша эмблема... Внизу — номер почтового бокса, по которому добровольцы могут послать деньги в пользу африканских государств. Это наша политическая деятельность, и этому мы отдаем большую часть своего времени.

Под девизом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!» фестиваль объединил широкие слои молодых людей. Сегодня эти датские ребята, с которыми мы беседовали на самые разные темы — от политики до любви, — еще не обрели четкой политической программы. Но их участие в X Всемирном фестивале — это уже поиск такой программы.

7

Александрплатц. Напряженно звучит немецкая речь — хозяева фестиваля ведут нескончаемый диалог со своими сверстниками из ФРГ и Западного Берлина. Здесь мы познакомились с Гарольдом Весером.

Ему двадцать восемь лет. Он заканчивает университет в Карлсруэ и получит специальность инженера-химика.

— Сейчас я член социал-демократической партии. Но раньше я состоял в разных студенческих организациях. Мы были леваками и не хотели иметь ничего общего с социал-демократами. Но после увлечения разными крайними течениями, после того, как я стал взрослее, я вступил в социал-демократическую партию. Времена изменились. В шестидесятых годах был момент бурной политической жизни. Нужны были лидеры, и молодежь порой находила их в троцкистах. Теперь мы поняли, что делали ошибки. Сейчас наступило время, когда люди больше думают сами, своей головой, имеют собственную интерпретацию того или иного учения или события. Поэтому потребность в лидерах с крайними точками зрения отпала. Для нас, молодых социал-демократов, наступил период позитивной работы. Раньше прогрессивные идеи были сконцентрированы в умах интеллигентов, сейчас все более и более широкие слои рабочих включаются в политический процесс. Наша задача — помочь осознать рабочему классу свое значение, внушить рабочим, что они не должны принимать все, что им навязывают, а их право — самим выбирать то, что им по душе. Это очень важно. Ведь многие стоят у станка или ходят на службу и не пытаются анализировать свою жизнь, у таких и мысли не появляются, что ее можно изменить в лучшую сторону.

Если посмотреть на наше общество со стороны, то мы выглядим очень богатыми, но если принять во внимание несовершенство систем здравоохранения, образования, то становится видна и наша бедность. Этого тоже многие не понимают. Человек еще не является человеком только потому, что на свою зарплату он может купить много вещей...

Наша молодежь борется, например, за усовершенствование системы профессионального обучения. Концерны обучают молодежь только тому, что нужно для выполнения какой-нибудь, отдельной рабочей операции, необходимой именно этому концерну. Таким образом, они привязывают рабочую молодежь к себе, и у молодого человека остается очень мало шансов изменить свою жизнь. «Кулак в голове» — эмблема



борьбы молодых за равные возможности в профобразовании (см. фото, стр. 74).

Вообще наша молодежь стала более политически собранной. Это уже учли предприниматели. В молодежном журнале «Элан», например, пишут, что боссы химической промышленности с тревогой отмечают в письмах, которыми они секретно обмениваются с руководителями других предприятий: «Молодежь уже не стремится изменить свое положение, она стремится изменить общество. Можно ожидать протестов».

Да, протестов ожидать можно, когда речь идет о несправедливости и незаконных действиях. Но мы, молодые, многое поддерживаем в нашей официальной политике. Когда речь идет о гарантирующих мир договорах с Москвой, Варшавой, о договоре с ГДР, о вступлении обоих германских государств в ООН, то мы — «за»!

В фестивальном обращении, которое подписали более сорока молодежных организаций ФРГ, приехавших в Берлин, есть такой призыв (Гарольд снова достает из фестивальной сумки журнал «Элан»): «Совместные действия ради общих справедливых целей. Во время фестиваля и после него». Я считаю, это касается всех нас.

Политический монолог Гарольда Весера, который он произнес, пока мы шли по Карл-Маркс-аллее, хорошо иллюстрирует настроение молодого социал-демократа, приехавшего на фестиваль. Он приехал в Берлин с позитивной программой, делая акцент на тех моментах политической борьбы, которые являются общими для всей прогрессивной молодежи капиталистических стран. Гарольд говорил о каждодневных проблемах молодых людей ФРГ, пытаясь выделить из них те, постановка которых социал-демократами может встретить понимание участников фестиваля. Попытка найти точки соприкосновения, встать на общую платформу со всей прогрессивной молодежью мира, а не сосредоточиваться на разногласиях — вот что было характерной чертой дискуссий X Всемирного фестиваля.

Нам говорил другой молодой социал-демократ — Туома Сааринен из Финляндии:

— На фестивале в Хельсинки я только танцевал. А этот фестиваль мы тщательно готовили и принимаем участие во всех фестивальных политических мероприятиях. Жизнь меняется...

8

На фестивале — День солидарности с народами, молодежью и студентами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Огромный зеленый амфитеатр берлинского парка «Фридрихсхайн». Митинг солидарности. Мы знакомимся с Во Тхи Лиен — девочкой из Сонгми. Она присутствует на фестивале и на сотнях желтых значков, которые очень популярны в Берлине. Значки призывают собирать деньги на строительство госпиталя имени Нгуен Ван Чоя. Девочка стала символом (см. фото, стр. 75).

Спрашиваем Во Тхи Лиен:

— Что ты чувствуешь, когда видишь себя на значках, плакатах, эмблемах?

— Мне немножко страшно, что меня стало так много... Я еще не привыкла. Но мне и хорошо, потому что после войны я осталась совсем одна, а теперь я не одна. Мне кажется, если кто носит значок, то он поддерживает нас, борцов за свободу и независимость Вьетнама. Я даже не считаю, что это я на

значке. Это все мы — мой народ, все дети... Когда меня первый раз сфотографировали для газеты и газета потом вышла, я сразу почувствовала себя не одинокой. Я тогда не знала, что будут значки, плакаты... Я думала, меня просто сфотографировали, и даже попросила у фотографа карточку на память.

— А тебя узнают, когда ты ходишь по Берлину?

— Некоторые узнают, некоторые нет... Но даже лучше, что меня не все узнают, а то я стесняюсь...

— Как ты сейчас живешь?

— Хорошо. Я учусь в 9-м классе в освобожденном районе Южного Вьетнама. Живу в интернате и работаю на строительстве школы, потому что нам надо скорее все построить. С шести до одиннадцати утра учусь, а с двух до пяти работаю. Вечером делаю уроки. Я люблю школу, но иногда очень трудно, ведь после Сонгми я два года пропустила. Иногда учу, учу что-нибудь, и хочется все бросить, но я пересиливаю себя. «Народ борется и работает, — говорю я себе, — и ты должна заниматься». И потом стыдно, когда кто-нибудь что-нибудь знает, а ты нет. Верно? Я люблю химию, у нас в школе хорошая лаборатория, и мне нравится там работать. Очень интересно, когда вдруг что-то красное в пробирке превращается в синее...

— А что ты любишь делать в свободное время?

— У меня его очень мало, но когда оно есть, я люблю вышивать. На листьях дерева тхонда я вышиваю такими, знаете, волосами кокосового ореха. Меня бабушка научила еще, когда была жива. Еще нравится в кино ходить. Смотреть приключенческие фильмы.

— А почему приключенческие?

— Там очень мужественные и ловкие люди. Я люблю всякие кино с погонями, в которых все весело. Ваш советский фильм «Неуловимые мстители», например. Я не смотрю кино, где показывают различные ужасы...

Ужасы Во Тхи Лиен уже видела. И не на экране, а в жизни. 16 марта 1968 года, когда на общину Сонгми, где она жила с бабушкой и дедушкой, напали каратели. Девочке было 11 лет.

— Сначала они стреляли, и мы спрятались в бункер. Когда вертолеты приземлились, бабушка сказала, что надо выйти из бункера, потому что, когда в бункере остаешься, бывает хуже — убивают сразу, а если выйти, еще есть надежда... Бабушка сказала, что будем выходить так: сначала она, потом я, потом дедушка. Бабушка вышла, и раздалась оглушительная стрельба. Я успела заскочить обратно в бункер, а когда выглянула, увидела половину тела бабушки, второй половины не было... Из всей деревни в тот день мы с дедушкой среди немногих остались в живых. Сейчас дедушка находится на территории, контролируемой сайгонским режимом, и о нем нет никаких вестей. Наверное, его снова арестовали. Семью мне заменяют мои друзья и подруги, с которыми я учусь в школе, мой народ, который строит новый Вьетнам, те, кто пишет мне письма из других стран, и те, кто носит значки с моей фотографией... Все, все, все...

Теперь значок Во Тхи Лиен, привезенный нами из Берлина, хранится в редакции «Юности».



БОРИС СЛУЦКИЙ

ОБ ОДНОМ МОЛОДОМ ПОЭТЕ

Книга «Во имя» Владимира Леоновича, на мой взгляд, едва ли не лучшая из первых книг поэтов нового поколения.

Сменив, они не заменили своих предшественников — агитаторов, главарей, горланов. Да и сменили ли?

Любви к стихам покорны все возрасты и все образовательные уровни. Каждому свое. Каждому свои поэты, свои стихи.

Мне же, как принято говорить, лично все явственнее слышатся новые голоса.

Нынешние молодые прежде всего не слишком молоды. Им лет по тридцать и более. Мои товарищи — предвоенное поколение поэтов, ставшее вскорости военным поколением, — подавали голоса в двадцать, двадцать один, двадцать два года. Следующее поколение, которое в зависимости от степени любви к нему, называют то эстрадниками, то трибунами, — также в двадцать, двадцать один, двадцать два года.

В начале сороковых годов двадцатипятилетние Симонов или Алигер казались нам академиками, монументами. Сейчас первые книги издают тридцатилетние люди, и никого это не удивляет.

Десять — пятнадцать дополнительных лет до профессионализации проведены не в безвестности, а в людях. Они не пропали. В новых «первых книгах поэтов» меньше проб пера и грехов молодости. Больше знания действительной жизни.

Пославшие сами себя в люди, владеющие одной или несколькими профессиями, кроме поэтической, трудившиеся на многих широтах и долготах, нынешние молодые отличаются зрелостью, многознанием. Так — в жизненном поведении и так же — в стихах.

Я прочел книгу Леоновича по эпиграфам. Они заимствованы из Пушкина и Баратынского. Кроме того, в стихах упоминаются Жуковский, Мицкевич и, кажется, никто другой из поэтов.

Однако в самих стихах нет ничего старомодного. Если читать книгу по рифмам, становится очевидным знание всей новейшей поэзии.

Я прочел книгу Леоновича и по темам. Вот они:

Поднявший молот — так и спит копер
в заснеженной низине котлована.
Он потрудились, как в лесу топор:
чернеют сваи — пни лесоповала.

Это из сильного стихотворения «Стройка спит». Кажется, никто еще не писал так о стройке ночью, о стройке, с которой ушли люди, о стройке отдыхающей.

А вот начало другого стихотворения — «Ремонт»:

Без лестниц лестничный пролет,
без рам окно, без кровли здание.
Пустует комната. Звезда в ней,
ночная птица в ней живет.

Свежо и точно чувствует Леонович поэзию строительства и в переносном и в буквальном значении, поэзию «обратной засыпки» и плотной кладки. Обе его профессии — строителя и поэта — помогли друг другу в строительстве стихов о немаловажном участке нашей жизни.

У Леоновича много быта, причем не только нового, с кранами «хол» и «гор», но и старого, с вагончиками, где ждут своей очереди на ордер матери-одиночки. Быт старый и вагончики не новые, а люди — новые.

В сотне строк стихотворения «Рабкор Надеждин» — целая повесть со всеми достоинствами повести прозаической — типами, содержанием, даже информацией, сюжетом, даже фабулой, любовью, пейзажами и в то же время со всем мгновенным блеском лирики. Рабкор Надеждин — рабкор-71, не только рабочий-корреспондент, целенаправленный на бичевание недостатков и воспевание достижений. Это все в Надеждине есть. Это его жизнь. Но не только это. Надеждин еще и художник:

...Назавтра
карточки показывает мне.
Черен и похож на динозавра
экскаватор, снятый при луне.
Шмель на воздухе мохнат, огромен —
шмель-медведь... Я говорю: Олег,
этот образ неправдоподобен
и вообще ты странный человек.

Надеждин еще и любящий человек, исполненный чувства глубокого и сильного.

В бытописании своем Леонович умеет пойти против традиции и бытовой и писательской. Казалось бы, не слишком патетические профессии — официант и участковый. Леонович доказывает: патетические. Сила его внимательной любви такова, что веришь, когда он говорит об официанте: «Какая чертова усмешка, какая грусть... Какой талант! Веришь и его милиционерскому лейтенанту из интеллигентной семьи: «Никакая не острастка — с кобурой идет пустой крупноблочного участка попечитель молодой». Как старые мастера вписывали в свои большие композиции где-нибудь сбоку, в уголке, автопортреты, печальные и прекрасные, так вписываются в признания героев Леоновича его краткие, торопливо выкрикнутые исповеди:

Мне хорошо — мне выпал дар безмерный
любви жертвенной и милосердной,
как бесконечный северный покой;
и невозможно от нее — такой —
на свете никому ничто дурное —
одно обетованное, родное.
Мне хорошо, я хорошо живу,
когда я вам пишу и письма рву.

Человек, который так говорит о своей любви, конечно, в ладу, а не в разладе со своими героями. Я читал эту книгу по героям, по персонажам, по типам, а ее можно было бы прочитать и по пейзажам, всегда, я сказал бы, самостоятельным, изобличающим в поэте не столько созерцателя, сколько соучастника природы. Вот он, пейзаж Волги у Калызна:

Опасен волжский лед весной,
и угличане втихомолку,
чтоб не было беды какой,
по трубам выпускают Волгу.
И лед, когда вода ушла,
тяжелый, слабый от тепла,
ложится на берег исконный,
ломаясь, повторяя склоны...

Этот лед «тяжелый, слабый от тепла» не забудь.

Хорошее начало — первая книга Владимира Леоновича.



ИРАКЛИЙ
АНДРОНИКОВ

РИМСКАЯ ОПЕРА

Дружеский шарж А. ЖИТОМИРСКОГО.

Речь пойдет о поездке в Италию, когда во Флоренции должен был состояться конгресс «Европейского сообщества писателей» и большой группе советских литераторов поручено было представлять на этом конгрессе нашу страну. Чтобы быть точным, скажу: в Италию ехала не одна группа, а две. Одна — числом поменьше, шесть человек — оформлялась как официальная делегация и ехала за государственный счет. Другая — числом поболее, десять человек — составляла туристскую группу и, естественно, ехала за свой собственный счет. Но по прибытии во Флоренцию участники туристской поездки не только могли, но должны были выступать на конгрессе, а затем, уже в Риме, участвовать в беседах за «круглым столом» с итальянскими литераторами.

Я попал во вторую группу.

Группа была отличная! Довольно сказать, что в нее входил Виктор Борисович Шкловский — историк и теоретик литературы, прозаик, критик, киносценарист, эссеист... Трудно вспомнить сейчас, в каких жанрах он не работал! Только стихов не писал, это правда! Человек бесконечно талантливый, неожиданный в ходе мысли, оригинальный, умный и острый. Со своим, очень своеобразным стилем и в разговоре и в книгах. Уже давно пожелой, но полный энергии, живых интересов, очень контактный, добрый, неприхотливый. В таких поездках с ним очень легко и просто... Нет, группа была прекрасная!

Когда мы узнали, что едем в Италию, то, посоветовавшись, решили немножко дополнить наш туристский маршрут. Мы писатели. И в Милан нас не возят. Туда возят музыкантов, певцов. А нам тоже хотелось побывать хотя бы денек в Милане, а вечером — на спектакле «Ла Скала». В ту пору этот театр в Москве еще не бывал, и впечатления, которые мы жаждали получить, были бы, конечно, еще новей и острей, чем сегодня.

Предложен был план: я от имени группы иду в «Интурист» и прошу, чтобы здесь, в Москве, от нас приняли дополнительную сумму в рублях, а чтобы он, «Интурист», договорился с итальянской туристической фирмой о том, чтобы она внесла в наш маршрут Милан и «Ла Скалу». Расчет был на то, что я сумею заговорить сотрудников «Интуриста».

Я взялся за это дело и лично считаю, что выполнил его довольно успешно. Через десять минут после появления моего в «Интуристе» по телефону стали отвечать: «Позвоните через двадцать минут, идет заседание». А к концу дня договорились с Италией: мы вносили в Москву нужную сумму в рублях, а фирма включала в нашу программу Милан и оперу «Тоска» с участием Марии Каллас, Джузеппе ди Стефано и Тито Гобби. Но так случилось, что выезд задержался, и, хотя на конгресс все-таки успели, «Ла Скала» в Милане благополучно попела без нас.

Не стану распространяться о том, каков был конгресс, скажу только, что он был представительным и посвящен важной теме «Литература в ее связях с кинематографом и радиотелевидением». И оттого, что телевидение представляет новейший способ общения людей, все выступавшие так или иначе касались телевизионных проблем.

Точки зрения совпадали далеко не во всем. Многие из наших зарубежных коллег жаловались, что телевизор превращает читателя в зрителя, а это катастрофически сказывается на тиражах книг. Писателю становится жить все труднее. Он не нашел места на телевидении, за исключением тех, кто пишет сценарии многосерийных фильмов. Популярность писателя падает.

Мы отвечали, что у нас есть свои сложности, но в нашей стране с каждым годом читают не меньше,

а больше. И, кажется, ни один писатель не говорил, что телевидение лишает его популярности. Напротив, популярность растет. Потом, через несколько лет, «Сообщество» это распалось. Но вернемся к конгрессу!

Тут надо упомянуть про одну подробность.

Когда группу советских литераторов избрали членами «Европейского сообщества писателей», нас пригласили в Москву в нашу писательскую Иностранную комиссию и, пожимая нам руки, вручили маленькие книжечки без «начинки», в сафьяновых переплетках. На обороте лицевой корочки напечатано было, что член «Сообщества» имеет право бесплатного посещения итальянских библиотек и музеев. В Москве мы не очень оценили эти права. И даже кто-то из нас в шутку сказал тогда: «Я не пойду сегодня обедать в Центральный дом литератора. Я тороплюсь в Болонью, хочу прочесть бесплатно сегодняшнюю «Литературку». Острили. Но когда подошло время отъезда, поняли, что книжечка эта крайне полезная вещь.

И вот Флоренция. В Палаццо Веккиа идет заседание конгресса. А шесть шагов отступя от этого здания, отделенная узенькой улочкой, — галерея Уффици, флорентийский Эрмитаж. Сергей Антонов пробирается по рядам и мигает мне.

— Ты уже был в галерее Уффици?

— Не успел.

— Слушай, пока бормочет этот толстяк, пойдем в Уффици: на двадцать минут, покажем вот эти книжечки... Пропускают сколько угодно раз. Я уже был. Постоим у картин Боттичелли.

Проходим бесплатно в галерею Уффици, любимся полотнами Боттичелли. Через двадцать минут возвращаемся. Объявляют имя Алексея Суркова. Великолепная речь! Оживление, аплодисменты. Объявляют зарубежное имя. Речь интересная. Аплодисменты. Объявляют перерыв на полчаса для питья ликеров и кофе. Даниил Гранин подходит:

— Ты в галерее Уффици Боттичелли найдешь? Только возьмем с собой Казакевича...

И надо сказать, много хорошего увидели мы с этими книжечками. По несколько раз забегали в Уффици. А другие музеи! Сергей Антонов, самый из нас методичный, трудолюбивый, серьезный (не говоря о таланте!), умудрялся ходить по музеям до завтрака, между завтраком и утренним заседанием, во время перерывов, до обеда, после обеда и даже во время вечернего заседания, не пропуская при этом ничего важного на конгрессе. Понятно, что он успел осмотреть чуть ли не половину флорентийских музеев! Я говорю «чуть ли не половину», потому что во Флоренции несколько десятков музеев, и для того, чтобы их осмотреть, мало книжечки. Нужно иметь много свободного времени и крепкие ноги.

Но все имеет конец, закрылся конгресс, мы снова распались на две группы. Старшую группу еще до Рима куда-то должны были повезти. А нас посадили в автобус и повезли прямо в Рим. Там с нашими друзьями мы должны были жить в разных гостиницах, а встречаться только за «круглым столом» во время бесед с итальянскими литераторами.

В то время транзитная автомобильная трасса еще не была готова. Ехали мы по старой Римской дороге, через Ареццо, Перуджу, Ассизи — замечательные итальянские городки; останавливались, осматривали неторопливо великую архитектуру Возрождения, гениальные фрески. Все, что ты знал об Италии прежде, оживало и «становилось на свое место».

Ехали мы целый день, в Рим прибыли поздно, разместились в «Альберго имперо». Я попал в один номер с Эммануилом Генриховичем Казакевичем.

Мало сказать, что это был человек замечательного таланта, с глубоким философским взглядом на мир. Нет, это писатель какого-то особого склада — лирик, очень глубокий, музыкальный, пластичный... Когда он задумывался, лицо его приобретало строгое, почти суровое выражение. При этом он был одним из самых веселых людей, каких я когда-либо знал. Остроумный, с тонкой выдумкой, он не чурался самых незамысловатых шуток и каламбуров. В нем не было ничего от тех остряков, которые сами смешат поминутно, а на шутку другого даже не улыбнутся. Казакевич, если только можно было из вежливости скрипеть губы, чтобы не обидеть бедного юмором, закидывал голову и хохотал громче всех.

По дороге, в автобусе, где, кроме нас и нашего провожатого, посторонних никого не было, кто-то предложил делить слова так, чтобы получились подобию имен и фамилий. Прямо скажем: незатейливая игра! Берется слово, ну хотя бы фамилия Веневитинов. Рассечь — получается **Веня** Витинов. Или фамилия Бенедиктов: **Беня** Диктов.

Все сочиняли. Я не мог выдумать ничего.

Казакевич ко мне подходил.

— Как, вы еще ничего не придумали? Это позор! Вы же профессиональный писатель. Неужели вы не можете сочинить каламбур?

У меня ничего не выходило.

Казакевич строго шептал:

— Мне за вас неловко перед товарищами! Хотите, я подарю вам свое, а вы скажете, что наконец сочинили?

Я понимал, что он шутит, и все же невыносимо страдал.

Казакевич подходил снова.

— Не выдумали? Я дарю вам первоклассную вещь: велосипед — **Василиса** Пед!..

...Как-то раз, уже в Риме, я предложил ему совершить ночную прогулку. Он отказался: устал. Я пошел с Граниным и Антоновым. Ходили мы, наверно, часа три. Долго стояли возле знаменитого Колизея.

Когда я, стараясь не разбудить Казакевича, тихо вошел в нашу комнату, он, не открыв глаз, спросил:

— Что вы так долго?

— Как жаль, что вы не пошли! Прогулка была изумительная!

— Вам кто-нибудь встретился по дороге?

Я поднапрягся и сказал:

— Да.

— Кто?

— Коля Зей.

Казакевич открыл глаза и быстро сел в постели.

— Вы сами это придумали?

— Ну а кто же!

— Я проверю. Он был один?

Я напряг мозги до последней возможности и сказал:

— Нет, с ним была целая рота Зеев.

Казакевич выдохнул и повалился навзничь.

— Вы не можете представить себе, как вы меня обрадовали! Я просто страдал оттого, что в этой игре вы оказались такой бездарностью!

Но это было потом, через несколько дней. А в ту ночь, когда мы приехали, мы рассказывали друг другу разные истории и так хохотали, что швед, живший за стенкой, прислал сказать, что он сделал попытку заснуть, но она окончилась неудачей.

— Заснет с третьей попытки, — сказал Казакевич мне. — Но за это медаль не дадут.

Шведу мы обещали шуметь потише. Но вскоре забыли о нем. Заснули под утро.

Спали недолго. Вскочили. Открываю я складные ставни этого старенького отеля, высунул в окно... Боже мой! Под окном — римская опера!

Я поскорее оделся и побежал смотреть, что идет.

Первый плакат возвещал, что во вторник представлена будет опера Рихарда Вагнера «Моряк-скиталец» в исполнении Байрейтской труппы (ФРГ). Цены повышенные.

Конечно, хорошо было бы послушать оперу Вагнера в исполнении именно Байрейтской труппы, которая до сих пор, с вагнеровских времен, считается лучшим интерпретатором музыки Вагнера. Но приехать в Италию и пойти слушать немецкую оперу, на немецком языке, в исполнении немецких артистов!.. Слово в Италии нет своей музыки! К тому же и цены повышенные...

Я перешел к другому плакату, на котором было означено, что в четверг будет исполнена опера Рихарда Штрауса «Розенкавалер» — «Кавалер роз» в исполнении Байрейтской труппы. Цены повышенные.

По тем же соображениям я перешел к третьему объявлению, которое гласило о том, что в воскресенье в пять часов дня пойдет опера Умберто Джордано «Андре Шенье» с участием Марио дель Монако. Цены обыкновенные.

Я пошел узнать, сколько стоит билет. Мне пояснили, что среднего качества билет стоит четыре тысячи лир. В моем кармане к этому времени оставалось пять с половиной тысяч. Не будем обольщаться треском этого слова: тысячи. По курсу того дня пять с половиной тысяч равнялись девяти рублям. Я не стал покупать билеты, а воротился в гостиницу.

Наши завтракали.

Я спросил:

— Кто пойдет со мной в римскую оперу?

Все перестали есть. Виктор Борисович Шкловский спросил:

— Что идет?

Я сказал:

— Идет опера Джордано «Андре Шенье». Поет Монако.

— Мы не знаем, что за опера. Объясни подробно.

Я сказал:

— Джордано умер сравнительно недавно — в 1948 году. Но принадлежал к той группе итальянских композиторов-веристов начала века, которую возглавляли Пуччини, Леонкавалло... По сравнению с ними Джордано так себе, послабее. Но неплохой. У нас опера эта не шла, я знаю отдельные номера, в записи.

Шкловский, набирая силу звука и уже горячась, сказал отрывисто:

— Уговорил! Не пойдем! Не пойдем слушать «так себе». Слушай сам. А нас оставь. Я в Москве никогда не бываю в Большом театре. Мне не с чем сравнивать. И вообще ты живешь неправильно. Мы приехали в другую страну, хотим видеть ее народ, слышать его дыхание, видеть движение толпы, слушать речь, которой не понимаем. А ты нас ведешь в театр, где на непонятном языке поют французскую революцию. Мы поэзию Андре Шенье знаем лучше, чем дирижер. Иди сам! И не уговаривай! На какие деньги ты собрался в театр?.. Ай-ай! Деньги не наши, но все-таки надо подумать. Я не предлагаю тебе барахольничать, но в Москве у тебя есть семья, и по возвращении тебе надо будет доказывать, что ты о ней иногда вспоминал! Делай, как знаешь. Мы не пойдем. В этот день мы заняты! Мы поедем смотреть, как римский папа будет выезжать из Ватикана в церковь святого Джузеппе.

Я сказал:

— Вы много его увидите, папу.

— Откуда ты знаешь? Ты здесь не бывал.

— Я не знаю, а думаю.

— Что ты думаешь?

— Думаю, что папа не будет останавливаться, чтобы с вами поговорить. Промелькнет в машине, и все.

— Аха! Значит, ты говоришь, что нам не будут показывать папу? Все равно поедem смотреть, как нам не будут показывать папу.

Я подумал: «Не хотят? Не надо. Но я же должен был предложить?» Кстати, я тоже мог посмотреть на выезд папы: папа выезжал в половине четвертого, а опера начиналась в пять. И когда в воскресенье нашим подали огромный автобус, я первым в этот автобус залез.

Приехали к собору святого Петра. Вся левая сторона площади запружена огромной толпой, но сквозь тесноту проложен был коридор, в котором на мотороллерах сидели те, кто составлял эскорт папы, готовый ринуться по первому знаку. Дрожали рули в руках, завивался бензиновый дым. Было очень холодно, очень ветрено, шел сухой снег. Время мое подошло. И вместе с гидом, очень милой женщиной, мы сели в тот же автобус и отправились к опере. Прошли сквозь толпу в вестибюль. Постучали в окошечко. Билета, который фирма должна была заказать на мое имя, нет. Над кассой табличка — аншлаг.

Разыскали администратора. Гид рассказала, что я «советник» и «скриттор» — писатель, имею отношение к музыке, выступал в филармонии в Ленинграде (тут уже все было пущено в ход). Администратор, не вынимая левой руки из кармана, протянул мне талон. Я прильнул к окошечку кассы и приобрел билет в бельэтаж, в боковую ложу... за пять с половиною тысяч лир! Гид простилась со мной. Я вступил в коридоры театра, не в силах понять:

Поет Монако.

Пора начинать спектакль.

Билетов нет.

Публики тоже нет.

Только в первых рядах партера сидели пожилые длинноспинные иностранки в мехах, с биноклями и программками. Немного сгущающих лиц дождалось начала — в ложах, на балконах, на галерее. Свет еще не погас — из оркестровой ямы всплыл дирижер. По случаю дневного спектакля не пластрон с белым бантом, а галстук. Хотя черный фрак, но серые брюки. Постучал палочкой. Стало темно. Увертюра пошла... Поплыл занавес.

До конца первого акта знаменитых дуэтов и арий нет. Так кто же станет спешить к началу! Но я же про это не знал! Те, кто пел, хорошо пели. Но все же мысль, правильно ли я поместил свои капиталы, несколько меня беспокоила. И, слушая оперу, я размышлял в то же время о том, как представить нашим в гостинице свою, как говорили в XVIII веке, конфузию, как несомненную, как говорили в том же XVIII веке, викторию. Но подобные размышления могли меня занимать только по той причине, что я не бывал в Италии.

Перед концом первого акта — знаменитая «Импровизация» Андре Шенье. Монако спел ее превосходно. Зрительный зал чуть не лопнул от бури восторга... Зажегся свет, я глянул!!!...

Театр был переполнен так, что галереи, балконы и ложи гнулись! Все вывешивалось, как виноградные грозди через садовую стелу на романтическом полотне. В зале стало тепло, душно, торжественно, радостно, возбужденно!

Пошел второй акт. Я-то думал, что Марио дель Монако будет лучшим! Не был он лучшим! Другие были не хуже!

В этом спектакле пел знаменитый современный баритон Джиганджакомо Гуэльфи — высокий, слегка полнеющий красавец. Тот самый Гуэльфи, который позже в составе миланской труппы приезжал к нам в Москву, провел на репетиции первый акт «Лючии ди Ламмермур», охрип и, не спев ни одного спектакля, улетел обратно в Италию. Но в Риме-то он не

охрип! Там он пел во всю широту и во всю красоту своего голоса! Да как пел! Как играл, посмотрели бы! Он рассказывал по сцене с непринужденностью и свободой, с какой другому не пройти по собственной комнате. Он исполнял партию благородного соперника Андре Шенье — Жерара. Оба любят одну. А для нее жизни нет без Шенье. И она умрет в тот самый час, когда узнает о его казни.

Гуэльфи ходил, стоял, жестикулировал, совсем как те итальянцы, что теснились у входа. Но именно поэтому, что он был так раскован, это был совершенно достоверный герой времен Великой французской революции. Мне кажется, образ получался таким живым оттого, что из-за Жерара выглядел краешек самого Гуэльфи. Так бывает, когда изображение наклеивается на паспарту и сразу становится живее, параднее, начинает казаться выпуклым. А кроме того, если подумать: ведь не мешает нам, когда мы читаем роман, следить за тем, как автор пересказывает мысли своих героев, тогда как никто не может знать этих мыслей, потому что герой никогда не высказывал их. И нам это не мешает, а помогает. Мы верим в эту условность, принимаем ее. Мало того, в романе едва ли не самое интересное не поступки героев, а то, что думает о них автор. Вот так же интересно было наблюдать, как из-за «кромки» Жерара выглядел чуть-чуть сам Гуэльфи. Он был образом. И в то же время автором этого образа.

Во втором акте арию какой-то скорбной старухи исполнила молодая певица. Чудный голос, хорошо пела, в программке было указано, что это дебют. И зал высоко оценил ее. Ее вызывали на «бис». И долгие ровные аплодисменты говорили о том, что ее сценическая судьба решена.

Счастье изображалось в ее глазах, она низко кланялась, улыбалась, стали забавными нарисованные морщины — они уже не могли соответствовать улыбкам и всему поведению ее молодого личика.

Гуэльфи стоял, подбоченясь, и очень довольный смотрел на ее поклоны, пока не решил, что пора двигать спектакль дальше. Тогда мягким и властным движением руки он выпроводил ее со сцены (это был благородный Жерар). И слегка потрепал по плечу: «Молодец, хорошо спела». (Это уже Гуэльфи.)

Трудно предположить, что и этому помогал режиссер. Не сомневаюсь, что живые итальянские позы, и жесты, и свобода, с какой он держался на сцене, были импровизацией, шли от собственной инициативы Гуэльфи. Но так достоверно выражал он XVIII век потому, что где-то оставался итальянцем XX. Ибо, играя, не реконструкцию создавал, а скорей ретроспекцию — взгляд из XX в конец позапрошлого века.

Но все это было, покуда шли сцены. Когда же дело дошло до арии, Гуэльфи вышел на авансцену, встал против дирижера и начал работу.

И вот совершенно так же, как скрипач, который прижимает к подбородку свой инструмент, и сливается с ним, и закрывает глаза, и тянется за смычком, он ставит лакированную туфлю на «полуносок»... И мы понимаем, что он работает! И нам не мешают эти телодвижения, а помогают!..

Так же, как виолончелист кренится над своим инструментом, и выкусывает губы, и раскачивает головой, словно конь, везущий в гору тяжелую кладь, и весь уходит в звук, который еще не родился. И мы наблюдаем самый процесс рождения музыки, как бы соучаствуя в нем и понимаем, что музыкант работает!..

Вот так же работал этот певец!

Когда ему надо было опереть звук, он приподнимал плечи и чуть-чуть откидывался... И зал тоже откидывался.

Когда он исполнял распевные фразы, он и руками пел, «пассируя» ими. И зал следил за его руками и шевелился.

Когда ему предстояла высокая нота, он принимал позу, словно собирался выжимать тяжесть. А получалось легко. И зал вместе с ним безмолвно брал эту тяжесть и ликовал.

Когда же дело дошло до последней — мощной «героической» ноты (кажется, это было верхнее ля) что началось тут, того описать не можно!..

На всякую реакцию потребна хотя бы доля секунды! Не было здесь этой доли! Когда певец сомкнул губы, театр взорвался. И рухнул! Рухнул стеной аплодисментов, восторга, радости, благодарности, выкрикивая имя Гуэльфи. И гремел до того мига, когда палочка поднялась... И тут на оркестр, на сцену обрушилась внезапная тишина! Слово зал выключили, как выключают свет. Никаких аплодисментов, означающих: «Не хотим слушать ваших, подайте наше-го!» и «Вернись назад!», «Повтори!» — ничего этого не было! Все в тот же миг ушли в действие оперы. И могло показаться, что дирижер выполнил страстное желание зала.

Но когда перед последним актом дирижер поднял оркестр «на бенефис» и прожектор выхватил его фигуру из темноты, ему выкрикивали из зала недо-вольствия за то, что не давал «бисов».

Певца Антонietta Стелла — золотоволосая, кареглазая, высокая, с тоненькой шеей, с тоненькой талией, плечообразная, бюстообразная, необычайно подвижная, легкая. Исполняет трагическую роль, кажется, что на глазах слезы. И в то же время видно, как ей нравится петь! И что это не только спектакль, но и концерт. И не только концерт, но и блестящее состязание, от которого в выигрыше решительно все — и артисты и публика. И оттого, что мы видим на сцене мрачные своды тюрьмы, впечатление не меньше, а больше!.. А голос какой у нее — какое сопрано! Но когда звучали низы, это было уже не сопрано, а какой-то сладостный вопль. И казалось, зал от наслаждения темнел, словно был плюшевый и его погладили против ворса.

Не подумайте, что я хочу умалить искусство дель Монако. Он пел прекрасно и прекрасно играл. И выглядел авантюристом: в белой рубашке, перепоясанный цветным шарфом, на каблучках. Но вот казалось, он заранее знает, как он споет и как сыграет Шенье. А эти?!

Впечатление было такое, что они и сами не знали, как это все получается. Но знали, что будет прекрасно. Так бывает во сне. Еще не знаешь, что за музыка будет, а знаешь, что будет, — согласная, самая нежная, именно та, которой ты никогда не слышал, но мечтаешь услышать.

Да, трудно было поверить, что в этой импровизации участвовал режиссер. А он, разумеется, был.

Конечно, после того, как «Ла Скала» приезжала в Москву, можно сказать, что мы видели и слышали итальянскую оперу. Но мне думается, что мы видели и слышали ее только наполовину. Мы видели и слышали, что происходит на сцене. Но не видели итальянской публики. А то, что происходит в зале, стоит того, что происходит на сцене. А все потому, что весь зал — это те же Гуэльфи, которым природа не дала его голоса. И воспринимают они Гуэльфи так, словно он сдает им экзамен. А это оценка особая — суждение знатоков, которые воспринимают пение не только в целом («хорошо пел!»), а упиваются каждым звуком, каждым вокальным приемом своих любимцев.

«Так себе» оказалось прекрасной оперой!.. Да что говорить! Здорово было! Я вспомнил, как школьником после спектакля дожидался у артистического

подъезда тбилисской оперы выхода знаменитых певцов, чтобы получше их рассмотреть...

Но, сообразив свои лета и положение, медленным шагом воротился в гостиницу.

Наши ужинали. Шкловский спросил:

— Ну как?

— Замечательно!

— Расскажи.

Я рассказал. Шкловский загорелся, заволновался: — Ты правильно сделал, что не послушал нас! Мы тебя неверно учили. Ты счастливый. Ты догадался в Италии пойти в оперу. Если бы ты не пошел, тебя в Москве дети прогнали бы из дому. Правильно сделал. Сколько истратил?.. Ай-ай! Много. Но нам не жаль твоих денег, потому что ты хорошо их истратил. Ты выиграл! И не бойся. Ты не один. Нас много — будем брать кофе себе, возьмем и тебе чашку. И даже со сливками. А может, даже и с булочкой. Не огорчайся!

Я сказал:

— О каком огорчении ты говоришь? Я очень доволен.

— Ну, тогда и мы счастливы! Нарезем это счастье на порции и раздадим всем, потому что у нас ничего не вышло. Мы папу не видели. Он ездил быстро, и мы его пропустили, а потом не поняли, что толпа не будет ждать его возвращения, и продолжали стоять. Было холодно, и мы чихаем. Ты счастливее нас.

Другие с ним согласились.

А потом об этом забыли. Действительно, важное дело: один из десяти был в театре! И больше речи об этом не возникало до самого дня отъезда.

Но когда наши чемоданы лежали в вестибюле и автобус стоял у подъезда, чтобы отвезти нас в аэропорт, появился представитель фирмы, которого мы, кажется, ни разу не видели. Он сказал, что дирекция поручила ему передать нам пожелание счастливого путешествия и взять обещание: если мы снова соберемся в Италию, контактировать только с их фирмой. И ни с какой другой.

— Ваш визит вызвал широкий отклик. Многие газеты поместили сегодня статьи о том, что следует укреплять эти контакты. Пишут о ваших докладах. Очень интересны были дискуссии за «круглым столом». Дирекция приглашает вас приехать на более долгий срок... Нет ли у вас претензий?

Претензий не было.

Он простился, вышел в стеклянную вращающуюся дверь, вернулся в вестибюль и сказал:

— Я совершенно забыл. Мне говорили, что синьор Андроников посетил спектакль римской оперы и приобрел билет за пять с половиной тысяч лир. Фирма желает сохранить с вами добрые отношения и поручила мне вернуть ему эту сумму.

Все оживилось:

— А нам?!

Он сказал:

— Спектакль в Милане, который вы рассчитывали посетить, прошел раньше, чем вы приехали. Фирма не считает себя ответственной за то, что вы не попали в Милан. Что же касается синьора Андроникова, он слушал оперу, будучи гостем Италии...

И он вручил мне деньги, которые истратить было уже невозможно. Через двадцать минут мы должны были подняться на борт самолета. И все же я был очень доволен и смеюсь до сих пор, когда вспоминаю эту историю. Видно, законы античной поэтики объективны: добродетель вознаграждается! Ну, а кроме того, я понял уже окончательно, навсегда:

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ МУЗЫКУ, ТО ЛЮБИ!

К 100-летию со дня рождения
В. Я. ШИШКОВА

АЛЕКСЕЙ ПЬАНОВ

ЧЕЛОВЕК- ДОБРО

*Он был верен русскому слову,
русской природе, русскому
советскому человеку.*

Николай ТИХОНОВ

«ЛОЦИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Дед, узнав о его решении, страдал: погибнешь ни за грош в этой глухомани, комары съедят, медведи задерут; Сибирь — каторжное место.

Но в двадцать лет дальние дороги не пугают, да еще если выбрал ты их своей профессией, если в кармане у тебя только что полученный диплом...

В 1894 году выпускник Вышневолоцкого технического училища Вячеслав Шишков выехал в Томск на службу по Округу путей сообщения. За плечами — строительная практика в Новгородской и Вологодской губерниях, в послужном списке — рекомендации, отмечающие широкие познания молодого гидро-техника, упорство, прилежание.

Не загадывал, надолго ли, но знал, что всерьез. Сибирь манила огромными, необжитыми пространствами, возможностью принести пользу Отечеству.

...Пять лет самоотверженного труда рядовым техником-съемщиком. Романтические мечты развеялись, столкнувшись с реальной жизнью в «каторжных краях». Но стремление изучить их, проторить надеж-

ные пути к несметным богатствам еще более окрепло. Шишков успешно держит экзамен на право самостоятельного производства инженерных работ и выезжает на Обь-Енисейский канал. Годом позже изучает водные пути на реках Чарыш и Чулым, затем отправляется на Иртыш, исследует пороги Енисея, участвует в работах по укреплению берегов Лены.

Жизнь его трудна, полна лишений и опасностей. А на родину идут письма с диковинными адресами, полные заботы о близких. В одном из них фотография — Шишков с группой рабочих и техников. Она сделана в Якутии и помечена 1909 годом.

Всматриваешься в снимок и не можешь избавиться от ощущения, что будущий писатель стоит в окружении героев «Угрюм-реки». Уж не Прошка ли присел у нивелира в форменной фуражке и шинели? А этот бородатый, коренастый мужик очень напоминает старшего Громова...

Но главный труд своей жизни он начнет только девять лет спустя («Угрюм-река» — та вещь, ради которой я родился). Пока же написана и опубликована лишь сказка «Кедр» (1908 год). А людей на фотографии, сделанной на берегах Лены, можно смело назвать героями многих произведений Вячеслава Шишкова. С ними, такими же землепроходцами, делил он невзгоды кочевой жизни, уходил в рискованные экспедиции. На таежных тропах встречал охотников и золотоискателей, записывал их рассказы в книжечку, которая всегда была с ним. «Зачем это делал, сам не знаю. Так просто. А сейчас мне это пригложилось». Сотни характеров раскрылись ему, сотни встреч запечатлелись в памяти.

На фото: Вячеслав Шишков. 1891 год.



Вспоминая прожитое, он писал: «Мои лучшие годы протекали в живом труде, среди разнообразной природы. Я видел всяческую жизнь, но судьба дала мне больше всего присмотреться к жизни простых людей. Я жил бок о бок с этими людьми, нередко ел из одного котла и спал под одной палаткой с ними».

Два десятилетия, проведенных в Сибири, дали Шишкову огромный материал, обогатили знанием жизни, научили преодолевать трудности, закаляли характер. Глубокий след оставил он по ту сторону Уральских гор. Даже если бы не взялся В. Я. Шишков за перо, его имя все равно осталось бы в истории освоения Сибири и произносилось сегодня с уважением.

В 1913 году Шишков возглавил группу исследователей Чуйского тракта. Он по-прежнему весь отдавался любимому делу, но мысль уже «просится к перу, перо — к бумаге». Первые литературные опыты встречены одобрительно. Он чувствовал непреодолимое желание рассказать людям о том, что увидел, узнал, понял за минувшие годы. Иногда приходила мысль: не поздно ли? В сорок лет рискованно менять профессию. Может быть, воспоминания об этих днях заставили его сказать в одной из бесед: «Писательство — трудная, очень трудная работа. Она требует больших познаний, большого опыта. И к тому же это очень ответственное дело. Нужно становиться зоологом, химиком, накапливать опыт, знания, а потом, если явится желание, так писать можно и в 35 лет».

Зимой 1914 года в Петрограде, куда привела его служебная командировка, состоялась первая встреча с Алексеем Максимовичем Горьким, во многом определившая судьбу гидротехника Вячеслава Шишкова. Он уехал из Сибири, чтобы вскоре вновь вернуться туда, но теперь уже в своих книгах.

НА БЕРЕГАХ МОЛОГИ

Тысячи верст прошел В. Я. Шишков берегами Лены и Енисея. Исследовал Нижнюю Тунгуску и Ангару, плавал по Бии и Катунь. Но самой любимой, самой дорогой для него всегда оставалась тихая Молога, несущая свои воды голубыми льняными полями Моложской низины. Уютная, обжитая река, на берегах которой стоит древний город Бежецк. В истории русской культуры знаменит он многими именами. Большой и заслуженной была слава создателя народного оркестра бежечанина Василия Васильевича Андреева, талантливого художника и педагога Павла Петровича Чистякова — наставника Репина и многих других русских живописцев. С этими местами связаны имена Николая Батюшкова, Федора Глинки, декабристов Александра Бестужева-Марлинского и Николая Бестужева. Вдохновенные строки посвятила Бежецку приезжавшая сюда Анна Ахматова.

Здесь сто лет назад, 3 октября 1873 года, в доме на Воздвиженской улице родился В. Я. Шишков.

Немного в сегодняшнем Бежецке напоминает о тех временах. Разве что бывшие купеческие особняки, построенные на манер московских и петербургских: и мы, мол, не лыком шиты. Негоцианты разных калибров составляли до революции почти пятую часть горожан. Дымил на берегу Мологи винный завод. Колокольни на Кашинской, Садовой, Большой улицах. Кабаки всевозможных разрядов. И лишь четыре школы да шестиклассное училище.

Этого Бежецка нет и в помине. Новый город сморится теперь в воды реки. Многим знаменит он. Но прежде всего — заводом «Бежецксельмаш», выпускающим машины для комплексного возделывания «северного шелка», которым так богата Калининская область. Леноуборочные машины идут отсюда во все концы страны, отправляются за границу. У них отличная аттестация: еще в 1963 году на международной ярмарке в Лейпциге бежецкому льнокомбайну была присуждена золотая медаль. С тех пор коллекция наград постоянно пополняется.

Растет завод, растут другие предприятия, раздвигает границы древний город. Но бережно сохраняется в нем все, что связано с историей, благоустраиваются памятные места.

Дом на Воздвиженской не сохранился. Он обветшал, и его разобрали еще в 1913 году и здесь же поставили новый. Средства на постройку прислал из Сибири старший сын — Вячеслав. Отказывая себе во всем, он, по его собственному признанию, копил деньги многие годы и потому имел все основания сказать: «Дом этот нажит не торговлей, не эксплуатацией рабочих, а личным трудом». Он и сейчас стоит на улице, носящей имя писателя.

Сохранилось здание городского училища, где учитель словесности А. П. Павлов читал вслух сочинения пятиклассника Шишкова, высоко оценивая их. Мальчик выделялся среди сверстников серьезностью, разносторонностью и глубиной интересов. И хотя в доме отца литературой не увлекались, Вестенька (так звали Шишкова в семье) не расставался с книгами. С детских лет его любимыми писателями были Гоголь, Пушкин, Успенский, Толстой, Короленко. И, вероятно, под влиянием прочитанного двенадцатилетний подросток сочинил «повесть о разбойничьей жизни» — «Волчье логово». «С тех пор», — вспоминал В. Я. Шишков, — вплоть до самого зрелого возраста, я литературой не занимался, и мне не приходило в голову, что я буду писателем».

И все же интерес к творчеству пробудился у него в юные годы не случайно. Биографы В. Я. Шишкова единодушно отмечают, что главную роль в этом сыграла его бабушка...

Неподалеку от Бежецка раскинулось село Шишково-Дуброва, с которым тесно связаны детские и юношеские годы писателя. Воспоминания о них он пронес через всю жизнь. Они озарили его творчество. Здесь, в Дуброве, испытал он неотразимое очарование родной природы, здесь во всем богатстве явилась ему русская речь, здесь из уст бабушки услышал он сказки и легенды, откликнувшиеся на страницах его книг.

Вячеслав Яковлевич вспоминал об этой счастливой и беззаботной поре:

«Я рос в городе. Летом же уезжал в деревню к бабушке, где и прогашивал до поздней осени. Я очень любил бабушку и любил деревню. «Дуброва» расположена среди высоких холмов, покрытых густым хвойным лесом. Почти каждый день мы с товарищами ходили в лес, в горы, по грибы, по ягоды. Товарищами моими были крестьянские парнишки...

Жилось весело, шумно, и осень, когда нужно было ехать в город, всегда встречалась слезами.

Избушка бабушки маленькая, покосившаяся, вросшая двумя окошками в землю, но она до сих пор живет в моей памяти, как светлая сказка».

...Я приехал в Дуброву прошлой зимой. За минувшие годы изменилась деревня, сохранив, пожалуй, лишь свое название. Тихие, замеченные снегом улицы, голубые столбы дыма над крышами. На возвы-



В. Шишков (сидит первый справа) среди группы изыскателей на берегу Лены. 1909 год. (Из архива К. М. Шишковой.)

шении — большой деревянный дом. Прежде здесь была усадьба. Но не в роскошные дедовские хоромы спешил Вестенька, а в скромный домик бабушки, доброй, ласковой Елизаветы Даниловны. Он знал, что уж и новая сказка его ждет и прогулка интересная. И друзей его босоногих из дома не выгонят, а угостят всем, что есть на столе.

Деда своего видел лишь несколько раз. В доме бабушки о нем не говорили. Много лет спустя узнал Шишков семейную историю. Крепостная девушка поправилась молодому барину. Счастливо складывалась жизнь у красивой, голосистой Елизаветы. Росли сын и дочь. Но родители принудили Дмитрия Шишкова жениться на богатой, и он подчинился их воле. А Елизавета забрала ребятишек и ушла в тот самый домик, который с такой любовью вспоминал Вячеслав Яковлевич. Одна воспитывала детей (Шишков дал им свою фамилию), помощи не просила. А потом всю любовь отдала внуку...

Время не пощадило этот дом, и не многие в селе помнят, где стоял он. Давно уже нет и дедовской усадьбы. Главное здание ее перестраивалось, и теперь на его месте — средняя школа. У директора Людмилы Ивановны Колпаковой много дел и забот: приезжает комиссия из района. Но имя Шишкова звучит как пароль. Она откладывает на время дела и увлеченно рассказывает о том, как ребята и педагоги готовятся к столетию со дня рождения писателя-земляка. Разыскивают материалы о его пребывании в Дуброве (увы, даже профессиональным краеведам не так-то просто отыскать что-либо новое или малоизвестное), создают школьный музей В. Я. Шишкова, записывают рассказы старожилов.

А за окнами засыпанная снегом Дуброва. Белые поля за околицей, старое кладбище на пригорке, поросшие молодым лесом холмы. Когда-то рос на них строевой лес. И Вячеслав, перенявший от отца увле-

чение охотой, бродил здесь с ружьем, высматривая проворную белку, отыскивал коренастые боровики, набредал на земляничные поляны и заросли малины. Здесь продолжались бабушкины сказки. И может быть, в этом лесу родилась у него мечта о далекой Сибири.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ОН ВЫБИРАЛ

«С большим волнением всматриваясь в необычные события народной жизни... я никогда ни на один день не представлял себе свои личные радости и горести, тем более свою писательскую судьбу — вне судьбы народа».

Право на эти искренние, идущие от самого сердца слова Вячеслав Яковлевич Шишков доказал своим творчеством, всей своей жизнью. Поселившись в Петрограде, он, в сущности, так и не обрел оседлости. Да и как было усидеть за столом, когда рушились вековые устои, начинались великие стройки, когда страна поднялась к новой жизни, освященной Октябрем.

Он снова в дороге. Первая поездка — в родные края, в Тверскую губернию. Впечатления от этого путешествия вошли в «Шутейные рассказы» и книгу очерков «Ржаная Русь». Их герои — рабочие, комсомольцы-земляки, крестьяне преобразующейся деревни. На страницах этих книг и родной Бежецк, и Бологовское озеро, и Осташков.

Уже начата «Угрюм-река», но он откладывает рукопись и спешит в Смоленск, Кострому, Крым. На-

вещает Бежецк. «Каждый его приезд, — пишет Н. П. Павлов, — сопровождался устройством дружеских вечеров, на которых писатель мастерски читал свои произведения. Так, в 1926 г., приехав в Бежецк, в кругу родных и друзей он с исключительным успехом читал свою небольшую неопубликованную комедию «Веселый разговор».

Не забывал писатель и город, где прошли его «университеты», где в том же училище занимался и его младший брат Алексей, поныне живущий в Вышнем Волочке.

Но больше всего Шишкова привлекали новостройки Страны Советов. В двадцатые — начале тридцатых годов он побывал в Перми, Рыбинске, Новгороде, Ростове, Ярославле, Сталинграде, Краснодаре, Азове, Тамани, Феодосии, Судаче, Свердловске, Нижнем Тагиле, Соликамске и еще добром десятке городов и сел. Он оставался прежним землепроходцем, только теперь его инструментами были не теодолит и нивелир, а перо и блокнот.

В 1931 году Шишков в последний раз навестил родной город, возвращаясь с Урала. Собирался приехать вновь, однако мешали дела, большая писательская и общественная работа. Но на берега Мологи шли его письма, книги с надписями, адресованные сестре, племяннику. Многие из них сохранились в доме на улице Шишкова.

Переписывался Вячеслав Яковлевич и с местными краеведами. Из этой переписки известно, что он собирался создать произведение из истории родного города. Вероятно, надеялся на «перерыв» в работе после «Угрюм-реки», но его думами уже владел Емельян Пугачев. «Историческая миниатюрка» из жизни Бежецка осталась ненаписанной...

Есть в Бежецке на улице Карла Маркса здание, знакомое каждому горожанину. Это библиотека имени Шишкова. Ее сотрудники много сделали и делают для пропаганды творчества писателя-земляка. Зимой 1945 года тогдашняя заведующая районной библиотекой Е. Д. Иванова послала письмо Вячеславу Яковлевичу, приглашая навестить Бежецк. Шишков был серьезно болен, но письмо земляков не оставил без ответа:

«Дорогая Екатерина Дмитриевна! Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Спасибо также за приглашение приехать в родной город и побеседовать с читателями. Вот этого-то, к величайшему моему сожалению, никак исполнить не могу: не позволяет мое болезненное состояние, а отчасти и возраст. Я даже отказываюсь и в Москве выступать и по радио бросил читать свои произведения. Да, признаться, и некогда: тороплюсь с окончанием «Емельяна».

Так что мой приезд в Бежецк придется отложить. Передайте друзьям-читателям, что я очень ценю их отношение ко мне, ведь в таких дружеских нитях от сердца к сердцу все счастье, вся радость человека, который наделен природой носить высокое звание писателя.

Прислать свои книги в Вашу библиотеку не в состоянии: их нет у меня. Я сам дорого заплатил бы, чтобы иметь их. Было у меня в г. Пушкине (Царское Село) по одному экземпляру всех книг моих, но мне пришлось из Пушкина, где я жил, спешно перебраться в Ленинград, где я провел почти всю блокаду, и все бросить: старинную дорогую мебель, утварь, хорошую библиотеку, даже архив. И все же пришлю

Вам свою книжку «Прохиндей» — выпуска 44 года, повесть из времен пугачевского движения...

Да! Чуть не забыл. В Ленинграде весной должна выйти в одном томе «Угрюм-река» (оба тома соединены), не прозевайте.

Второй том «Пугачева» сдан в производство, он такого же размера, что и первый. Будет еще третий том, который закончу весной.

Желаю Вам всего лучшего. Ваш Вяч. Шишков».

Занятый огромной работой, больной, диктовал он это пространное письмо, полное любви к землякам. Так пишут очень близким людям. Шишков не лукавил, когда говорил, что собственных книг у него не осталось. Прежде держал только по одному экземпляру и никогда не выставлял напоказ. И сегодня в последней, московской квартире писателя, на улице Горького вы не сразу отыщете на полках «Угрюм-реку» или «Емельяна Пугачева». Почетное место в книжном строю занимают его любимые с детства авторы. Вдова писателя Клавдия Михайловна Шишкова хранит эту традицию...

Он вернулся — в бронзе — в родной Бежецк летним днем 1950 года. Тысячи людей пришли в городской сад на открытие памятника своему замечательному земляку, выдающемуся советскому писателю Вячеславу Яковлевичу Шишкову. По крупицам собрали они и снесли в новый музей все, что связано с жизнью Шишкова в Бежецком крае. Книги его, почитаемые во всей стране, особенно любимы здесь, на родине писателя, создавшего гигантские панорамы народной жизни.

Подводя итоги сделанного, В. Я. Шишков писал:

«Я не старался распространяться вширь, я норовил сам себя поднять кверху. Книгу за книгой, написанные мною, я подкладывал себе под ноги и год от года рос вверх, все выше и выше. И вот заметил меня народ, высоко оценило мою скромную работу правительство. И я по-человечески счастлив.

Я смотрю на жизнь писателя, как на подвиг, как на служение народу, поэтому я был скуп на свою личную жизнь и расточителен в творчестве. Мною написано около трехсот печатных листов. Из них только пятнадцать сделаны до революции. Поэтому я вправе считать себя писателем советского времени».

Он посвятил свою жизнь Отечеству, людям и потому заслужил их признание и любовь. «Человек-добро» — сказал о Вячеславе Яковлевиче Шишкове Константин Федин. И к этим словам вряд ли что-нибудь нужно добавлять.

гор. Калинин.

ИВАН КУПЦОВ

РОДНОЙ ПРОСТОР

(Ко 2—3-й страницам обложки)

Среди работ художников, показанных на Берлинском фестивале молодежи, была и эта. ...Расставил юный велосипедист руки и, словно птица, парит над шоссе, несется навстречу мелькающим пригородным далям, проникаясь их чарующей красотой.

Автор литографии — москвич Александр Ливанов. В его произведениях чаще всего предстает сама повседневность, увиденная добрым и метким взглядом художника, влюбленного в то светлое, человеческое, что творят его современники на нашей земле, что наполняет их души и сердца.

Без нарочитостей, свежо и бодро возникают в литографиях А. Ливанова будни районного центра. Есть здесь своя поэзия, глубина чувств, искренность и привольность. Таковы графические листы «Почта и телеграф», «Над рекой», «Летят утки», «Частушки», «В машине», «Самодельность». В них художник использует черную штриховку по белому полю бумаги и достигает богатства тональности — от серебристого до угольно-черного. И это разнообразие оттенков, их взаимосвязь передают щедрость на первый взгляд прозаической жизни, обыкновенных характеров.

В работах Ливанова всегда много воздуха, простора. Его героям вольно дышится. Окружающее их пространство звучит подобно оркестру, исполняющему симфонию радости и созидания. Но слышны в этой графической музыке не только литавры, а и нежнейшие скрипки. В красоте бытия, воссоздаваемой художником, привлекает ее полнокровие, ощущение деятельности и созерцания, задумчивости и светлой беззаботности.

Ливанов много и охотно путешествует. Творческие группы художников для поездок по стране организуются у нас нередко, а вот законченные, глубокие произведения создаются в таких экспедициях нечасто.

Кто накапливает зарисовочки, наброски, уповая на дальнейшую работу в мастерской, чаще всего прерываемую житейскими обстоятельствами и бесконечно откладываемую. Кто в силу душевного склада никак не может творить на ходу, на глазах коллег.

Ливанов и в таких, дорожных, условиях работает в полную силу. Образ рождается в его представлении прямо на месте, изначально. И эта свежесть, непосредственность становятся привлекательным ка-

чеством рисунков и литографий художника, которым присущи и хорошая композиционная выверенность и тонко промоделированный колорит, воплощающий уже не только облик натуры, впечатление от нее, но и размышление о ней.

Таковы серии, созданные в поездках по Донбассу, в Касимов, на Чукотку, по вологодской земле.

В рисунках цветным карандашом, исполненных в Вологде, особенно чист и прозрачен воздух, мягки очертания предметов, нежны сочетания цветов. И столь же определено в композиции, в характере линий ощущается свойственная людям русского Севера, природе этих мест крепость, степенность, истовость.

Ливанов любит не только наблюдать жизнь, но и конструировать ее модели за рабочим столом, экспериментировать. Ему близки романтические превращения прозы Гоголя; художник находит нечто весьма эстетическое и в дорожных знаках, его волнует проблема той предметной среды, которая окружает, а порой и поработает человека дома. И вот возникают такие литографии, как «Гоголь (Посвящается В. Горьеву)», «Дорожные знаки», «Телевизор».

Художника интересуют истоки формообразования, ему хочется расшевелить фантазию зрителя, аккомпанировать ей. И тогда он создает графические листы «Кентавр», «Голова», «Вазы и пальмы».

Образность, смелое творчество, оптимистический дух — вот что привлекает Ливанова в русском искусстве, в фольклоре. И он увлекает зрителя рассказом о скоморохе, который надел колпак, продел руки в рукавицы и вдруг преобразился в лихую тройку с колокольчиком под дугой...

Глядя на фольклорные работы Ливанова, счастливо избегаешь обидной мысли о подражательстве, модничанье, которых так много, к сожалению, в иных произведениях, перпевающих на все лады старинные шедевры.

Нет, тут скорее думаешь о том, что нынешний художник и древнерусский гудошник — это сродственники. Ходили гудошники, гудели, то есть играли на гусях, сказывали песни и смешливые, и печальные, от которых бодрее становились глаза, очищались души. Мир становился то бескрайним, то заключенным в человеческом сердце. Мука сердечная разделялась между всеми и таяла. Доброта возникала да умножалась.

Искусство Ливанова также открыто зрителю, обращено к нему всей своей звонкой эмоциональностью и несуетливым раздумьем. Правда, молодой художник подчас сам попадает под чары своей активности, и тогда ему кажется, что каждый его рисунок — уже зрелое творение, которое необходимо показать зрителю.

На выставке произведений А. Ливанова, которая состоялась недавно в журнале «Юность», встречались и поспешные, незрелые эскизы, своеобразные проекты будущих образов, доступные восприятию лишь самого автора. Но, к счастью, такие заблуждения у художника мимолетны, кратки. Ливанов — график вдумчивый и серьезный, подвергающий время от времени свое творчество высшему строгому суду. Такой оценкой созданного, наметившегося стала и его персональная выставка, на обсуждении которой состоялся деловой товарищеский разговор.

А юный велосипедист все парит над шоссе, летит навстречу родным просторам, открывая их вновь и вновь, заново и заново...



АНАТОЛИЙ
СТРЕЛЯНЫЙ

ПРОВОДЫ



Старая Рябина обрадовала нас мощью солнца, определенностью запахов, каждый из которых, смешиваясь с другими, в то же время был сам по себе, и первый среди них — сирени. Тополя перед нами поднимались высоченные, трава по сторонам тропинки даже будто постукивала твердыми, до черноты зелеными листьями, синева над всем была глубочайшая и чистейшая, а между небом и землей стоял один особый — летний, полуденный звук. Лежа на спине в поле, его ловишь обычно не слухом, а смеженными веками. Из тебя уходят все мысли, ты растворяешься в этом звуке и, кажется, знаешь, что испытывает растущая трава.

Так жил я когда-то здесь и не задумывался, что есть север и юг, что вверх по карте — Москва, а вниз по карте — Черное море. Никуда особенно не стремясь, я незаметно вырос и так же, никуда особенно не стремясь, побывал и на севере и на юге и осел далеко от дома. А оно все равно: вчера утром, увидев на Курском вокзале проводы в армию — с гармошкой, с кучей родственников и друзей слегка ословевшего новобранца, — я вдруг удивился. В Москве тоже вырывают! Такое это было забытое, такое селянское, приятное удивление. Мы ехали провожать в армию моего племянника Виктора, и в тот момент я почувствовал, что очень за год соскучился: по нему, по матери, по сестре Марусе.

Когда впереди из тополей выступил наш дом, кирпичный, восемь на десять, с застекленной верандой во всю длину, я пошел быстрее. Всякий раз, когда я отсюда уезжаю, они переходят в память: и дом, и тополя, и поле перед ними. Если в день отъезда с крыш свисали сосульки, то для меня они висят целый год; если поле было зеленым, таким оно для меня и остается. Я увожу с собой только отпечаток, а иногда кажется, что забрал все и там без меня ничего нет. И вдруг оказывается, что все — на месте, все продолжало жить, дни сменялись ночами, ночи сменялись днями, и весна — это не та самая весна, другая, а между той и этой было лето, осень, зима.

Идя вдоль забора, я с нетерпением поглядывал через него.

Во дворе гигантской буквой «Г» уже был вкопан стол, сбитый из шалевок. Походило на то, что посадить за него собирались чуть ли не полсела.

— Так теперь заведено, — сказал Виктор, здороваясь. — Иначе год будут обсуждать.

Он спешно заравнивал яму, оставшуюся среди двора после гашения извести (недавно строили сарай). Росту был не самого высокого, но строен, с силой, равномерно распределенной по всему телу. Не нарочитая, не мальчишеская, а настоящая солидность давно уже и много работающего человека, и перед таким в жизни поворотом — никакого возбуждения. Все это было на чистом, загорелом его лице. «Какой, должно быть, умный и спокойный парень!» — подумал бы, глядя на него, даже тот, кто не знал его совсем.

Вслед за мной Виктор вошел в кухню.

— Бабуся, укус встречайте! — сказал он.

— Привез? — спокойно обернулась она, не вынимая из дежи рук. Две женщины, помогавшие матери у плиты, мельком взглянули на меня и, не двинувшись с места, будто вышли, оставили своих надежде. Теперь до самого отъезда... Все будет, как заведено, все будет для порядка, все будет по обычаю. Входи в него, как в реку, и плыви.

Укус вместе с дюжиной банок фаршированного

перца было то, что заказывалось в письме накануне. Насчет колбасы я должен был сообразить сам.

— Попить бы,— сказал я, оглядываясь.

— Зараз ситерця внесу,— кинулась от плиты одна из стирпук, не забыв вопросительно взглянуть на мать.

— И ситро купили? — удивился я. Любой магазинный напиток у нас на столах обычно появлялся лишь в исключительных случаях.

— И пива. Ящик в погребе,— сказал Виктор, а мать добавила, что заказывали в сельпо еще на той неделе.

Мы пошли в огород.

— Ты гляди, что делается! — остановился я у грядки с редиской. Наполовину грядка уже была пустая, только свежерыхленные пустые борозды. Дергано было все подряд, без отбора, с промышленным размахом. Батальону на прокорм, не меньше — второй раз удивился я масштабу предстоящего события. Когда вернулись в дом, спросил:

— Сколько ж все-таки будет народу?

— Та человек из сотню,— небрежно ответила мать.

Открылась дверь, и в проеме показался огромный барабан. Ног Виктора из-под него не было видно, только откиннутая назад голова желтела за медной тарелкой.

— Чтоб не рассох. Пусть в тени постоит,— сказал он, высвобождая из-под широких брезентовых лямок плечи.

Это был Главный Барабан нашего села. Я подошел к нему и взял в руку то, что обычно называют палочкой, а в данном случае было полированным поленом с шишкой на конце из туго свинченных кружков войлока. Я легонько коснулся кожаной плоскости барабана, и тот ревнол, как заматеревший зверь. Взяв в другую руку самодельно кованную медную тарелку, я притронулся ею к нижней, сидящей на темном, толстом винте с четырехгранной, от тяжелой бороны, гайкой,— звон посыпался.

За окнами для меня враз стемнело, и окон в комнате стало не четыре, а два, и наполовину уменьшились они в размере. И кирпичные стены сделались саманными, бугристыми, мокрыми по углам; крашенный деревянный пол — глиняной доливкой, на которую у печи, выросшей на месте плиты, лег ворох соломы: хоронясь объездчика, я, как стемнело, волоком по накатанной зимней дороге притащил вязанку с поля. Возле печи встала мать. Только одеду сменила ей моя память: байковый красный халат на мешковину юбки и на кофту из шелка немецкого парашюта. Лицо было теперешним. Для меня оно всегда было таким, как сейчас: из крупных коричневых складок выглядывают синие догадливые глаза. Она подкладывала пучки соломы под чугунок, в котором кипятились, для чая, вишневые веточки, а сам я отходил на печи в просе, когда вдруг, огибая морозные столбы над селом, донеслось далекое, глухое гуканье барабана.

— Федьку Сыроватку обмывают,— сказала мать и, пока я, немедленно соскочив, одевался, рассказывала, какой тот дурной, а хитрый. Другие из Германии барахло прут, а этот — чемоданчик иголок. Рубль штука, посчитай, сколько тыщ в чемоданчик влезет! Хитрая голова, да дураку попала, пропьет ведь и раздаст.

Хозяином барабана был кузнец Гришка Огейко. Чуть ли не в день, когда он вернулся с фронта, в его дворе сдохла телка. Он ободрал ее, выдубил кожу. «Хорошо,— шутил, мертвые глазами,— что не кошка, из нее бы только барабанчик вышел, для забавы, не для дела». Мать места тогда себе не находила: почему не сапоги сделал себе Гришка? Гол ведь, как сокол.

До чего же сладко бывало стоять возле Гришки и, не чувствуя, что стынут ноги, смотреть, с какой жуткой силой он лупит свой барабан. Месяц с неба сейчас скатится — ждешь после иного удара. В углу толстых губ, выпяченных так, что тебе и страшно и смешно, зажата сигарка, неподвижно-свиный взгляд устремлен поверх пляшущих голов. Кольнет взглядом в твою сторону, двинет щекой, и ты птицей взлетел бы на самое высокое дерево и прыгнул вниз — для него. Рядом на табуретке, воткнув в толпу деревяшку, сидит бессменный Гришкин напарник, Степан с гармонью. Нет на свете барабана, который в состоянии забить Степанову гармонь, и нет на свете гармони, которая в состоянии забить Огейкин барабан. Но они стараются, соревнуются, и месяц все скачет и скачет, сверху вниз, снизу вверх.

Так встречали вернувшихся с войны и гуляли первые свадьбы.

Я смотрел сейчас на этот инструмент, и во мне возникло странное ощущение. Вот текла тут жизнь, понятная мне и близкая, как лицо матери, но что-то, оказывается, в ней происходило такое, что, вызрев, стало для меня новостью и настраивало теперь на щемяще-приподнятый лад: и сто человек гостей и барабан.

Вечер был назначен на семь часов. К девяти еще не было почти никого: доили коров, управлялись по хозяйству, вернувшись с работы.

— Коровам не объяснишь: сын идет в армию. Верно, Маруся? — крикнул я сестре, которая наконец-то вернулась с фермы и открывала калитку колесом велосипеда.

— Та тебе виднее,— ответила она, прислоняя велосипед к воротам. Одета была в красную вязаную кофточку и синюю широкую юбку, на голове белая косынка. Худенькая, озабоченная и усталая много лет назад и на много лет вперед. От Маруси моего детства осталась только синяя мушка на левой щеке да особая белизна лица — следствие различных кремов и примочек, страсть к которым сохранилась у нее с юности.

Мушку она привезла в сорок пятом году. Она работала в Сибири, токарем на снарядном заводе. Оттуда и привезла: железное сердечко с винтиком, сделанное собственноручно, и вот эту мушку. Я вертелся поодаль в тот вечер, когда она, приехав, мылась над корытом, поставленным на табуретку. Яркая синяя точка на чистом и свежем ее лице весело бросалась в глаза и, помню, вызывала у меня ликование...

— Носовик заготовила? — спросил я. — Плакать будешь?

— Да нет. Сын не разрешает.

— Он и меня предупредил,— пронося к столу плетенку с наливкой, сказала на ходу мать.

— Знамя сегодня видели? — спросил их Виктор.

— Какое? — заинтересовался я.

— В честь передовой доярки. Каждую неделю возле конторы поднимают, и что ни раз, то для мамы. Со-циа-лис-тическое сорев-но-ва-ние,— Виктор растянул слова.

Маруся покраснела и опустила глаза. Потом быстро подняла, увидела, что мы над ней не смеемся, и опять опустила.

Во дворе становилось все теснее, подходили по двое и целыми компаниями. Виктор включил свет в лампочках, повешенных в разных местах над двором, переоделся в новый темный костюм и сделался в нем еще стройнее, держался в выходном свободно, но не броско. Пришел буднично одетый Григорий Огейко, повел взглядом, и возле него, как из-под земли, выросли Виктор (с табуреткой) и Маруся (обмахнула табуретку рушником). Григорий сел, еще раз повел взглядом, и у колен его утвердился

барабан, а рядом стал с баяном один из дружков Виктора. Степана с гармонью не было: Степан помер.

Григорий ни разу не улыбнулся, ни на ком не задержался взглядом, не поздоровался, сел и грохнул. У меня защемило. Я уже знал, что прошлой осенью умерла от рака единственная дочь Григория, замужняя моя сверстница Люда. Я подошел к нему, пригнулся и тихо сказал:

— Здравствуйте, Григорий Матвеевич.

— Так вот получилось, Иванович, — поняв меня, ответил он одним только движением занятых рук в стороны и не потерял ритма.

Пришла соседка Ольга, и Виктор стал мне тихо рассказывать о ней. Месяц назад она родила от Оейки. Стало у нее четверо, все от разных отцов. Старший, восемнадцатилетний, прислал из города письмо, в котором обещал до дому никогда не являться. Она открыла окна и двери и весь день каталась в крике по земляному полу.

— Вот так люди и живут, — заключил Виктор.

Я молчал. Виктор подмигнул:

— По-крестьянски.

— Однажды она молотить к нам приходила, — зачем-то вспомнил я. — Руки у нее... Прямо летали!

— Намолотила! — не понял он меня.

Тем временем незаметно, без особого объявления, все расселись, выпили — без тостов, не принятых у нас, — и по одной и по второй, покатилося колесо по привычной колее. Говорили кто по-русски, кто по-украински — Старая Рябина стоит на самой границе с Россией, и «мы, — всегда заявляла мать, — руськи, нас, руських, кто хочет, тот и проведет». Ее, правда, провести никто никогда не мог.

Волна общего интереса и разговора катилась от одного участка стола к другому. Иосифу Михайлюку надо было выяснять, знаю ли я, видел ли самых главных людей в Министерстве сельского хозяйства. Мы вместе с Иосифом ходили в школу. За последние два-три года, после того, как женился и получил новый трактор, Иосиф заметно изменился лицом. Оно огрубело, вздулось тугим мясом, и шея тоже раздалась. От груди стал уже выступать широкий и длинный живот под белой рубашкой. Я отвечал, что кой-кого знаю, а кой-кого видел.

— Ну и что они из себя? — допытывался Иосиф. — Ясно, что люди-то не простые, а вот какие?

— Думаю, обычные.

— Ну не такие ж, как наше правление?

— Правление, по-твоему, хуже?

— Да нет. Правление так себе, ничего.

— Вот и министерство, — вмешался в наш разговор Степан Романчишин. — Хочешь увидеть министерство — посмотри на свое правление.

Он недавно вернулся из армии и говорить о правлении «наше» еще не привык.

— Ты серьезно? — спрашивал Иосиф.

— Очень даже, — отвечал Степан.

В раздумье Иосиф вертел стакан.

— Эй, Виктор, — басил он в другое крыло стола. — Без лычек со службы не вертаться, — и поворачивался ко мне: — Это он хорошо мне открыл. А и вообще. Завидки меня ни к кому не брали. Давай чокнемся. Это действительно. Люди кругом обыкновенные, как и я.

— Понимать это — первый залог спокойствия в жизни.

— Та я спокойный, — поглаживал Иосиф живот.

А Степана Романчишина возле нас уже не было — пошел плясать. Он мало сидел на месте и еще меньше пил. Из-за стола вылетал всякий раз незаметно, в круте всякий раз появлялся неожиданно, будто сверху. Высокий, чернобрый, бедновато одетый, широкие штанины летали вокруг тонких ног, глаза

смотрели ровно-приветливо, лицо было ясное — на нем одно чистое удовольствие жить своей жизнью, никому не мешая. Только раз тень грусти и заботы прошла по этому лицу.

— Ты счастливый, — сказал он, подсев к Виктору. — От готового хозяйства идешь, не придется на строительство тянуться. Только и останется, когда вернешься, справить обстановку. А то и баба с собой привезет, если не дурак и сразу женишься.

Бухал барабан, сопровождая баян, игравший то гопак, то некоторое подобие виста. Друзья Виктора, выбегая на середину, ввинчивались в землю. Стол добродушно на них смотрел, и они смелели. Как на подбор, стройные, красивые, трезвые.

— Ты смотри: умеет! А мы и не знали, — любовались Виктором родственники.

— А чего ж? Продуктов теперь хватает, — сказала Ольга и сразу скромно замолкла. Она сидела на самом краю стола и все время смотрела на Гришку, стараясь, чтоб думали, что смотрит мимо. Еды набирала себе редко, запасливо, какая плотнее, преимущественно пирогов и курятины с картошкой. Ей было сорок с небольшим. Казалось, она понимала, как нестерпимо здесь для женщин ее крупное, румяное лицо, яркие губы, рвущие кофту переполненные груди — вся она. Стыдилась себя, цветущей, хотела обещать им раз и навсегда уняться, затвориться, зачухнуть, а глядела на Гришку — и не могла. Ради них она и петь старалась тихо, одними губами, а голос все равно выделялся.

— «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда», — запели, и Ольга забылась, голос ее зазвучал в полную силу, с ликующей болью — про сыночка можно...

Наталя, жена Гришки, пробежала взглядом по ряду чуть повернутых в сторону Ольги лиц с раскрытыми в песне ртами и крикнула почему-то мне:

— Ето песня про лярву, которая детей бросит и хвост трубой!

Ольга виновато сомкнула губы.

Я встал из-за стола, вышел за ворота. Пир отодвинулся и не то чтобы притих, а стала ощутимее на его фоне тишина вокруг. Соединенные кроны высоких тополей у забора легко поглощали свет, оставшийся во дворе, и двор через то был, наверное, сверху, как желтое, с четко очерченными краями пятнышко в темноте. Слово вся жизнь с необозримого пространства сошлась в одну точку, и эта точка желто замерцала. У калитки, под тополем, стояла с приятельницей Маруся. До меня доносились их голоса. Говорили о зоотехнике Сорькове. Он получил, чтобы вручить Марусе, пять рублей — премия за флаг, поднятый в ее честь, — и пропал.

— Отдаст, — успокаивала Марусю приятельница. — Он не жадный.

— Не жадный, а бессовестный, — зло отвечала Маруся.

Я подошел к Марусе, обнял ее за плечи.

— Ладно. Пошли. Там что-то замолкли.

— Наверно, одаривать начали, — сказала она.

— Одаривать?!

— Ну да.

— Как на свадьбе?

— Ага. Такой теперь порядок.

Ряды гостей сгустели. Наступил момент, когда каждому очень хотелось остаться наедине с Виктором, а все чтоб исчезли. Одному этого хотелось потому, что скромный припасен подарок, другому наоборот: чтоб не вогнать своим подарком в краску остальных.

Самое трудное взял на себя Василь Ефимович, муж моей двоюродной сестры, председатель сельсовета.

— Начинай, Виктор! — встал он. — Чего там, не пами заведено. — Стоял малиновый и серьезный.

А Виктор тоже стоял и смотрел в нерешительности на меня. Мне сделалось обидно: за кого он меня принимает, что стесняется, словно предстоит венчание в церкви? Виктор понял, извинился глазами, взял плетенку с водкой и направился к Василию Ефимовичу. Мать перехватила его и повязала рушником через плечо. Пока она повязывала и что-то, зыряка вокруг, деловито шептала, я обратился к Василию Ефимовичу:

— Ты сказал: не нами заведено. Почему?

— Не нами,— громко подтвердил тот.

— А вот в клубе есть комната счастья, в ней ты венчаешь и крестишь, шампанское в холодильнике, фужеры с золотыми ободками. Это кем заведено?

— Нами! — с гордостью, но и с некоторым пренебрежением ответил Василий Ефимович.

— А кем же это?

— Это? — обвел он рукой двор. — Это само по себе.

— Но откуда, почему? Раньше этого не было. Жить стали лучше?

— Лучше-то лучше,— задумался Василий Ефимович. — А я вот наблюдаю: есть в народе какое-то особое волнение. Особые пошли призывы. Мы пацанами войну начинали. Фактически, если взять сегодняшний день, и кончали пацанами. А теперь наши дети... Не сказать, чтоб и страх, а вот напряжение... Может, так?

За Виктором с белым пустым блюдом для сбора подарков шел нездешний его дружок по училищу механизации. Василий Ефимович подставил Виктору под плетенку свой стакан. Виктор налил, а дружок поспешно протянул блюдо. Тот, нахмурившись, отстранил посудину и поднял стакан.

— Товарищи! Сегодня мы провожаем в ряды Советской Армии еще одного молодого жителя нашего села Старая Рябина,— официальные речи он произносил всегда по-русски. — Я хочу сказать. Как я и некоторые сидящие здесь шли в сорок третьем году, и было кому по семнадцать, а кому и меньше, мне, например, на пасху только шестнадцать было. А отцы наши в сорок первом пошли, а мы в сорок третьем. Красная Армия село временно покидала, а мы под фашистом оставаться не хотели, и матери нас провожали до Ворсклы. И мы через Ворсклу — чередой по льду, торбинки на плечах. Мало кому из той череды посчастливилось назад. Я не буду забирать ваше внимание, мы скоро доску на сельсовете поставим. А шо? Не так кажу? — вызываясь обвел он ряды. — А теперь вот уже дети наши. Я пью, чтоб им того не пришлось. Служи, Виктор, честно, вперед батька там не лезь, но и насчет лычки тут, конечно, правильно было сказано.

С этими словами Василий Ефимович выпил, достал кошелек, медленно раскрыл, вынул красненькую, положил на блюдо, хлопнул по ней ладонью, сел и замер. Он не должен был положить ни больше других, иначе подумают, что оказывает давление, ни меньше — иначе жадный. Верно ли рассчитал — такая, скрываемая ото всех и всем видная тревога была на его лице.

— Василий Ефимович,— негромко окликнул его. — Спасибо вам за вашу речь.

— Они не верят, что я от души,— пробормотал он, тронутый и смущенный. — То я, думаю, с целью, по работе.

А дарение шло своим чередом. Виктор медленно продвигался вдоль стола. Наливал он с таким видом, будто главное для него — только угостить. Дружок ему в этом умело помогал. Блюдо после Василия Ефимовича держал так, чтобы гостю казалось: блюдом его учтиво минуют. Мы, дескать, налили, вы, спасибо вам, приняли, а остальное — дело десятое. Пока гость выпивал, что делали и женщины из числа во-

все не пьющих, блюдо уже было возле другого, из расстояния протянутой руки от причастившегося, но не дальше. Гость, словно спохватившись, догонял блюдо рукой. На дарящего при этом все усиленно старались не смотреть. Тем не менее взгляды, скрепящаяся на блюде, вели его, как прожекторы самолета.

Чаще всего клали деньги. Крестная Виктора, писемоносец Вера, положила белую, в прозрачном пакете рубашку. Крыло своих сверстников Виктор с дружкой обнесли недвусмысленно быстро. Старшие заметили, поняли и молча согласились. Последней в очереди была Ольга. Она положила рябенький, с приклеенной этикеткой носовик.

— Сидела б себе та ела! — добродушно, но почему-то очень громко сказала какая-то из женщин.

— Та не обедняю,— тихо сказала Ольга.

Утром следующего дня нас разбудил Федька Сыроватка. Сначала, сквозь сон, я слышал через открытое окно веранды сдержанные обстоятельные звуки завтрака: звякнул стакан, забулькало, взвизнула ложка. Затем длинно хрустнули Федькины кости, засвистел воздух, зевком втянутый в легкие, и дрогнули в следующий момент стекла:

На зеленом ковре мы сидели,
целовала Наташа меня!

— Людей перепугаешь, бугай! — громко, по-дневному сказала ему мать, и мы встали.

Умывшись и после короткой борьбы с Федькой выпив молока вместо пива, прошли в огород. Ходили долго, вернулись в росе до колен, посвежевшие; всегдашняя замороченность сегодня не успела коснуться лиц, на полпути растаяла под первым солнцем.

К девяти часам — воскресенье — двор снова был полон, а к десяти подъехала грузовая машина, битком набитая гостями другого новобранца, с соседней улицы. С огромным трудом Василию Ефимовичу удалось часть высадить, чтобы хватило места Виктору и его провожатым. У заднего борта установили барабан. К нему сел щупленький, важный, уморительно курносый Рябко, парнишка лет семнадцати, в белой рубашке, распахнутой почти до пояса. Как только распрощались и машина двинулась, он неистово, с силой, поразительной при его комплекции, ударил в барабан. Грохот этот вылетел за село, и вот он уже несется по шоссе, и галки в обочинных тополях и осокорях беспокойно кричат вслед.

Новобранец с соседней улицы совсем по сравнению с Виктором мальчишка. Конопатенький. В плечико ему уткнулось девчатко, счастливое, что впервые может так с ним сидеть на людях, но плачет. Плачет по-детски, полной слезой и так легко, что можно биться об заклад: на обратном пути будет звенеть колокольчиком. У другого его плечика сидит моложавенькая мать и тоже плачет. Плачет и для себя и на людей, с расчетом, что так они ее лучше запомнят. Человек беспечный, растерянно-несуразный, до сих пор жила она в селе, родила от кого-то и вырастила сына, а будто ее и не было; исчезли она вдруг — никто и не заметит.

Внимания на них не обращают даже их собственные гости.

Маруся сидит спокойная, задумчивая. Или делает вид. Да, присматриваюсь, делает. Не хочет быть похожей на ту. Если несуразный человек что-то одобряет, она будет порицать. Если огород он сажает сегодня, она будет послезавтра. Если несуразный человек плачет — она не должна.

Виктор весел, все он про будущее знает, готов к нему и уверен в нем.

Временами я чувствую, что совсем мне было бы здесь хорошо, когда бы Маруся тоже плакала, а Вик-

тор про будущее знал не все. С благодарностью смотрю на конопатенького и счастливо-безушесных его женщин.

Василь Ефимович сидит рядом со мной, с большими паузами рассказывает:

— Отошли мы тогда от Ворсклы километров тридцать. Вокруг гремит, даже ногами слышно: земля трясется. Митька — ты его знаешь, теперь он в кладовой — насутился: я, хлопцы, повертаю до дому. Только попробуй, гад, — берусь стыдить, — ты же комсомолец, твой отец людей в колхозы зывал! И не пустил. Приходим с войны, встречаемся. У меня и руки и ноги — все на месте, все целое, только подросло. А у него нога — и протеза привесить не к чему. Теперь он, выходит, герой, а я... И никому не докажешь. А может, и правильно, и доказывать не надо. У меня-то все на месте.

Федька Сыроватка, неделей раньше тоже вырядивший сына, удивляясь и гордясь собой, рассказывает Марусе:

— Плакал я, да. До последнего терпел. А потом как зареву! Жалко, паразитство, стало. Да, жалко.

Смотрит на меня и спохватывается:

— Ты что, Иванович?! За весь вечер не выпил ни капли. Пивца в погребе загодя две бутылки оставил — прибегу, глотну из горла и назад. Выдержал. Нельзя.

— Назло тем, кто думал, что напьешься? — Он был слаб по этой части.

— Та мать их так. Для себя.

— Твоему сколько надарили? — спрашивает он Марусю.

— Грошами девяносто семь, — снисходительно отвечает она. — А твоему меньше?

— Главно, что пришли и выпили.

У въезда в каждое новое село или завед впереди на дороге людей, Рябко воодушевляется, нарочно дает барабану перерыв, чтобы потом наповал оглушить село или встречных. В невозмутимости его физиономии что-то от Григория Огеики. Вот тополя и осокори становятся реже, а по обе стороны шоссе, совсем близко, — шеренги женщин с таянками на свекловичном поле. Они разгибают спины, смотрят из-под ладоней. Одна вдруг принимается притопывать, сорвала с головы белую косынку, машет, идет кругом, уже плохо ее видно, а она все машет и притопывает.

— Дурочка какая-то! — пожимает плечами Маруся.

Мне все больше хочется, чтобы на машину, на меня, на нас смотрели, и я уже сам, когда замелькали первые дома райцентра, кричу Рябко: «Давай!»

Возле военкомата десятка два грузовиков, окруженных большой толпой, а барабана я не вижу и не слышу ни одного. И хочется, чтобы кто-нибудь подошел ко мне с вопросом: «Это вы барабан привезли?» На крыльцо выходит военком, майор в форме летчика, слушает и одобительно затыкает уши. Я почему-то уверен — догадываюсь по его лицу, — что майор, доведись заговорить с ним, тоже скажет, как Василь Ефимович, про одно — «нами заведено», а про другое, про барабан, — «не нами».

Виктор уходит и возвращается с известием: у него нет картуза, а тех, кто без картуза, пригрозили, сегодня не возьмут. Он рад этой строгости, принимает как должное, в самой непонятности ее есть для него особая, новая понятность: начинается армия. Картуз ему дает Федька. Маруся говорит, чтоб тот зашел вечером, даст ему шесть рублей.

— Ну! — обнимает меня Виктор.

— Пиши! — обнимает его Маруся, губы ее дрогнули и улыбнулись.

К Виктору вдруг торопливо протискивается мать конопатенького, залитая слезами. Она хочет кипнуть к нему на грудь, но натывается на руку, которую

тот, удивившись, быстро протягивает. Она чуть отступает, вытирает мокрым платочком лицо и с медленным поклоном, двумя руками пожимает его ладонь. Протяжно говорит:

— До свиданья, Витя, и тебе.

Маруся оглядывается. Вслед за ней оглядываются и я. В стороне я вижу конопатенького. Его провожающих нет, уже отошли, а скорее всего и не подходили, разбредаясь по ларькам с мороженым и ситро. Только невеста висит на нем и тихонько раскачивает его из стороны в сторону. Пока я смотрю, к нему подходит Василь Ефимович, хлопает по плечу, и Федька — что-то над ним гудит. Потом возле него появляется и Маруся, пожимает руку.

Вернувшись домой и пообедав, мы отдыхали за пологом на веранде. Мать со стряпухами чистила в другом конце картошку. Гости, уже в меньшем количестве, партиями, будут приходить и сегодня и завтра. Сквозь застекленную стену я видел, как во двор к колодцу проходила с ведром Ольга, раз, другой, третий.

— Ходит, — сказала мать. — Ждет, когда что-нибудь дашь. Сама хлебны по-людски не испечет. Для чего только живет такое неприспособленное? Ольга, подожди! — Вышла она во двор, и мы видели, как спустилась в погреб и подала ей оттуда миску жареной рыбы, залитой морковным соусом с луком. Ольга, отнекиваясь, взяла миску, прикрыла ее тряпкой, вынутой из кармана передника.

— Все одно спортится, — объяснила мать стряпухам.

Они стали продолжать свой разговор. Одна рассказывала, что ее сын служит в стройбате и как она, когда с бабами в поле, молчит о нем, хвалиться нечем. Однажды заикнулась, а Пиварка (ее сын в ракетах) расхохоталась на все поле: в стройбате, мол, самые последние, подслеповатые, недоучки и недомерки.

— То я и молчу, — говорила стряпуха. — Пускай уж они своими гордятся.

— Глупа она, как пробка, твоя Пиварка, — отвечала мать. — В стройбат же специалистов берут: каменщиков, бульдозеристов, по сотне рублей ежемесячно платят. Хлопцы со сберкнижками приезжают.

Стряпухи обсуждали Марусю: как она умно сделала, что не плакала. Вспомнили, что Петро Шпорыш специально письмо своей матери присылал из Венгрии: перестаньте, мамо, плакать — на сердце ваши слезы мне тут сильно давят.

— Думаете, зря Данило Сонькин с фронту без царапинки пришел? — доказывала мать стройбатовца. — Его Сонька как провожала в сорок третьем, всю дорогу, до самой Ворсклы, впрыскаду шла. Мы за своими плачем да Соньку обсуждаем, а она кружку самогонки хильнула — и танцует, танцует, юбкой снег метет. Это бабка ее одна надоумила: будешь, говорит, плакать, то ему твои слезы пудами отольются.

— Бабьски побрехеньки, — сыпнула камешков мать.

— Не-е, Маруся твоя умно сделала, — продолжала греться в своей сказке стряпуха.

...Пройдет время, и в тысяче километров отсюда я незаметно тоже уверю себя, будто только потому Маруся не плакала, что знала эту примету. И меня снова потянет в Старую Рябину, и все там издали будет казаться не таким, как есть, а чуточку приподнятое, светлее. И опять мне будет грустно переживать возвращение к действительности — грустно и радостно.



ЮРИЙ ПЕРЕПЛЕТКИН,

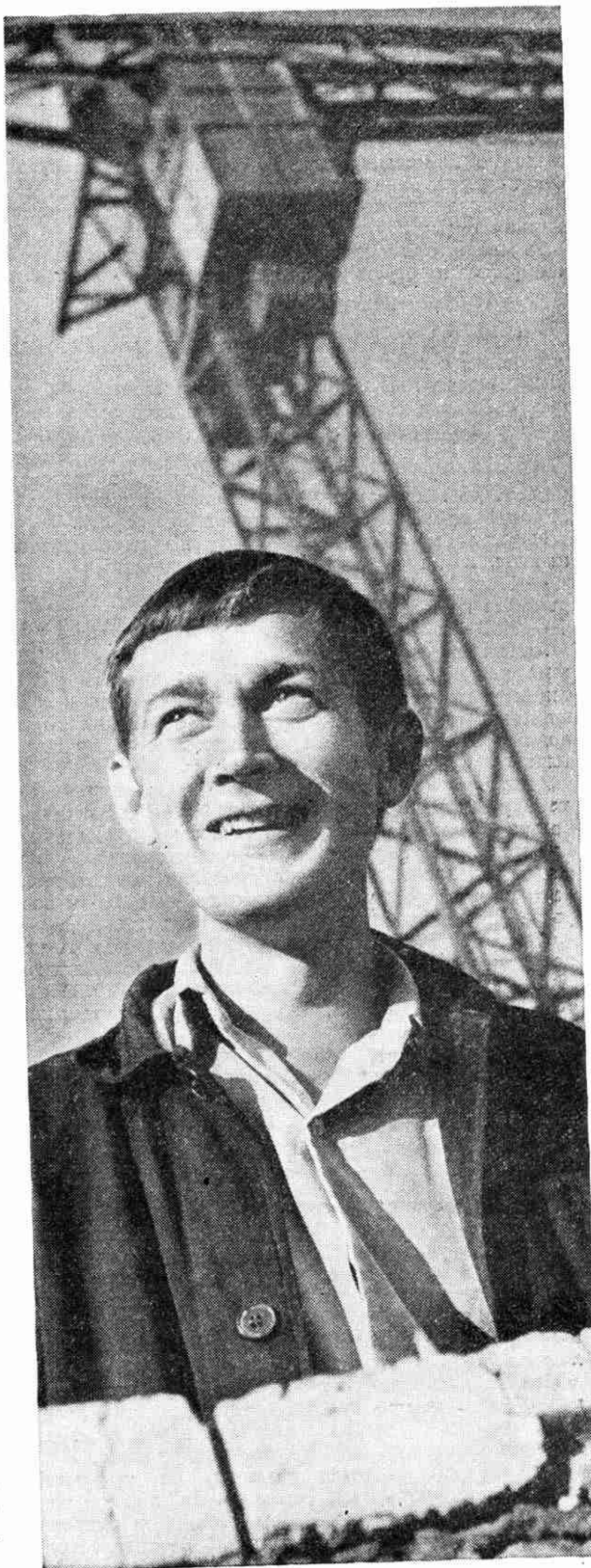
собственный корреспондент «Юности»
на стройке Тюмень — Сургут — Нижневартовск,
член бюро Тюменского обкома ВЛКСМ.

ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК

*Двадцать два молодых каменщика
участвовали в конкурсе
профессионального мастерства,
который проводился летом
этого года в Тюмени
по инициативе нашего журнала.*

Н а место, где должен был состояться конкурс, я пришел задолго до открытия. Задолго до того, как участники торжественно выстроились перед трибуной для подъема флага, а члены жюри заняли свои места за экзаменационным столом около строительной площадки, — здесь ребятам были отведены участки для работы.

Зашел в прорабку — жюри пока находилось там. Попросил показать список участников конкурса... Они съехались со всей трассы — из Сургута, Усть-Югана, Салыма, Туртаса, Тобольска, из всех строительного-монтажных поездов стройки. Кому-то предстояло стать победителем... Конечно, бессмысленно



На фото: Геннадий БАТУРИН.

было сейчас заниматься прогнозами: ведь на конкурс в Тюмень прислали самых лучших...

Читаю список участников: Плясовских, Казаков, Чугунов, Кирсанов... Имена все незнакомые. И вдруг — Геннадий Батури! Это сюрприз. Встречались мы с Геннадием и разговаривали не раз. Интересный парнишка. Как-то у него сложится на конкурсе?

Члены жюри тем временем вышли из прорабки, молодые каменщики встали в строй у трибуны. Флаг поднят. Конкурс открыт!

Деловито заработал кран, подавая каменщикам кирпич и раствор, замесили мастерки...

А мне вспомнились рассказы Геннадия о том, как он пришел на стройку, с чего начинал...

Он написал (признается сейчас) довольно смешное заявление, с которым пришел в отдел кадров: «Хочу строить дома вдоль железной дороги Тюмень — Сургут...» Было в том заявлении много слов о том, что дома эти будут белыми, а сама трасса — голубой. Отдел кадров встретил его суровой реальностью. Оглядев его с ног до головы и уточнив возраст (вплоть до месяца и дня), кадровики ответили отказом: несовершеннолетних на стройку не берут...

И ушел было Геннадий «добирать» недостающие месяцы, как вдруг кто-то поинтересовался:

— Постой! Как, говоришь, твоя фамилия? Батури? Ты не Ивана ли Прохоровича сын?

— Его! — облегченно вырвалось у Геннадия.

...Отца в строительном-монтажном поезде № 280 знал каждый. Отличный шофер, безупречной репутации человек. Узнав о решении сына идти каменщиком, отговаривать не стал. Сказал: «Будет трудно, парень». А Геннадий на легкое и не рассчитывал.

Авторитет отца, конечно, свою роль сыграл: на работу Батурина-младшего взяли. Но до его мечты о белых домах вдоль голубой трассы было далеко. Его направили разнорабочим — потом оказалось, что таким нехитрым, но точным способом производился «естественный отбор». Если пришел на стройку всерьез — и разнорабочим остаться не испугаешься.

Этот первый экзамен Геннадий выдержал. А через три месяца он попал в бригаду каменщиков Александра Аркадьевича Вяткина, в СМП-280. Поезд базировался в Тюмени, строил здесь молодежное общежитие.

— Знакомся! — сказал бригадир. — Вникай.

Геннадий взял мастерок в правую руку, кирочку — в левую. Потом наоборот. Затем бросился подносить женщинам кирпичи: попросили. Почему-то в бригаде было много женщин...

Дом, на котором соревновались в кладке ребята, только-только поднимался от нулевого цикла. Для каждого из участников конкурса здесь были подготовлены и обозначены номерами рабочие места. Кран безостановочно подавал раствор и кирпичи. Было солнечно, и члены жюри, утрясая последние оргвопросы, сдвинули на глаза козырьки легкомысленных жокейских кепочек...

Номера распределялись по жребию. В соответствии с ними первая половина конкурсантов приступила к кладке, а вторая предстала перед экзаменационной комиссией «по теоретической части».

Участки кладки были различны по трудности: стены, простенки, углы, «столбы», лифтовые колода. Учитывалось все: и объем работы, и скорость, и качество, и соблюдение техники безопасности, и эстетика производства. Не забыть воспользоваться

отвесом, не перегружать мостки, помнить порядок армирования рядов. ...Кирпич, раствор, кирпич, раствор, ряд, еще ряд...

А перед экзаменационным столом молодые каменщики сдавали теорию. Пальцы уверенно скользили по чертежам, память напряженно выискивала и находила нужные термины, чтобы дать ответ на самые каверзные вопросы...

Солнце близилось к зениту...

...Через несколько дней Геннадия поставили подсобным к Валерию Крестьянникову — человеку, которого потом он назовет своим первым учителем. Учитель оказался парнем что надо. Подолгу и терпеливо объяснял порядок разного рода кладки, нередко это стоило ему изрядной потери времени, процент выработки перестал быть высоким, зато толковый ученик все чаще и чаще радовал его своей работой — четкой, аккуратной и спорой.

Объекты менялись, СМП-280 строил много и быстро, но умелых рук по-прежнему не хватало. В бригаде, где работал Геннадий, было много молодых людей, приехавших на ударную стройку со всех концов страны. Большинство из них, как и он, мечтали возводить дома по обе стороны магистрали. Но когда работаешь «на подсобке» — подносишь кирпичи, доливаешь воду в раствор, — как-то нет ощущения, что и твоими руками строятся все эти дома. Ты вроде где-то сбоку, сторонний, что ли. Просто подсобник. Неполноценный еще строитель. Настоящий каменщик — это тот, что с мастерком ходит вдоль поднимающейся стены!

Однажды подсобникам сказали: «Пора вам, товарищи молодые, сдавать экзамен на разряд».

На экзамен прибыли представители из управления «Тюменстройпуть», главные специалисты СМП-280, знатоки чертежей и техники безопасности, комсомольские вожаки...

День был как день, работа как работа. С той лишь разницей, что Геннадий самостоятельно вел свой участок стены, и Валерий Крестьянников не мог ни подсказать ему, ни поправить его. Сначала Геннадия охватила робость: возникали вопросы, над которыми прежде и не задумывался; всё казалось, что кирпичи ложатся не так, как надо. Однако постепенно успокоился и к концу смены вроде бы даже забыл про экзамен. Как и другие ребята, что работали рядом.

А после кладки — и чертежи он (как предполагал Крестьянников) «прочитал» легко, легко ответил на все теоретические вопросы. Теперь он, Геннадий Батури, специалист, каменщик второго разряда...

Строящаяся трасса железной дороги уходила дальше на север, к Сургуту. А СМП-280 все еще стоял в Тюмени. Дел было невпроворот. Строили административное здание управления «Тюменстройпуть», общежития и дома, дома, дома...

Теперь Геннадий работал в прославленной бригаде каменщиков Николая Ивановича Ковтанюка. Коллектив осваивал новейшие методы труда, передовой опыт лучших строителей страны. Как раз по обмену опытом и собрался однажды Николай Иванович в Ленинград.

— На кого же я вас оставлю? — полушутя спросил он, когда все тринадцать человек собрались на объекте. — Давайте выбирать временного бригадира.

И все сказали: пусть будет Батури.

До сих пор Геннадий не понимает, как так — самый молодой в бригаде, да и опыта еще маловато...

Но, верно, со стороны виднее. «Отлично работает Батури, — говорили в бригаде. — Справится!»

Ковтанюк уехал. Геннадий остался за бригадира. Все шло вроде бы хорошо. Сложные чертежи разбирали сообща. Норму давали. На самые невыгодные и трудные участки Батурин ставил проверенных старых друзей — Сашу Щадрину, Сашу Кирьянова. Терпели они до поры, а потом возмутились:

— Так без конца на «углах» стоять и будем? Разве мы виноваты, что давно вместе с тобой работаем?

Геннадий подумал: и правда, не виноваты. Просто так ему было самому спокойней. Подумал — и стал распределять участки поровну.

Вернулся из командировки бригадир, а потом ушел в отпуск. Возвратился из отпуска — надолго заболел.

— Ничего, — подмигнул он навестившим его ребятам, — все будет в порядке. Замена у меня добрая...

Солнце клонилось к закату.

Кто же, кто первый?

Может быть, Плясовских? Бывалый боец, участник многих конкурсов. В прошлый раз увлекся, забыл обо всем, кроме кубатуры. И качество подвело. Сейчас наверняка учтет тот урок.

Или, может быть, Казаков? Правда, ему выпал «несчастливый» тринадцатый номер, ребята подтрунивали, но это ничуть не помешало парню оставаться верным своему стилю: качество кладки безукоризненное. Хотя, конечно, одного качества недостаточно.

Или Чугунов? Когда-то в Тобольске он был комсомольским секретарем головного ремонтно-восстановительного поезда и уже тогда не только славился своей работой, но и щедро делился собственным опытом...

...Кирпич, раствор, кирпич, раствор — ряд, еще ряд. Теперь группы поменялись местами. Сдав теорию, одни перешли на объект, другие вооружились авторучками. Конкурс!

129-квартирный дом на улице Тульской строили две бригады: Ковтанюка и Вяткина. Здесь Геннадий (у него уже был третий разряд) вновь встретился с Валерием Крестьянниковым. Бригады соревновались, никто не хотел отставать, и дом поднялся, как на дрожжах.

А вскоре исполнилось давнее желание Геннадия: он попал «на дорогу».

Бригаду Ковтанюка направили на строительство нового Тюменского железнодорожного вокзала. Здесь, кстати, Геннадий Батурин сдал на четвертый разряд.

Вокзал начинали с котлована, фундамента, подвалов. Прежние «ворота города» уже никуда не годились: узкие, неказистые. Тюменцы стеснялись их, да и были на то основания.

Теперь приходилось выполнять самые сложные операции, которые доверяли лишь признанным мастерам-виртуозам. Геннадию Батурину доверяли...

И все-таки в тот день, когда комсорт поезда предложил бригаде направить лучшего представителя на конкурс в Тюмень и бригада назвала его имя, Геннадий испугался. Впервые испугался по-настоящему. Это совсем не то, что держать марку среди своих в бригаде.

...Перед тем, как сесть к экзаменационному столу, он еще раз мысленно перебрал все самые современные методы кладки, вспомнил элементы работ высшего класса сложности. А в билете, как в насмешку, первым вопросом стояло: «Кухонный очаг (печь)».

— Вначале мы хотели исключить этот пункт, — пояснил экзаменатор. — Но потом оставили. Вару вам где-то в тайге придется строить временное жилье с печуркой!

В родном доме Геннадий сложил печь своими руками. В студеные зимние дни, потрескивая и гудя, го-



На фото (слева направо): Алексей Кирсанов, Геннадий Батурин, Владимир Чугунов.

Фото А. ПАШУКА.

рят в ней березовые поленья, рассыпаясь фиолетовыми углями...

Ответил по первому вопросу. Что там еще? Прочитать чертеж? Прочитал. Техника безопасности при бутовой кладке? Ответил.

На объекте ему попался участок не очень сложный. Но Геннадий спешил. Спешил, и следил за качеством, и все поглядывал на соперников. Все ему казалось, что другие ребята работают и быстрее его и аккуратнее...

Когда кран отнес последний ковш кирпича, когда экзаменаторы сложили в одну стопку все «счастливые» и «несчастливые» билеты, а каменщики-конкурсанты собрались на объекте и высказали по поводу каждого участка работы по двадцать два мнения, — эпицентром страстей стала прорабка, где заседало жюри. Ученье, подсчитать, вычислить и подвести итоги оказалось делом весьма и весьма сложным...

И, наконец, слово председателю оргкомитета, главному технологу управления Алексею Федоровичу Нерживенко:

— Первое место присуждается...

Вот первая тройка: Геннадий Батурин, Алексей Кирсанов, Владимир Чугунов. Отметили и самого молодого участника, и единственную девушку на конкурсе... Сувениры, ленты, грамоты... Но самым приятным для Геннадия стал приз журнала «Юность»: поездка в Москву на празднование годовщины комсомола.

...Смущаясь и невольно отвечая на поздравления, Геннадий собирал инструмент. Ни товарищи по работе, ни родные еще не знали, что он теперь лучший молодой каменщик строики.

*«Не хочу
тянуть ляжку...»*



В ПОИСКАХ СЕБЯ

Здравствуйте! Зовут меня Юля. Мне 18 лет. С 15-ти уехала из дому в Ленинград. Живу без родителей, без родственников. Уехала по своей воле, родители — замечательные, образованные, умные. А я на стройке отработывала годы, проведенные в училище. Была маляром (полгода), бросила: ни капельки творческого, надоела муторная, неинтересная, однообразная работа. Перешла в штукатуры, не выдержала и полгода, почувствовала отращивание к делу и хожу на стройку, как на каторгу. В бригаде ко мне относятся плохо, словно к лишнему рту. И если поначалу это было малозаметно, сейчас проявляется во всем: и в грубости, и в насмешках (хотя я многое, может быть, и сама заслужила). Появляются мысли: «А если я и впрямь ни на что не годюсь?» Ведь работала до этого в столовой, надоело. Училась в школе кое-как, нехотя, просто знала, что надо учиться. Словом, везде и во всем проявляла посредственность. Правда, мама научила играть в шахматы, и я в 14 лет имела третий взрослый разряд, занимала вторые места в Жданове. Но и шахматы не заинтересовали меня, играла, как поняла, больше из тщеславия. И в конце концов шахматы забросила. Была во мне прежде потребность рисовать, и я рисовала. Мама, видя эту склонность, записала в изостудию, но я не ходила туда и года.

Когда я очутилась одна в незнакомом городе, очень полюбила стихи. Любимый поэт — Шекспир (сонеты). Из русских — Жуковский, Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Пушкин. Читала зарубежных поэтов. Я понимала поэзию, могла носить месяцами одну книжку, наслаждалась... Два года — поэзия, поэзия; проза не шла. Теперь с наслаждением читаю прозу... Появилось новое увлечение — собираю марки. Думаю, что когда-нибудь надоест и это. Хожу, кстати, на курсы шоферов.

Дорогая редакция, посоветуйте, как мне быть с работой, как сделать, чтобы не тянуть ляжку, а делать дело полнокровно? Как найти свое место в жизни? Меня считают глупой, ребенком, который ничего не умеет как следует делать. Я молчу. Они, кажется, правы...

До свидания. С уважением, Юля Ф.

Вскоре после того, как мне было передано это письмо Юли, она уехала из Ленинграда.

Юля уехала — вопросы ее остались.

Для начала я дал прочесть Юлино письмо своим друзьям и знакомым: интересно было выяснить, как выглядят «одиссеи» девушки с точки зрения здравого смысла. Мнения были самые разные.

— Какой там поиск места в жизни! Рисуеться, а трудиться не желает.

— Правильно сделала, что уехала домой. Нечего молоденькой девушке делать на стройке, среди грубости, хамства, там, где ее не ценят и не понимают.

— Тут ясно прослеживается элементарная неспособность к любому труду: и к творческому и к нетворческому. Неусидчивые люди без ярко выраженного таланта почти всегда сталкиваются с проблемой собственной никчемности...

— Беда Юли в том (в отличие от некоторых других ее ровесников), что она живет лишь духовной жизнью. Поэзия, проза, шахматы — все это хорошо. Однако, когда дело доходит до работы (неважно, какой — любой конкретной работы), здесь Юля сразу занимает пассивную позицию.

— Явный результат неправильного воспитания в семье. Ей разрешалось все попробовать, но не воспитывалось главное — трудолюбие в широком смысле слова. В результате сформировался разбросанный человек, который не приносит пользу ни себе, ни обществу. Своего рода дегустатор жизни. Очень знакомый тип...

«Тип» действительно знакомый. По данным социологических обследований, более миллиона молодых людей кочуют по стране, безуспешно пробуя себя то в одном, то в другом деле. И, конечно, не дегустации ради — серьезно озабоченные поиском своего места в жизни, самоопределением. Давайте попытаемся понять искания молодежи, опираясь при этом не только на житейский здравый смысл, но на эмоции, а на выводы и наблюдения науки.

Обычная ситуация: молодой человек закончил школу — что дальше? Выбор вроде бы несложен: продолжай учебу или — на работу. И тем не менее человек чаще всего теряется, ибо сегодня выбрать место в жизни в самом деле не просто.

За порогом школы — все сложности взрослой жизни. И необходимость приобрести профессию, и служба в армии, и гражданские обязанности, и обустройство семей. Кроме всего, в наш век научно-технической революции на глазах стареют знания. И если ты не хочешь отстать от хода событий, надо постоянно пополнять знания, учиться и переучиваться.

Итак, учеба или работа? С обустройством семей можно погодить. Сначала надо бы определиться, встать на ноги.

Если учеба — тут даже при наличии призвания надо принимать в расчет и трудовой стаж и немалый

конкурс. Призвания нет; ты, скажем, идешь в институт по совету родителей, — страшит еще и будущее. А вдруг родители ошиблись и вовсе ты не инженер, а филолог? Значит, на всю жизнь с нелюбимым делом?

С работой (Юлин случай) тоже не легче. 35 тысяч профессий. Какую выбрать? По меткому замечанию одного школьного учителя, семнадцатилетний паренек с новеньким аттестатом зрелости — словно былинный витязь на распутье. Только перед выпускником не три дороги, а в тысячу раз больше и нет того придорожного камня, где было бы четко написано, какие испытания ждут на пути. И — может быть, самое главное — представления молодого человека о своем ближайшем будущем, столь определенные и безоблачные в стенах школы, становятся неясными, расплывчатыми с первых же самостоятельных шагов. Человек торопится стать взрослым, включиться в дело, приносить обществу пользу, а ему что-то помехой...

Ну, а какое отношение имеет все это к проблемам Юли?

Самое непосредственное.

В обиходе у социологов есть такое понятие — «частичная взрослость». Сегодняшний подросток великолепно начитан, «подкован» технически, внимательно следит за успехами науки, за искусством. А вот моральное, общественное сознание порой отстает от интеллектуального развития. Современный подросток по своим знаниям взрослее сверстников, живших 30—40 лет назад, а по своему нравственно — и социальному опыту он бывает инфантилен. Он частично взрослый человек.

В 16 лет юноша получает паспорт, приобретает право посещать «взрослые» мероприятия и фильмы. В анкетах по переписи населения вопрос «Состоите ли вы в браке?» задается молодым гражданам с 16 лет. И в то же время, если этот «гражданин» нарушает дисциплину в школе, вызывают родителей, ответственность за его успеваемость и поведение несут педагоги.

Очень точно сказал об этом на диспуте «Тебе 17. Много это или мало?», состоявшемся в Центральном лектории Ленинграда, десятиклассник Алеша Н.: «Когда мы читаем о поколении гражданской войны или военных лет, узнаем, что на долю наших отцов и дедов выпало немало испытаний. Для нас же все происходит слишком гладко. Взрослые стараются сделать нашу жизнь как можно легче». Лейтмотив Юлиного письма, не правда ли? «Мама записала, мама устроила...»

«Нас выращивают педагоги, как тепличные растения, — читаем в сочинении другого старшеклассника. — Освоив школьную программу, мы порой не в состоянии решить обычного жизненного вопроса».

Сказано как нельзя точно. И становится понятным, почему за порогом школы человек пасует перед выбором. Дело не только в сложностях взрослой жизни. Это одно. И другое — юноша получил в школе достаточно знаний о мире и минимальное знание мира. Он слабо знаком со спросом общества на те или иные профессии. Он не имеет достаточной моральной подготовки к будущей занятости. Нет у него и серьезных трудовых навыков, которые бы облегчили вхождение молодого человека в дело. Зато высокие требования к труду — без учета реальной ситуации, труд только по призванию, непременно содержательный, творческий. Профессия — самая уважаемая, имеющая высокий общественный престиж.

В одну из анкет был включен вопрос: «Какое из приведенных ниже суждений наиболее полно выражает Ваше мнение о работе?» От 2 035 опрошенных нами молодых людей и девушек были получены следующие ответы: «Хороша для меня та работа, где я смогу принести больше пользы» — 30,8 процента; «Важна работа, но нельзя забывать о заработке» — 20,9 процента; «Зарботок — главное, но надо думать и о смысле работы, о ее общественной пользе, творческом характере и собственной заинтересованности» — 7 процентов; «Хороша та работа, которая высоко оплачивается» — 4,1 процента.

Большинство опрошенных нами молодых людей и девушек хотят иметь работу «со смыслом». Отвечая на вопрос «Что прежде всего Вам нужно для того, чтобы быть человеком счастливым?», 1 558 человек из 2 035 опрошенных (76,6 процента) сказали: «Иметь интересную, любимую работу».

К сожалению, сегодня общество не может дать каждому дело по душе — развитие производства не достигло еще необходимого для того уровня. Однако молодой человек не так легко расстается с иллюзиями. Он упорно ищет содержательного, творческого труда, разочаровывается, бросается из крайности в крайность, недовольствует — точь-в-точь как Юля. И это, повторяю, не дегустирование. Молодой человек, как говорят социологи, старается найти свое место в жизни методом проб и ошибок.

Не слишком ли, однако, дорого обходится такое самоопределение обществу? За три года Юля успела окончить ПТУ, поработала в столовой, на стройке, училась на шофера. Судя по всему, период «проб» не закончится и с ее отъездом. И общество будет нести малопродуктивные затраты до тех пор, пока девушка не остановится, не выберет, так сказать, оптимума: чтоб и обществу польза и ей труд в удовольствие. Сколько еще времени на это уйдет: год, два, пять?

Это непозволительные сроки. Даже если три года Юлиных «одиссей» обошлись государству в тысячу рублей, нужно выложить миллиард, чтобы «поддержать» поиски тех молодых людей, которые, как я уже говорил, числом в миллион пытаются найти сегодня оптимум.

Столь долгие сроки включения молодого человека во взрослую жизнь непозволительны еще и вот почему. Представьте, что выпускники 1973 года всех средних школ и ПТУ страны встанут на путь «проб». Через пару лет в производстве, науке, сфере обслуживания будет царить хаос: нарушится естественный ход событий, передача культурной, технической, производственной традиций станет неуправляемой, подчиняясь лишь воле случая...

Выходит, что найденный после долгих лет проб и ошибок оптимум выгоден только личности: человек набрел-таки на свое дело. Общество заинтересовано в скорейшем включении молодого человека в деятельную, производительную сферу. Между прочим, это и в интересах личности: не мытариться, лишний раз не разочаровываться, ибо оптимум на сегодня возможен не так уж часто. Уже говорилось: современный уровень развития общественно-го производства пока не дает возможности обеспечить каждого делом по душе. Молодой человек, как правило, этого не подозревает.

По мнению социологов, особенно привлекательны для молодежи профессии, связанные с автоматизацией и механизацией. И в то же время здесь наибольшее количество разочарованных. На проверку

Эти девушки работают малярами - штукатурами на далекой сибирской стройке Тюмень—Сургут. Они успешно сочетают работу с учебой в вечерних школах и техникумах.

Фото П. АЛЕКСЕЕВА.



оказывается, что в модной автоматизации много монотонной, однообразной, утомительной работы. Нажимать кнопки, с интересом проделывать одну и ту же операцию на конвейере можно неделю, две. А потом?..

Надо сказать, что большинству работников конвейеризация и автоматизация в ближайшие годы не угрожают. Проблемы конвейера стоят сейчас перед 10 процентами рабочих, и к концу столетия этот процент едва ли увеличится вдвое. Значит, неквалифицированный труд сохранится во многих отраслях производства, и народное хозяйство будет предлагать молодежи малоинтересные задания, которые тем не менее нужно будет добросовестно выполнять. Способен ли молодой человек сам подготовиться к такому исходу?

Вообще решение о выборе профессии созревает в течение многих лет, проходит ряд стадий. Американские исследователи различают здесь три периода. Самый первый — фантастического выбора, до 11 лет. Тогда ребенок еще не может связать средства с целями; думая о будущем, не способен рационально мыслить. Второй — до 16—19 лет — период романтического выбора. По мере интеллектуального развития человек все больше интересуется условиями реальности, однако пока не уверен в своих способностях. Постепенно фокус его внимания передвигается от субъективных факторов к реальным условиям. И наконец, после 19 лет, период пробного выбора (разведывание, обсуждение планов с осведомленными людьми, осознание возможности конфликта между собственными способностями и реальными условиями).

В одну из анкет, распространенных среди ленинградских школьников, был включен вопрос: «Определили ли вы характер своей деятельности после

окончания школы?» Ответы распределились так: «да» — 617 человек (68 процентов), «нет» — 188 человек (20,7 процента). 103 старшеклассника не ответили на поставленный вопрос.

Я спросил девочку, ровесницу Юли — эту девочку, судя по анкете, уже сделала выбор:

— Кем собираетесь стать?

— Пойду учиться на филологический, — сказала она. — Хочу стать искусствоведом.

— Простите, но искусствоведов готовят на историческом.

— Разве? — удивилась девочка.

Она выбрала филологический. Там, ей сказали, интересно. Ее не испугал конкурс 10 человек на место. Но она не только не знала, что не филологический готовит искусствоведов. Она находилась в совершенном неведении относительно своего будущего. По подсчетам социологов, Ленинграду до 1995 года не потребуются историки и филологи. До 2000 года — журналисты. До 2005-го — юристы.

Может быть, зная это, наша знакомая серьезно отнеслась бы к выбору? Пока она, как и Юля, руководствовалась не информацией о профессии, а второстепенным, с нашей точки зрения, соображением: «искусствовед — это интересно» (для Юли привлекательным было, очевидно, знакомство с Ленинградом). Словом, возобладали те, что исследователи называют романтическим выбором.

Что ж, все вполне естественно. Девушкам нет еще девятнадцати, когда, по мнению тех же специалистов, романтические устремления уступают место реальным соображениям. Человек начинает ставить во главу угла выбора не только мечту, не только советы окружающих, примеры друзей, желание быть с дипломом или с модной профессией, а содержание и условия труда будущей деятельности, возмож-

ность творить, собственные интересы и наклонности с учетом общественных интересов и нужд. Но, в-первых, мне кажется, что девятнадцатилетний рубеж здесь весьма условен. Во-вторых, стоит ли дожидаться, пока сам человек «доварится в собственном соку», «дозреет». Мы видели, как это накладно и для общества и для личности. Почему бы не помочь подростку, помочь как можно раньше, рассказывать еще на школьной скамье о реальной ситуации, сложившейся в общественном производстве, о спросе на профессии, о перспективности того или иного занятия или отрасли знаний. Иными словами, ориентируя во взрослой жизни, в которую подросток рано или поздно должен вступить. Вступить без боли, без разочарований и изломов, без завышенных требований к обществу, с сознанием готовности к труду и ответственности за то дело, которое ему предстоит делать.

Министр просвещения СССР М. А. Прокофьев, выступая на сессии Верховного Совета СССР, справедливо заметил в связи с этим, что сейчас, «в условиях всеобщего среднего образования, воспитания потребности в труде у каждого школьника, прежде всего в сфере материального производства, создание соответствующего психологического настроя... задачи первостепенной важности».

Очевидно, от решения этих задач зависит и сокращение периода «вживания» юноши во взрослую жизнь.

На мой взгляд, для создания верного психологического настроя прежде всего требуется некоторым образом «приземлить» юношеские ожидания. Они очень часто неправомерно завышены. Причина здесь двояка. Об одной мы уже говорили: болезнь времени — частичная взрослость. И другая — ее очень точно обозначил И. И. Мечников, который писал, что желания и стремления юноши развиваются ранее воли и силы характера. Юноша не всегда способен подавить некоторые вредные устремления и желания. И в этом плане он схож с ребенком, который стремится взять все, что видит перед собой.

Помните у Юли: «...надоела муторная, неинтересная, однообразная работа». И вместе с тем непонимание, что от этой работы нельзя избавиться по маговению волшебной палочки. И требование непременно творческого занятия.

Сегодня вряд ли можно назвать вид деятельности, который целиком был бы творческим. В каждом непременно содержится и нетворческий компонент. Бальерина, например, большую часть времени отработывает те или иные движения; педагог проверяет тетради.

Даже научно-исследовательская работа складывается из процессов, отнюдь не равнозначных по наличию действительно творческих задач. Здесь сбор и анализ фактов, обоснование выводов, проверка их на практике, оформление полученных результатов и т. д. Подсчитано, что на одну часть творческой работы в научном исследовании приходится шесть—девять частей нетворческих.

Если так обстоит в науке, то это тем более справедливо для других областей человеческой деятельности. Знает ли об этом молодежь, учитывает ли при выборе профессий? «Я хочу выбрать такую профессию, чтобы каждый день стал для меня праздником», — пишет в сочинении одна десятиклассница. Увы, это просто нереально. И я посоветовал бы учителю, получившему столь «голубое» сочинение, сказать об этом без обиняков.

Изменение технической основы современного производства, научная организация, безусловно, пре-

образуют характер трудовых процессов, облегчая их, делая все более содержательными, а значит, и привлекательными для человека. Однако труд никогда не станет источником одних удовольствий. Как бы ни изменился его характер в будущем, от человека всегда потребуется напряжение нравственных сил, готовность подчинить свои желания интересам дела. Что, впрочем, требуется и сегодня.

И еще одно немаловажное соображение. Оно тоже подказано письмом Юли.

Девушка сокрушается по поводу того, что всегда и во всем проявляла только посредственность. Здесь легко угадываются интонации так называемого «человека без призвания». Явление это типичное, потому что многие юноши и девушки ошибочно считают призвание чем-то дарованным от природы — как, допустим, врожденную музыкальность.

Стоит успокоить тех, кто по собственному приговору обречен на посредственность во всем. Призвание может обнаружиться только в процессе знакомства человека с каким-то конкретным делом. Причем знакомства не поверхностного, а самого деятельного. О том, как формируется призвание, прекрасно сказал юный Маркс в своем сочинении на выпускном экзамене в Трирской гимназии.

По мысли Маркса, призвание связано с общей нравственной позицией человека, с его взглядами, убеждениями, идеалами. Важны не только профессиональные навыки и умения, — для каждого человека в процессе дела необходима общественно значимая цель. Если ее нет, самый удачный выбор специальности не поможет человеку найти достойное место в жизни, свое призвание. Ибо не может быть по-настоящему полнокровной жизни, ощущения своей нужности людям без высокой цели, «по отношению к которой всякая профессия является только средством».

Это по поводу вопроса Юли, «как сделать, чтоб не тянуть лямку, а делать дело полнокровно?».

И последнее. Очевидно, что поиск места в жизни методом «проб» нельзя отрицать вообще. Представим, что желание миллионов найти свое место в жизни однажды совпало с реальными вакансиями общества и каждый получил то, о чем мечтал. Тогда исчезли бы стимулы к творчеству. Общество не могло бы развиваться.

Итак, пробовать надо, но не очертя голову. Можно и ошибаться, но не десяток раз, ибо это накладно для общества и наносит моральный ущерб человеку. Словом, общество отнюдь не намерено закрывать дорогу для «проб». Но оно, как, впрочем, и личность, выиграет, если поиски и «пробы» будут происходить в границах свободного времени. То есть Юля, осознав необходимость нынешней своей работы для общества, вполне могла бы найти дело по душе после рабочего дня. Кстати, общество дает в этом смысле немало возможностей. Вечерние техникумы, институты, разнообразные курсы, клубы по интересам. Определяйся! И если определишься, найдешь оптимум, обществу невыгодно будет держать тебя на прежнем месте, там, где ты лишь исполняешь свой долг, получая при этом частичное удовлетворение. На любимой работе отдача больше.

Вот сколько всего стоит за письмом Юли, нашей современницы, которая занята поиском себя.

Владимир ЛИСОВСКИЙ,
руководитель лаборатории
Института комплексных социальных исследований
Ленинградского университета,
кандидат философских наук

Не буду пытаться ошеломить цифрами. Зарекся на этот раз: ни одной цифры и никаких процентов. Не стану повторять переходящие из статьи в статью рассуждения о росте научных кадров и так далее. Читатель все это уже знает.

Мой собеседник, с которым я хочу вас познакомить, из тех людей, для кого работать так же естественно, как дышать, спать, есть. И в институте, и дома, и даже в больнице, где пришлось ему провести в последнее время немало дней, — везде и постоянно идет у него работа мысли. И не потому только, что время торопит и дел много, но и потому, что такая деятельность стала неотрывной частью жизни; долгий отдых, покой невозможен: он воспринимается как наказание, как насильственная остановка, мешающая чувствовать себя в потоке жизни.

Геннадий Львович Поспелов — известный и популярный человек в Новосибирском Академгородке, а здесь, где на ста гектарах собраны ученые, чьи имена украсили бы списки любого университета, популярность даром не дается. Он написал за свою жизнь больше сотни специальных работ. Его научные статьи и монографии в избранной им области — геологии и физике рудообразующих процессов — получили широкое признание. Его научно-популярные и публицистические статьи часто встречались в центральных газетах и на страницах популярных журналов, его этюды о науке выходили в «Советском писателе», а размышления о нравственности науки — в Политиздате.

Мы вели разговор о том, как входит человек в науку, как удерживается в ней, вживается в нее.

— Геннадий Львович, — сказал я, — самая уважаемая сегодня работа — это работа ученого. О ней грезят старшеклассники. Белые халаты, залы, уставленные сложными приборами с бегающими по экранам осциллографов змейками, маячат перед абитуриентами и их честолюбивыми родителями. Да что говорить — исследования подтверждают это, — ученые «вне конкуренции».

— Что ж, научно-техническая революция! — пожимает плечами Поспелов.

Я в шутку сказал, что плечами ничего не объясняют.

— А что надо объяснять? — улыбнулся профессор.

— Хотя бы то, — сказал я, — что у одного так называемая карьера в науке складывается, у другого —

нет. Один идет вперед и вносит что-то свое, а другой так и остается начетчиком и зубрилой, каким был в школе. Психологи говорят и спорят о типах личности, предрасположенных к определенному роду деятельности...

— Я думаю, это бесполезное занятие, — сказал Поспелов. — Успех в науке никогда не бывает случайным...

— В таком случае, что, по-вашему, самое главное для успешного старта в науке? Какой ответ подсказывают ваш опыт, наблюдения?

— Прежде всего, — ответил он, — нужны определенные способности. Другое дело, что под этим не вполне точно определяемым словом понимают нечто неконкретное, массу различных достоинств человека — и сообразительность, и память, и реакцию, и умение видеть новое... Но, предположим, это не что-то, что мы с вами не можем точно определить, есть. Сначала «способный ребенок», потом «способный молодой человек», потом... «Способный» — понимаете происхождение слова? — то есть может что-то сделать, создать, открыть. А если он ничего не делает, то постепенно становится неспособным.

— Почему же «способный» становится неспособным? — спросил я.

— Я думаю, — сказал Поспелов, — главное препятствие на пути в науку — это боязнь черновой работы. Наука — это работа, основательный труд, далеко не всегда приятный и часто изматывающий. Такой труд необходим уже для учебы, для получения исходных знаний, без которых невозможно войти в глубину научного поиска. Это значит не экзамен сдать, а самому ключ сделать для входа в науку. У каждого свой ключ и свой вход. Кто не перешел рубежа от поверхностного интереса к глубинному профессионализму, тот мало что сможет, кроме внешних эффектов. Второе, необходимо выработать в себе реакцию поиска, чувство внутренней настороженности, что ли: верно ли идешь, нет ли лучшего решения? Для этого нужна постоянная тренировка, отработка самостоятельности. Конечно, «выстреливать» идеи как-то эффективнее и приятнее, чем черновая работа науки с бесконечными опытами, сомнениями, переделками... Но тот, кто не сумел преодолеть этот барьер, будь он трижды «способен», останется в науке попутчиком.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ УЧЕНОГО

Беседа журналиста
Виктора ЯРОШЕНКО
с профессором, доктором
геолого-минералогических наук
Геннадием Львовичем
ПОСПЕЛОВЫМ



Поспелов, поблескивая стеклами очков, откинулся на спинку дивана. Над его головой висели фотографии: Земля, снятая из космоса, круглая и голубая, вся в фате облачного покрова; Луна, сфотографированная «хасселбладами» американских космонавтов; просто тихая русская речка — плес, покосившийся причал с уткнувшимися в него лодками... На книжных полках, со всех сторон окружавших нас, лежали куски минералов, образцы пород из тех мест, где работал геолог Поспелов. За десятки лет исхода он всю Сибирь, Алтай, Камчатку, Дальний Восток, Среднюю Азию...

По самой сути своей профессии — физики геопроцессов, лежащей на стыке геологии и собственно физики, кропотливых геологических наблюдений и тонких физических экспериментов, тесно связанных целью выявить суть геологических событий от конкретного факта до широкого обобщения, — он и науку свою видел в таких вот масштабах, как эти фотографии на стене кабинета. Взгляд извне, как бы с Луны, — глобальная, всеобщая наука; взгляд издалека, как с орбиты спутника, — охватывающий целую совокупность проблем, и, наконец, как этот вечерний плес — живая конкретность явления, факта.

— Знаете, что еще нужно, — продолжал он, — без чего, по моему убеждению, ничего путного в науке не выйдет? Нужна еще интуиция. Понимаете... — Он шевелил пальцами, будто пытался их кончиками поймать ускользающее слово. — Это как чувство такое особое, что ли, как объемное зрение, когда на поверхность сознательно обсуждаемого выплывает из глубины подсознания весь объем знаемого, ощущаемого, возникшего в недрах тайного мыслительного процесса. В интуиции человек проявляется весь, со всем тем, что было у него в жизни, не только в специальной области, а именно в жизненном опыте, в общей культуре. Интуиция приводит к нужному решению через сложные пути ассоциаций, иногда настолько окольным путем, что даже сам удивляешься: как я догадался. О людях с развитой интуицией говорят: «Удачлив, одарен». А одаренность его оттачивается целой жизнью. Интуиция — дар природный, но ведь она не возникает из ничего. Дар — это только предпосылка. Действие реализуется из накопленного опыта, из сформированного на его основе внутреннего стиля мышления. А формирует его не столько профессия, сколько общая культура. Знаете проницательный афоризм: «Информация — мать интуиции»? Так вот, только широкая культура воспитывает в нас тонкую интуицию. Нужно иметь широкую общую культуру...

— Широкою? — переспросил я. — Очень многие ваши коллеги, особенно из молодых, не затрудняют себя чтением, не относящимся к кругу их профессиональных интересов, считают «посторонним» для себя делом литературу, музыку, живопись, театр. Разве что на отдыхе...

— Я не понимаю людей, которые полагают, что для успеха в науке нужно ограничить себя профессиональной деятельностью, — категорически сказал Поспелов. — Мне это кажется глубочайшим заблуждением, непониманием того, что человек не сумма свойств и потребностей, которые можно механически переставлять и откладывать, а их переплетение, взаимодействие, которое в конечном счете определяется общей культурой. А она всегда больше, чем профессия или даже множество профессий. Кто забывает об этом, становится рабом своей специальности, беспомощным за ее пределами, односторонним, неспособным воспринять новую идею, идущую вразрез с принятыми им стандартами. «Удачливые» ученые — это, как правило, люди большой культуры.

— Недавно, — сказал я, — вышла интереснейшая

книга Макса Борна «Моя жизнь и взгляды». Позволю себе процитировать подходящее к нашей беседе место: «Судя по моему личному опыту, весьма многие ученые и инженеры — это вполне прилично образованные люди, знакомые с литературой, историей и другими гуманитарными предметами; они любят живопись и музыку, некоторые даже пишут картины, другие играют на музыкальных инструментах. Но в то же время научное невежество и даже презрение к науке пугающе распространено среди людей с гуманитарным образованием». И дальше: «...Я люблю музыку и в молодости довольно прилично играл на фортепьяно... Многие из моих коллег разделяли эти интересы... Эйнштейн был хорошим скрипачом, Планк и Зоммерфельд были превосходными пианистами, то же самое можно сказать про Гейзенберга и многих других. Что же касается философии, то любой современнейший ученый-естественник... глубоко убежден, что его работа теснейшим образом переплетается с философией и что без серьезного знания философской литературы его работа будет вступать...»

— Трудно сказать лучше, — тихо заметил Поспелов. — Я в молодости писал стихи и, говорят, был модным поэтом в Томске, где учился... Много лет участвовал в концертах, читал с эстрады Маяковского. Очень люблю музыку, живопись, глубоко убежден, что это все необходимо человеку.

— А вы не находите, что все-таки здесь есть проблема? — спросил я. — В наш век специализации уютно живет дилетантам, неспециалистам. Эрудиция ради эрудиции, погоня за знаниями, сведениями самыми разнообразными ведь далеко не всегда приносят пользу человеку в его научной деятельности, не так ли?

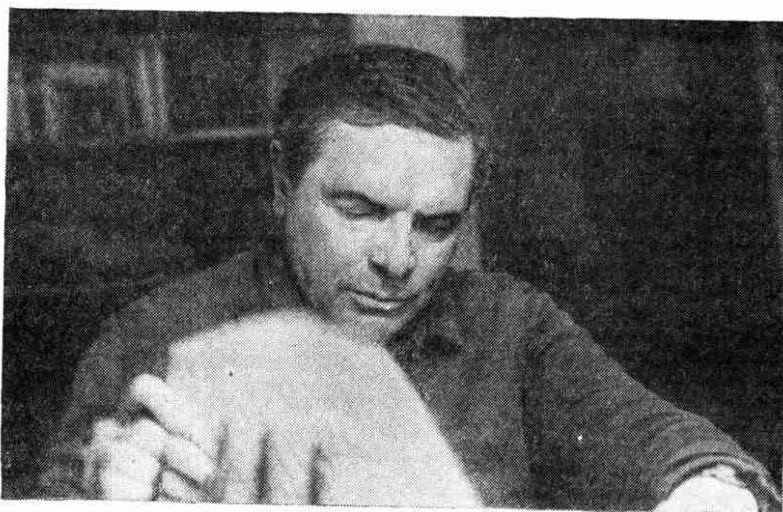
— Образование образованию рознь, — ответил Поспелов. — Все зависит от установок, которые в человеке воспитали, от навыков. Если его приучили лишь запоминать, копить, запасать вырок знания, он будет эрудитом в книжном смысле слова, но его никто не научил и не приучил к самостоятельному движению в неизведанное, где он первый... Такой человек теряет, как только перед ним встает проблема, решение которой требует чего-то большего, чем применение заученных знаний... И, с другой стороны, бывают блестящие студенты, аспиранты, люди яркие, самобытные. Они иногда чрезмерно заботятся о «самовыражении», спешат делать открытия, скептически смотрят на сделанное до них. Такие люди могут оказаться верхоглядами: когда-то им просто не хватит горючего — образования.

Поспелов пересел за письменный стол, заваленный рукописями, поискал что-то.

— Сейчас много говорят и пишут о реформе высшего образования, — продолжал он, — предлагают самые разнообразные варианты, решения. Этой теме посвящена и ваша недавняя беседа с ректором нашего университета Спартаким Тимофеевичем Беляевым¹, я прочитал ее. Мне порой кажется, что любая, самая лучшая система обладает недостатками, определяемыми тем, что люди-то все разные, а образование одно для всех. Я уверен, что высшая школа, хорошая аспирантура непременно должны учитывать качество человека, его психологию, тип личности, даже здоровье... Одному человеку следует получить образование «с избытком», более широкое, а другому — конкретное; его нужно вывести на дорогу и научить работать, не ломая индивидуальность. Вот вы написали, что многие студенты, абитуриенты выбирают профессию случайно, мечутся, ищут... Насколько я могу судить, в большинстве своем те, кто что-то

¹ См. «Юность» № 5 за 1973 год.

Геннадий
Львович
ПОСПЕЛОВ.



сделал в науке, выбрал свою профессию, а иногда и проблему сравнительно рано. Но у многих жизнь складывалась так, что проходили годы, прежде чем человеку удалось приступить к реализации своей мечты. Однако не столь важно, раньше или позже ты вступишь в науку, важнее то, чтобы у тебя была идея, чтобы она жгла тебя и заставляла идти к своей цели. Некоторые молодые люди и их родители ставят целью во что бы то ни стало получить диплом, защитить диссертацию в любой, какой угодно области. Они полагают, что диплом или ученая степень сами по себе прибавят им цену в глазах людей, придадут авторитет, престиж... Но подлинная наука ценит не звания, а знания и результат. В конце концов среди членов нашей Академии наук есть крупные ученые, не имеющие даже высшего образования! Но все же ученому лучше начинать свой путь пораньше, когда восприимчивость и гибкость ума и характера особенно велики. Разбег смолоду — самый сильный, и прыжок получается самый дальний. Я, например, с ранней юности мечтал стать геологом. Мне казалось, что геолог — это человек, который встречается с природой один на один, задает ей интимные вопросы и получает ее доверительные ответы. Несколько высокопарно? Может быть! Но я так чувствовал тогда, и это определило мою судьбу. Я думал: вот ты, геолог, добываешь себе истину, и не за столом в уютном кабинете, а в суровом столкновении с природой, в странствиях, лишениях, скитаниях, в совместной жизни с природой, растворяясь в ней, потому что только так можно что-то узнать от нее. Изнутри. Меня очень привлекало все это. Вначале, как все, зачитывался книгами о путешественниках и первопроходцах. Потом интерес стал более глубоким...

— Стало быть, — спросил я, — вы собирались стать полевым геологом, а не геологом-теоретиком?

Поспелов улыбнулся.

— Раньше, понимаете ли, геологическую специальность не делили так, как теперь. Еще до нас были просто горные инженеры, люди, открывшие в России несметные богатства. Он вам и геолог, и ученый, и инженер, и маркшейдер... Я получил образование инженера-геолога настолько полновесное для своего времени, что мог работать в очень широком диапазоне. Профессии стареют теперь гораздо быстрее, чем прежде. И потом, в нашем деле нет чистых теоретиков. Непрерывно нужно выходить в поле, искать, находить подтверждения новым теориям, и, наоборот,

новые факты, добытые в поле, дают толчок развитию теоретического знания. К сожалению, сам я ездить в любые нужные мне экспедиции уже не могу, потому слежу за недоступными мне сейчас поездками, по-доброму завидую и работе и результатам. Ведь причастность к первичному поиску, да еще в трудной обстановке, дает необычайно острое ощущение обладания тайнами природы.

Поспелов помолчал с минуту, размышляя.

— Очень многое в становлении ученого зависит от того, в какие руки он попал с самого начала. Бывают такие учителя, что навеки отобьют охоту к самостоятельному поиску, сделают из человека исправного служащего научного учреждения. А есть учителя, формирующие ученого, его характер, усердия. Вот я, например, на всю жизнь сохранил чувство глубокой привязанности и благодарности к своему учителю академику Михаилу Антоновичу Усову. Под его руководством я и вуз кончал и аспирантом был в Томском политехническом институте. Вы не знаете, кто такой Усов? Он был главой сибирской школы геологов... Человек удивительной организованности, целеустремленности, он умел сочетать теоретическую глубину и мощь с крепкой практической хваткой. Сибирская школа, которую он возглавлял, выделялась обстоятельностью исследований и пристальным интересом прежде всего к практическим их следствиям, имеющим касательство к сегодняшней жизни общества. А в личном плане я получил от Усова... как бы вам это сказать... веру в благородство и красоту научного поиска, убеждение в аморальности фальшивой, нечистой работы. Он научил меня понимать, что ученого делает не только талант — прежде всего огромный труд. Нет этого огромного труда — и ученого нет. Звучит назидательно сейчас? Но поверьте, когда это постигаешь на своей шкуре, то простые истины кажутся бездонно глубокими.

Я сказал Геннадию Львовичу, что его слова созвучны тому, что я сам думаю: надо работать, «вкалывать», и только это имеет значение, только это важно и останется потом, а все остальное болтовня и чепуха. Мы порою много говорим и жалуемся на объективные трудности, на непонимание нас другими и прочая, но побеждают только те, кто работает; они побеждают потому, что за плечами работа. Вот почему, сказал я, для меня Академгородок — одно из самых дорогих мест, где мне приходилось бывать.

Потому что здесь главное — дело, работа, и все определяется этим. Я не был здесь ровно год. Приехал, позвонил друзьям. Мы встретились. Первое, о чем спросили меня после расспросов о семье и детях: что ты сделал за год? Вот этим-то высоким уровнем требовательности надо мерить себя, зная, что есть некто, вопрошающий: «А что ты сегодня сделал?». Зная, что есть где-то друзья, которым безразлично, чем ты занимался во время разлуки.

— Это верно, — кивал Пospelов, пока я сбивчиво говорил все это. — Очень важно иметь учителей, друзей, требовательных и серьезных. Только такую дружбу я признаю. Она помогает работать, а значит — жить. Вот мы с вами говорили о культуре, о том, что ученый должен жить широкими интересами. Это я понял, глядя на Усова. Он же меня на широкую деятельность благословил. Он всегда говорил, что человек должен жить ярко, раскрываться полно. Он никогда не мешал моей бурной комсомольской и общественной деятельности, но напрасной траты времени не прощал: в научной работе был требователен и суров. Ждал самостоятельности и инициативы. Терял интерес к ученику, когда видел, что тот неспособен идти вперед или растрачивается на мелочи, текучку. Помню, окончил я институт и был уже кандидатом в аспиранты (существовала до войны такая система). Получил я первое свое самостоятельное задание: поехать на рудник Центральный в Кузнецком Алатау и наметить, где искать «утерянные» рудные жилы золота. К этой задаче подступиться было не просто. Рудные жилы были разбиты пересекающимися разломами и многократно смещены по ним. Ребус! Я начал картировку в подземных выработках и... запутался вдребезги. А ведь не был новичком в поле, кое-какой опыт поднакопил: мы ведь в то время со второго курса ходили начальниками партий — геологов не хватало. Но здесь мне все было неясно... На руднике уже посмеивались надо мной. В отчаянии я написал Усову о своих затруднениях, просил совета. Он ответил как-то очень сдержанно, советы давал самые общие. Пришлось самому думать... Под землей ползал по заброшенным, готовым обвалиться штрекам, промывал, очищал стенки выработок — эдакий клондайкский золотоискатель-одиночка. И вот наконец медленно стало что-то проявляться. Будто смещенные пласты постепенно становились на свои места. И вдруг я понял всю хитрую механику этой загадки — как рудные жилы обрезаются трещинами, куда уходят, где искать продолжение... Подробно написал Усову, поделился своими открытиями. И только тогда он, довольный, что у меня дело пошло, прислал мне подробное письмо с кучей советов.

...Наверное, сколько учителей — столько педагогик. Здесь, в Академгородке, мне приходилось слышать самые противоположные мнения по поводу воспитания молодого ученого. Одни доказывали, что только самостоятельно выплывший имеет право называться ученым; другие приводили убедительные примеры, свидетельствующие, что проблема-то не простая, и если бы она эффективно решалась простым швырянием в воду неуспевающих плавать, не нужны были бы разнообразные школы и методики. Третьи, знаменитые, с эгоизмом властителей дум говорили, что им виднее, как и чем заниматься их ученикам.

Я спросил Пospelова, «бросает ли он в воду» своих учеников. Пospelов долго молчал, потом ответил:

— Мой старый друг профессор Андрей Красин как-то высказал, на мой взгляд, замечательную формулу отношений учителя к ученику в науке: «Подмечай, помогай, не мешай». Действительно, поначалу очень важно подметить, понять, что же человек может, на что способен. В эту-то пору и можно «бросать его

в воду». Но самостоятельность можно стимулировать и другими способами! Вот когда вы заметили, что в молодом ученом зажглась уже искра поиска, нужно помогать, советовать, направлять. Есть, однако, профессора, которые спокойно наблюдают за бесплодным барахтаньем запутавшегося ученика. Но это не воспитание самостоятельности, а подавление, потому что человек может потерять веру в себя, в свои силы, и, когда учитель наконец сообразовал показать, что делать, в нем видят уже не столько руководителя, сколько благодетеля, спасителя, под высокой рукой которого следует держаться. Это уже не те отношения, которые формируют настоящего ученого. И, наконец, самое трудное для учителя — не мешать. Ведь всякий ученый стремится прежде всего к утверждению, развитию своих идей, видит в своих учениках продолжателей своего дела, своего пути. И вдруг оказывается, что ученик уходит в сторону, на свой путь, в чем-то отрицая путь учителя. Здесь начинается та область страстей и конфликтов, в которой черпают сюжеты писатели, пишущие об ученых. А ведь действительно руководителю нужно собрать все свои эмоции в кулак и решить, как быть с «отступником». Рубить ли ветвь, тянущуюся в чужой огород, действительно ли ученик занялся «не делом», мешает главному направлению, или лучше подавить в себе обиду, если работа его принесет в будущем успех общему делу, пускай иным, неприличным путем, чем тот, которым всю свою жизнь шел учитель и вел за собой своих учеников. Часто ситуация осложняется еще и тем, что ученик, устремившийся в новую область, уже вышел за пределы компетенции и знаний своего руководителя, они меняются ролями — о, как болезненно это бывает... И если возникает в этом случае «обратная связь», контакт, взаимопонимание, если учитель перешагнет барьер амбиций, — это и есть самый лучший результат его воспитательской деятельности. Я стараюсь применять этот принцип в своей лаборатории, хотя, скажу откровенно, это очень нелегко: нередко возникает чувство досады на молодежь, слишком быстро забывающую цену того, что сам ты постигал и вынашивал годами... Но мои молодые сотрудники стали авторитетными для меня специалистами в своих областях — и вместе мы сумели охватить проблему по такому широкому фронту, который был бы недостижим, работой они в русле моих идей и моих интересов. Вот, например, недавно защитил докторскую диссертацию Виктор Шарапов, который рано проявил незаурядную способность к анализу некоторых пограничных геолого-физических проблем с физико-математической стороны, обнаружив при этом дар к совместной работе с физиками и математиками. Направление это перспективное, работа вызвала большой интерес. А вышла она из более или менее традиционной геологической задачи. И хотя его исследования пошли в несколько ином плане, чем хотелось бы мне, в конечном счете они привели к эффективным и важным результатам, которыми я горжусь — и потому, что они сделаны в моей лаборатории моим учеником, и потому, что я сумел-таки «не помешать» ему выйти на свою стезю. Нет ничего хуже в науке, чем недалекий администратор на руководящем месте.

...Меня очень интересовало, как ответит Пospelов на такой вопрос: — Ну хорошо, вы говорили, что нужно быть человеком широко образованным. С другой стороны, — это отрицать невозможно — успех деятельности зависит от того, насколько глубоко вы постигли свою профессию и ее секреты. И то и другое бесспорно. Мы пытаемся как-то совместить узость профессии и широту кругозора. Где водораздел между полнотой знания и полнотой существования?

— Мне понятны сомнения и тревоги молодежи, идущей в науку, — сказал Пospelов. — Те же проблемы стояли перед нами. Я думаю, главное — это точно представлять себе, на что ты идешь, выбирая работу в науке. По мне, ученые и инженеры — это люди, не только имеющие высшее образование, но и при этом обучающиеся всю жизнь. Если человек не учится всю жизнь, а собирает проценты со своего образования, толку не будет... Все эти проценты скоро иссякнут. Наука слишком быстро меняется. И если человек будет схватывать ее по верхам, тоже дела не будут. Нужно уходить в глубину — вот где простор и свобода! Свобода думать о чем угодно гарантирована человеку — так устроен его мозг. Но вы говорите о выборе — широта и глубина... Молодежь часто противопоставляет эти понятия, а здесь противопоставления нет... Антитеза широте — узость, а не глубина. По-моему, широта и глубина — понятия не противоположные, а дополняющие друг друга. Правда, иногда под широтой понимают эдакую информационную: «Хочу все знать». А всего узнать нельзя, знаний стало слишком много. Сегодняшняя молодежь вырастает в мире, где отовсюду на тебя несет лавина информации. И многие привыкают к иллюзорному чувству широты своих знаний о мире, хватаются за любую информацию не потому, что она им нужна, не потому, что именно этих сведений им недостает, а потому, что они привыкли к необременительному и приятному процессу информационного насыщения...

Разговор наш был прерван за поздним временем. Мы продолжили его через несколько дней. Пospelов сказал:

— Тем и отличается человек, который получает образование, называемое высшим, что оно уже по определению своему высококачественно и функционально. Это не просто образование, это образование для чего-то. Профессионал в каждом новом приобретенном знании видит инструмент для себя. Он сам строит свое развитие в том направлении, какое ему нужно. Вот такое развитие и есть целенаправленное, а не хаотичное, броуновское метание любопытствующего дилетанта. Специалист осуществляет жестокий отбор информации, накладывает ограничения, диктуемые логикой научного поиска. Мысль, работа ведут твоё образование вперед. Идешь в глубину и натываешься на такие вещи, которые никак не можешь понять. Чтобы понять, нужно что-то изучить; берешься за книги и все связываешь, связываешь в узелки, так, чтобы не клубок получился, а сеть. И тогда только вдруг однажды поймешь: да ты ведь стал мыслить новыми для тебя категориями! Скажем, ты — геолог, а стал мыслить, как физик. Только тогда и появляется внутренняя свобода в новой для тебя области. Но широта кругозора необходима: нужно ведь понимать место твоей работы в общей проблеме, видеть стыки, иначе рискуешь потерять направление, запутаться в мелочах... Я считаю, что для всякого эффективного труда в науке необходимо сочетание широкого подхода с глубокой специализацией. И потом, человеку нужно откуда-то черпать эмоциональную энергию! Заниматься все время одним, даже самым любимым делом в конце концов осточертевает. Литература, язык, музыка, живопись дают этот необходимый эмоциональный заряд.

Я спросил, не означают ли его последние слова, что он несколько утилитарно подходит к искусству. Только ли «для пользы» он писал стихи, выступал на эстраде, только ли для эмоциональной зарядки писал философские статьи и устраивал художественные выставки?

— Нет, конечно, нет, — махнул рукой Пospelов, — просто я говорил сейчас о прагматической функции

искусства. Но есть другая сторона. Человек ведь не просто сотрудник института, или аспирант, или инженер — он человек среди людей. А человеческую потребность общения невозможно реализовать в замкнутом кругу коллег. ...Когда собираются одни специалисты, неспособные отвлечься от профессиональных проблем, нет унылее компании! Вспоминаю, как однажды к нам собрались мои старинные приятели. Жена моя, Юлия Ивановна, человек общительный, соскучилась по веселому обществу и в предвкушении хорошей беседы устроила нам роскошный обед. И вот сели за стол — кто-то повел речь про свои научные проблемы. Один кончил — второй начал. Дошла очередь до меня, и я с ужасом почувствовал, что «вошел в стиль» и стал делать сообщение о ходе работы в моей лаборатории...

Он помолчал.

— Человек хочет чувствовать себя социально полноценным. Потому-то и создаются клубы, ведутся дискуссии, ученые пишут в газеты, потому-то так широк у представителей точных наук интерес к проблемам социальным, нравственным...

— Очевидно, есть тому и другая причина, — сказал я. — Наука стала слишком реальной силой, слишком непосредственно ее влияние на судьбы человека, чтоб ученый мог, как раньше, отгородиться в своей лаборатории от проблемы общества, от чувства моральной ответственности за свои открытия...

— Все это идет изнутри, — ответил Пospelов. — Я давно интересовался философией, интересовался серьезно, много писал по философским проблемам естествознания, геологии... А от философии уже очень близко до социальных проблем. Человек должен быть полноценной личностью, а полноценность определяется не только тем, чем человек интересуется, но и тем, что он дает другим.

— Вполне ли подходит здесь понятие «должен»? — сказал я. — Мне кажется, не должен быть, а не может не быть, стремится быть полноценной личностью.

— Да, да! — воскликнул Пospelов. — Когда мы формулируем долг, мы как бы стоим над ним. Действительный долг всегда молчалив. Он то, что движет нами. Разговоры о долге — это часто уговаривание самого себя за отсутствием внутреннего стимула. У меня были периоды, когда я увлекался искусством, философией настолько, что запускал свои основные дела. Потом с ужасом видел, что нужно рубить концы, иначе будет плохо! Но без таких «грехов» нет интересной жизни. Жизнь имеет больше шансов быть интересной, когда интересы широки. И потом, никогда не знаешь, что тебе поможет завтра в твоей работе. Иной пустяк как спусковой крючок заряженного ружья. В научной работе много очень тонких моментов, о которых трудно говорить: их трудно понять... Наука требует определенной отрешенности от всего привходящего. Не той, которую исповедуют «академические сухари», замыкающиеся в свою деятельность, как будто ученому прописан великий пост, а той, которая нужна в определенное время для концентрации сил, для творческого броска. Я бы назвал это эффектом замкнутой собранности. Скажем, пишу я, — он кивнул головой в сторону стола, — наиболее ответственные главы статьи или монографии. Если писать, как обычно, перемежая с другими делами, с нормальным отдыхом, с разными отвлечениями, часто нужного эффекта не достичь. Бесконечно приходится возобновлять в памяти легко забывающиеся факты, данные литературы, снова и снова пробиваться в дебри непонятных логическими путями, так как интуиция работает необостренно, рефлекс замедлен. В таких случаях я все бросаю: с утра до ночи сижу, ни с кем не встречаюсь, на звонки не отве-

чаю. Вот тогда возникает та необыкновенная работоспособность, когда ты можешь легко оперировать обширным материалом, с уверенностью берешь с полки любую книгу и сразу находишь нужную тебе страницу, абзац, удачные слова: решения возникают как бы сами собой. Потом проходит время, ты все забыл и с удивлением думаешь: как все это далось в руки? Но постоянно жить в таком состоянии, конечно, нельзя. Слишком большое напряжение; его невозможно вынести долго.

Я спросил Геннадия Львовича, что, по его мнению, стимулирует научную деятельность.

— Сильнейший стимул — наука сама по себе, — задумчиво сказал Пospelов, — то прекрасное чувство, когда ты познаешь, проникаешь в неизвестное до сих пор. Существуют, конечно, и внешние стимулы — деньги, престиж, степени, звания... Это многих развращает. Тщеславные, падкие до степеней люди часто не позволяют себе «отвлечься» от очевидного, проверить неожиданно открывающиеся научные пути, может быть, заманчивые, а может, бесперспективные. У них одна перспектива — степень, и идут они к ней самым дипломатически верным путем. Стремление что-то открыть может вызываться и жадной самоутверждения; это естественно. Но вот недавно мне прислали на рецензирование работу. Авторы самозабвенно пишут: «впервые», «мы открыли», «как мы установили». Эти слова действительно опьяняют. Но ученый должен быть трезвым и скептическим. Мне, к примеру, известно, что их «открытие» давно уже открыты и опубликованы, нужно было лишь посмотреть толком литературу. Но уж очень хочется делать открытие. Вот и думают: если мне пришла неплохая догадка, значит, это впервые! Однако разные люди очень часто последовательно приходят к одному и тому же, повторяя уже сделанное из-за нежелания оглянуться на предшественников. Самокритичности в самооценке не хватает, а она для ученого как совесть.

— Часто говорят, что науку движет честолюбие. Вы согласны с этим? — спросил я.

— Оно движет людьми, — ответил Пospelов, — но не всеми людьми. Есть ученые, очень многого достигшие, — они не терпят суеты, не тянутся к званиям, не дерутся за посты, не жаждут известности, работают для истории, для человечества. Это тоже можно объяснить честолюбием, так сказать, высшего порядка. Они чувствуют себя ответственными перед историей и перед собой. Один ученый — не буду называть его имени, — он очень плодотворно работает в науке. Однажды я спросил его, чего бы он хотел, когда так много им уже сделано. «Я просто мечтаю, — ответил он, — чтобы было что-то вроде монастыря для ученых. Пошел бы я туда, никто бы ко мне не приставал, а я работал бы и работал...» Ему такая обстановка нужна для творческой работы. А другой мой товарищ говорил: «Не могу работать, если не буду знать, что окружающие меня считают мою работу нужной, значительной. Мне нужно текущее признание — и не из тщеславия, а для внутреннего равновесия, чтобы работать». Надо сказать, что в большинстве люди болезненно честолюбивы, и это всегда надо помнить тем, кто руководит учеными. Многих обижает, когда их работу цитируют, а на автора не ссылаются, его мысль повторяют, как свою. Все это воспринимается порой тяжело. А есть ученые, которые щедро рассыпают вокруг себя идеи — бери, развивай! Я знал в свое время блестящего ученого — Бориса Федоровича Сперанского. Это был человек романтической и сложной судьбы. Задолго до революции был профессиональным революционером, много лет сидел в Петропавловской крепости и там изучал естественные науки. После революции ушел

работать в геологию. Это был человек, переполненный оригинальными идеями. И что же? Он почти не оставил после себя трудов. Рукописи его потерялись, и только те, кто его знал, еще помнят, что «это сказал Сперанский». Но все мы, кто работал с ним, благодарны ему на всю жизнь. Он подсказал многие новые направления исследований. Такие люди делают чрезвычайно много для развития науки, но сами в личном плане не слишком-то счастливы. Они являются скрытыми носителями прогресса. Когда начинаешь распутывать, откуда появился великий человек и его идеи, видишь, что идеи-то порой возникли впервые не у него, а у полузабытых или забытых людей, давших мощный толчок его мысли.

— Вообще же, — сказал Г. А. Пospelов в заключение нашей беседы, — сегодня для любого ученого важна еще одна проблема — не потеряться, сделать все, чтобы тебя слышали. Потому что сейчас так много ученых, так много книг и журналов, что иные ученые забываются еще при жизни и вообще остаются неслышанными, хотя и говорят важные вещи. Сегодня самое трудное — не опубликоваться, нет! Самое трудное — найти читателя. Авторы хоть отбавляй. А ведь жизненно важно для ученого, чтобы его идеи, его мысли кому-то остались, нашли продолжение. Наука развивается только в соприкосновении и взаимовлиянии. Поэтому так важны теперь для каждого ученого, кроме публикаций, поездки, встречи, беседы на семинарах, симпозиумах, конференциях. Наука возвращается на новом уровне к личностным контактам, как было во времена Возрождения, когда Галилей переписывался с Тихо Браге и Кеплером... Каждый ученый закупает сейчас множество собственных книг, стремится получить отписки статей, посылает коллегам — и не из тщеславия, а чтобы прочли... Идет личная переписка, обмен книгами, статьями... Вопрос о канале связи, о контакте между тем, кто «сказал», и тем, кто «воспринял», очень важен для науки. Если вы не участвуете в конференциях и симпозиумах, не делаете докладов, не знакомы с коллегами, работающими над близкой темой, а только публикуетесь, вы рискуете остаться неслышанным. Как «повезет». Подозреваю, что такое положение не только в естественных науках. Поэтому каждый многоопытный ученый старается заинтересовать своей работой ищущую молодежь, привлечь ее на свою сторону. Они, молодые, успеют довести до воплощения стоящие идеи и породить на их основе свои, новые, передавая эстафету науки дальше.



Л. ИЗМАИЛОВ

аисты и капуста

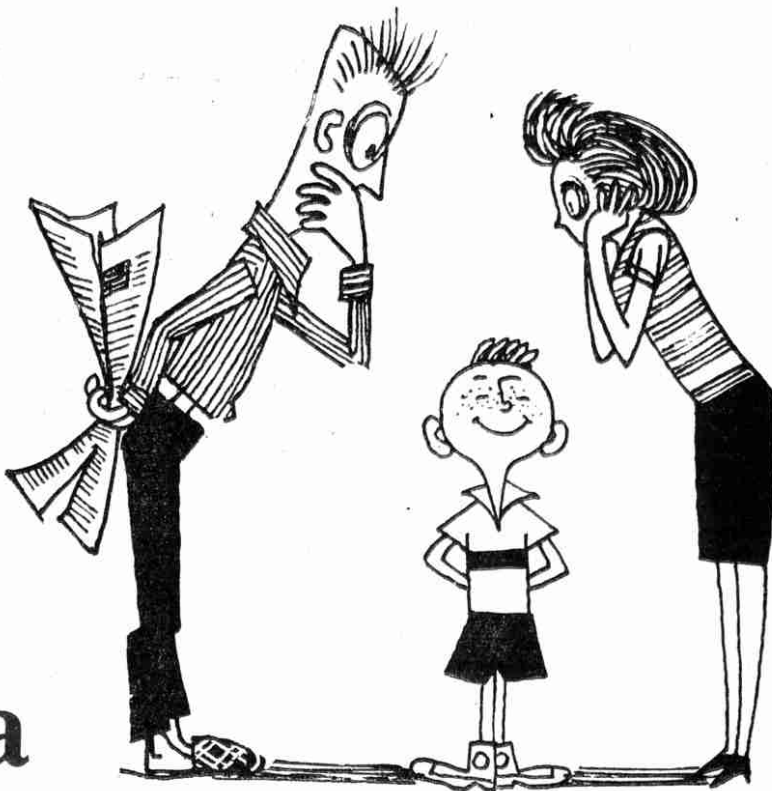


Рисунок И. БРОННИКОВА.

Когда Вадик у исполнилось шесть лет, мама сказала: — Пора объяснить сыну, откуда берутся дети.

— Рано, — засомневался папа. — Он об этом и думать не думает.

— Мне лучше знать, о чем он думает, — сказала мама.

Папа пошел читать специальную литературу. Специальная литература рекомендовала говорить детям правду и только правду.

Неделю мама и папа мучились, пытались заглядывать сыну в глаза: думает или не думает, просветили его во дворе или нет? А потом папа пошел в разведку. Глупо ухмыляясь, он тонко намекнул Вадика: — Скажи-ка, Вадик, а как ты относишься к демографическому взрыву?

Вадик молчал.

— Ну, я говорю, ты знаешь что-нибудь о демографическом взрыве?

— Честное слово, это не я, — захныкав, стал оправдываться сын. Папа переменял тактику: — Я что хочу сказать... Ты знаешь, откуда дети берутся?

— Не-а.

Результаты разговора были немедленно переданы маме.

Мама почти успокоилась, но тут в комнату вошел Вадик и спросил: — Мам, а что такое демографический взрыв?

— Ну вот, началось! — всплеснула руками мама. — Вадик, скажи честно, ты знаешь, откуда дети берутся?

— Нет.

— Может быть, ты думаешь, что детей находят в капусте?

— Нет.

— А может быть, аист приносят?

— Аист, ха! Скажешь тоже! Откуда же в городе аист?

— Действительно, — вдруг сообразила мама, — а что же ты думаешь по этому поводу?

— Ничего. А что, надо думать?..

— Нет, нет, ни о чем и не думай.

Вадик как-то странно взглянул на родителей и ушел, а мама сказала папе: — Я не удивлюсь, если найду у него порнографические открытки. Кажется, его уже просветили.

Папа пошел во двор искать просветителя. Просветитель, лучший друг Вадика Колька, только что закончил футбольный матч.

— Две банки пропустил, — пожаловался он папе.

— Не расстраивайся, — сказал папа, — ведь есть вещи поинтереснее, чем футбол.

— Это какие же такие вещи? — подозрительно покосился на Вадикного папу Колька.

— Ну, например, откуда дети берутся?

— Это вам, может, и интереснее, потому что вы в футбол играть не умеете. А кто играть умеет, тому это ни к чему.

— А ты знаешь сам-то, откуда дети берутся?

— Известное дело, — сказал Колька и нахально подмигнул папе.

Папа машинально подмигнул ему в ответ и пошел домой.

— Колька все знает, — безнадёжно сказал он маме.

— А Вадик?

Папа пожал плечами. Теперь мама сама пошла в разведку.

— Вадик, ты знаешь, какая чис-

ленность населения в нашей стране?

— Больше двухсот миллионов.

— А в Китае?

— Где-то читал, что восемьсот с лишним.

— А почему?

— Колька сказал, потому что они рис едят.

— При чем здесь рис?

— Не знаю...

— А откуда дети берутся, ты знаешь?

— Нет. А откуда?

Мама схватилась за голову и побежала к папе.

— Все кончено! Он спрашивает, откуда дети берутся.

Папа взял себя в руки и решил говорить с Вадиком как мужчина с мужчиной. Конспект разговора был составлен заранее. Вадик слушал очень внимательно, а потом спросил:

— А у вас с мамой еще один ребенок может быть?

— Может, — ответил папа.

— А кто, мальчик или девочка?

— Не знаю.

— Хорошо бы мальчик... А что нужно, чтобы был мальчик, а не девочка?

— Надо в кепке ходить. — Папа нервно закурил.

— А зимой в ушанке, да?

— Я больше не могу! — закричал папа и побежал к маме.

Вадик пошел за ним.

— Мам, а чтобы девочка получилась, надо косички заплетать, да?

Мама вспыхнула:

— Вадик, ты иди погуляй, а когда вернешься, папа тебе все объяснит.

Но когда Вадик вернулся, ничего объяснить не пришлось. Вадик сам все объяснил:

— И все ты мне, пап, неправильно сказал. Никаких кепок не надо. Мне Колька все растолковал.

— Что же он тебе растолковал? — мрачно спросила мама.

— Всех детей приносят из роддома.

— А в роддом как они попадают, тебе Колька объяснил?

— Очень просто, если девочка, то из капусты, а если мальчик, то аист приносит.

— Да где же ты в городе капусту и аистов видел?

— Эх вы, а еще взрослые! А роддом на что? Этот роддом всех детей на машинах из деревни привозит, а там и аистов полно и капусты. Понятно?

— Все правильно, — сказала облегченно мама и добавила, обращаясь к папе. — Кстати, купи завтра капусту, я щи варить буду.

М. КАТЮШЕНКО



Рисунок
И. СУСЛОВА.

Перевод с белорусского.

Первый репортер (в мыслях). Вон он, лучший из лучших, герой наших дней. Наконец-то я застал его! И никого рядом.

Второй репортер (неизвестно откуда появляясь, вслух): Скорее к нему, и интервью в кармане! А с виду он мальчик...

Передовик заворачивает первую гайку.

Первый репортер. От имени читателей нашей молодежной газеты я поздравляю вас с победой на конкурсе молодых. Скажите, как вам удалось перевыполнить план?

Второй репортер. Если уж вы вторглись в наш разговор, то не задавайте глупых вопросов. Ну, конечно же, он выискивает новые формы плюс режим экономии. Ясное дело, готовясь к конкурсу, он прочел несколько книг, посидел над чертежами.

Оба репортера записывают.

Передовик заворачивает вторую гайку.

Второй репортер. Есть ли у вас любимая девушка?

Первый репортер. Ну и чудак вы, коллега! Конечно же, есть! Она теплым словом, лаской помогает ему работать. Благодаря ей он поступил в вечернюю школу, посещает концерты классической музыки.

Передовик заворачивает третью гайку. Оба репортера записывают.

Второй репортер. Случа-

лись ли у вас конфликты с мастером?

Первый репортер. Ах, божь ты мой! Ну какой настоящий рабочий и к тому же молодой не входил в конфликт с мастером? Настоящее творчество только и рождается в спорах, лишь благодаря разногласиям, и принимается впоследствии лучшее решение.

Оба репортера записывают. Передовик заворачивает четвертую гайку.

Второй репортер. Что вы почувствовали в ту минуту, когда стали победителем конкурса?

Первый репортер. Вы, коллега, словно с Луны свалились! Конечно же, он вспомнил свое трудное детство, вспомнил отца-передовика, мать-передовицу...

Оба репортера записывают. Передовик заворачивает пятую гайку.

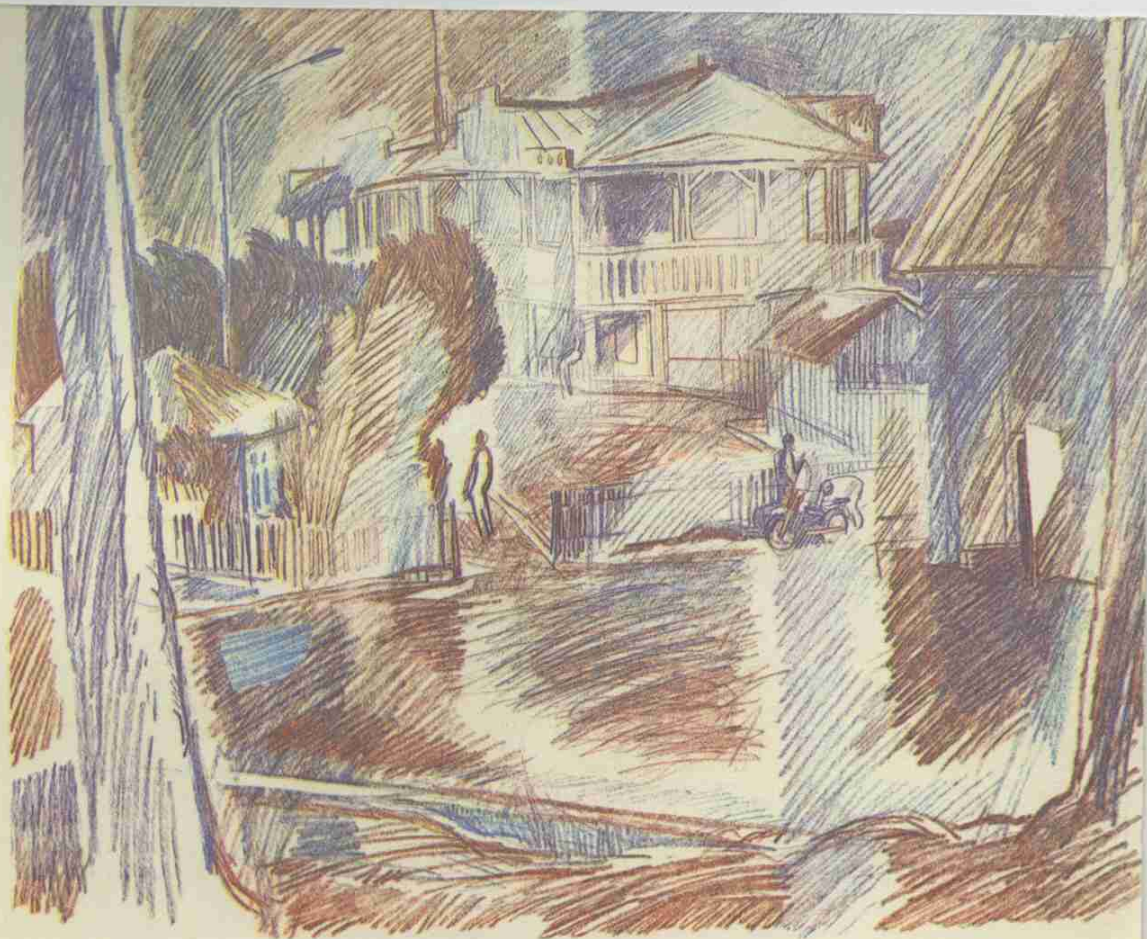
Первый репортер. Благодарю за интервью! Желаю успехов.

Второй репортер. Позвольте от вашего имени передать привет всем читателям нашей газеты. До свидания!

Передовик (кончив заворачивать шестую гайку). Вот теперь я к вашим услугам. Какие у вас вопросы?

Первый и второй репортеры на бегу к редакции заворачивают колпачки авторучек.

Случается же такое... Минск.



Голубой дебаркадер.
Из серии «Вологодчина»
(цветной карандаш).

На стендах
«ЮНОСТИ»

Александр
ЛИВАНОВ



Почта и телеграф.
Из серии «Райцентр»
(автолитография).



Цена 40 коп.

Индекс
71120